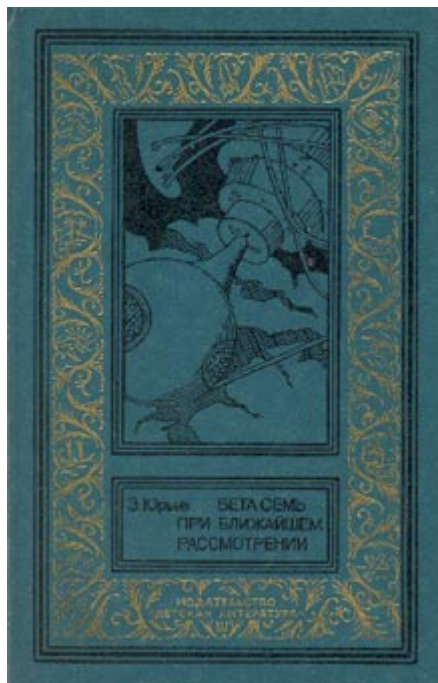


Зиновий Юрьевич Юрьев

Бета Семь при ближайшем рассмотрении



Зиновий Юрьев

Бета Семь при ближайшем рассмотрении

От автора

Лет двадцать тому назад я совершенно случайно познакомился с Николаем Надеждиным, космическим пилотом. Знакомство состоялось в молоденьком и светлом рязанском лесочке, куда я забрел после на редкость неудачной утиной охоты.

Накануне вечером начальник охотничьей базы распределил всех гостей по номерам, предупредил, что егеря ждать никого не будут, поэтому лучше не опаздывать, что утки в этом году получены новые, усовершенствованной конструкции, и что для удачливых охотников повар готовит какое-то совершенно неслыханное угощение.

Незадолго до рассвета нас развезли по номерам. Лодка быстро и ловко вспарывала темную воду, и две белесых косы с влажным шорохом уносились назад. Было зябко, я поднял воротник куртки, нахохлился и думал, что весь этот древний охотничий ритуал никому не нужен, что он остался, видимо, с тех времен, когда охотились на настоящих живых уток. Тогда, наверное, нужны были и замаскированные ветками номера, и дрожание в предрассветной промозглой сырости, потому что птицы становились на крыло рано утром. На нынешних уток можно охотиться если, конечно, этот спорт называть охотой – в любое время и в любом месте, в зависимости от того, как запрограммировать птиц. Можно заставить их прилететь к себе на балкон.

«Перестань ворчать, – одернул я себя. – Разве любой спорт не основан на ритуале? В конце концов, дзюдоисты церемонно раскланиваются, а боксеры касаются перчаткой перчатки противника не из-за врожденной приветливости или какой-то необходимости. В аэробол играют, строго говоря, не для того, чтобы любой ценой загнать висящий в воздухе шар в ворота, а чтобы сделать это именно по правилам, да еще красиво». Я усмехнулся. Рассуждения были не бог весть как оригинальны, но помогали проснуться.

Начальник базы был прав: утки на этот раз были какие-то дьявольски верткие. Я сидел

на своем крошечном плотике и уже не дрожал, а то и дело дергался, как марионетка у неопытного кукловода. Уток было много, они неслись в аспидном предрассветном небе, вытянув шею, похожие на старинные бомбардировщики. Повинуясь каким-то древним охотничьим инстинктам, сердце так и прыгало в груди. Я вскидывал ружье, но те твари, которые только что летели по прямой, представляя из себя прекрасную мишень, словно только и ждали моих движений. Не успевал я прицелиться, как они закладывали немыслимые виражи, пикировали, чуть не врезаясь в темную воду, и исчезали в сыром неопрятном туманчике, что висел клочьями над самой поверхностью.

Два или три раза мне казалось, что я успеваю поймать стремительный силуэт в прицел. Еще мгновение, даже доля мгновения... Я был готов нажать на спуск. Я не дышал, заклиная глупое сердце не дергаться. На этот-то раз инфракрасный луч моего ружья уж наверняка попадет в чертову птицу, ее двигатель послушно выключится, и она врежется в воду с таким милым для охотничьего уха всплеском. И мой длинноухий Захар тут же бросится в воду, чтобы отыскать трофей и торжествующе притащить его хозяину.

И каждый раз мои бесшумные выстрелы были выстрелами в серые низкие облака, которые никак на них не реагировали. Захар давно уже перестал дрожать крупной собачьей дрожью. Он медленно повернул голову, посмотрел на меня, и в его глазах я прочел печальное презрение. Все-таки Захар был потомственным охотником и не мог не презирать такого жалкого неудачника. А печаль была оттого, что, несмотря на все, он все-таки любил меня. Так, по крайней мере, хотелось думать.

Когда егерь снимал нас с нашего крохотного островка, он пошмыгал посиневшим на холоде носом и сказал снисходительно:

– Почти ни у кого ничего...

Егерю было лет десять, и у него было, видно, доброе сердце.

– Наверное, надо было бы снизить их чувствительность в инфракрасном диапазоне, – пробормотал он, направляя лодку к берегу, – а то они засекали вас издалека...

То ли Захар согласился с лодочником, то ли думал в этот момент о чем-то своем, но он молча кивнул, отчего его уши хлопнули по голове.

– Пойдем, Захар, – сказал я своему спаниелю на берегу. – В минуты позора и душевного разлада лучше быть одному.

Мы погуляли с полчаса, все дальше уходя от базы, пока не оказались в молоденьком ельничке. Тем временем выглянуло солнышко, стало теплее, и я присел отдохнуть. Прямо передо мной притаился совсем юный масленок, блестя влажной головкой. К ней прилипли несколько еловых игл. Это тебе не хитрые электронные утки, запрограммированные на то, чтобы вселять в охотников комплекс неполноценности. Это был настоящий живой грибочек, запрограммированный не экспертами по электронной охоте, а самой матушкой-природой. Конечно, дразнившие меня наглые утки были чудом техники, но маленький масленок все-таки был еще большим чудом, чудом кротким и беззащитным.

Ничто так не располагает к философии и воспоминаниям, как неудача. И что бы там ни говорил сопливый егерь, факт оставался фактом: я не сбил ни одной утки. Бог с ней, с этой дурацкой охотой. Я еще раз взглянул на юный грибок. Он кивнул головкой, явно соглашаясь со мной.

Я вдруг вспомнил, как отец водил меня, совсем еще несмышлениша, собирать грибы. Точнее, именно маслят, потому что не очень далеко от нашего дома в еловых посадках водились преотличные маслятки. Отец громко пел: «Маслятушки, ребятушки, отзовитесь, покажитесь...»

На мгновение сердце мое сжалось в сладкой легкой печали: так далек был тот мальчуган, который вытягивал цыплячью шейку, крутил головой, чтобы не пропустить, как будут отзываться и показываться маслята. И я вдруг запел, словно заклиная время отступить лет на тридцать:

– Маслятушки, ребятушки, отзовитесь, покажитесь...

Послышался хруст веток, две елочки затрепетали ветвями, пропуская человека.

Человек был велик ростом, широкоплеч. Он улыбнулся и сказал:

– Боюсь, я не совсем похож на масленка, но вы так жалобно звали их...

Так я познакомился с Николаем Надеждиным.

То ли нас сблизила общая охотничья неудача – он тоже не подстрелил ни одной утки, – то ли смиренная, по выражению старинного писателя, охота на грибы, но мы долго бродили по окрестностям базы, и мой новый знакомый рассказывал мне о незапланированном посещении их грузовым космолетом планеты Бета Семь. Приключения экипажа «Сызрани» – так назывался космолет – показались мне интересными, и спустя какое-то время я написал о них повесть «Башня мозга». Через месяц или два я получил космограмму из шести слов: «Башню прочел вспомнил уток приветом Надеждин».

Космограммы всегда кратки (слишком дороги каналы связи в космических просторах), но эта, посланная мне бог знает из каких глубин Вселенной, была уж чересчур краткой. Я даже не сразу понял, что именно хотел сказать Надеждин этими утками. А может быть, и не торопился понять, потому что понимание, как я подсознательно догадывался, не слишком льстило моему авторскому самолюбию. По всей видимости, повесть ассоциировалась у него с утками потому, что охота наша в тот раз была неудачной. Стало быть, и повесть...

Неприятные для самолюбия вещи забываются с удовольствием, что я и поспешил сделать.

В прошлом году после долгой и довольно бесплодной работы над очередной книжкой я почувствовал, что стал раздражительным, нетерпеливым. Нужно было встряхнуться. А тут как раз товарищ рассказал мне, что только что побывал недалеко от Перми на квадратной охоте и заработал второй разряд.

Если вы, уважаемый читатель, далеки от охоты, вполне может быть, что вы не знаете этого термина, хотя, признаюсь, мне странны люди, лишающие себя такого удовольствия. Квадратная охота – это охота в специально отведенном месте, как правило квадрате, отсюда и название.

Ну и конечно, подразумевается второй смысл. Охота в квадрате. Это самая трудная охота. Но главное, разумеется, не место, не форма и не размеры квадрата. В квадрате вы охотитесь на искусственного кибернетического зверя, который запрограммирован так, чтобы вы его могли поразить своим оружием с величайшим трудом, а он вас все время стремился бы выследить и уничтожить. Ну, уничтожить – это, разумеется, выражение образное. Если рукотворный хищник исхитрялся застигнуть вас врасплох и коснуться вас лапой, он останавливался и сообщал не без злорадства: «К сожалению, вы проиграли. Следуйте, пожалуйста, за мной к выходу».

При этом ваш охотничий рейтинг автоматически уменьшался. И наоборот.

Перед запуском в квадрат, а квадрат – это, как правило, довольно большая территория, покрытая лесом, горами, тайгой, степью или болотами, вы сообщаете свой рейтинг, в зависимости от которого и настраивают зверя. С начинающим стрелком зверь разве что не раскланивается, но, если у вас уже более или менее приличный опыт, выследить его дьявольски трудно, а не быть выслеженным им еще труднее. Каждое мгновение ждешь нападения, ловишь каждый шорох, каждое движение ветки заставляет замереть. Иногда проходишь километров пятьдесят – и все по бездорожью, все время в напряжении, не разрешая себе расслабиться ни на секунду. И тащишь на себе и еду, и снаряжение, и спишь – если, конечно, удастся вздремнуть – на земле.

Охота в большинстве квадратов продолжается трое суток. Напряжение, физическое и нервное, огромное. Поэтому, наверное, столько людей обожает квадратную охоту. Кое-кто называет их мазохистами, но это, по-моему, из зависти.

Я остро почувствовал, что мое место не за письменным столом, а в пермских лесах, причем не когда-нибудь, а немедленно, завтра же. Я сделал по своему инфоцентру запрос в Пермь, сообщил свой рейтинг и получил «добро». На следующий день я был уже в конторе Пермских охотничьих квадратов. Была вторая половина августа. С неба, которое, казалось, прочно зацепилось за верхушки деревьев, сыпался мелкий, холодный дождичек.

Егерь, немолодая, величественного вида дама с обветренным и загорелым лицом, сказала:

– Не знаю, как вы, а я обожаю такую погоду.

– Почему?

– Повышается коэффициент трудности, а стало быть, и рейтинг при удачной охоте. Вы уж мне поверьте. Как-никак у меня сейчас рейтинг двадцать четыре.

– Двадцать четыре? – зачем-то переспросил я, хотя прекрасно слышал, что она сказала, и застыл с открытым ртом.

Рейтинг двадцать четыре для человека с рейтингом пять, которым он, между прочим, очень гордится, не укладывается в сознание. Это недоступная даже воображению сияющая охотничья вершина.

Покоритель дачного холмика рядом со снежным барсом, видевшим мир с вершин всех наших семитысячников.

– Да, молодой человек, даже не двадцать четыре, а двадцать четыре и тридцать пять сотых. Недурно для восьмидесятилетней преподавательницы истории кино? Я приезжаю сюда каждое лето, каждый свой отпуск.

Я застонал.

– Не мычите, молодой человек. Сейчас вы скажете, что жили до сих пор не так, и тому подобное. Так?

– Увы...

– Вы, надеюсь, помните, что дорога в ад...

– Вымощена благими намерениями.

– Именно. Поэтому не стоните и не мычите, а лучше держите комбинезон, сапоги и все снаряжение. И поторопитесь. Десять минут назад один человек, выйдя из квадрата, сказал мне: «Такой изумительно дрянной погоды я не видел никогда. Промок трижды насквозь, замерз как цуцик, но я в восторге». Еще бы ему не быть в восторге! Попал в зверя высшей категории всего через восемнадцать часов. Сразу два балла. Что вы хотите? Космонавт!

– Космонавт?

– Очень приятный молодой человек. Надеждин его фамилия. Да вот он идет сам.

Вот так судьба снова свела меня с Николаем Надеждиным. И снова на охоте.

Он почти не изменился за эти двадцать лет, разве что чуть больше стало морщинок вокруг глаз да кое-где в волосах начали поблескивать седые пряди.

Мы обнялись.

– Профессор, – сказал я егерю, – я не видел этого человека двадцать лет. Как вы считаете, может быть, я могу начать завтра?

– Безусловно. Если вы, конечно, не боитесь, что кончится дождь. Впрочем, прогноз хороший: циклон стоит над нами, как на якоре.

Вечером, после, ужина, Надеждин вдруг спросил:

– А вы помните космограмму, которую я послал вам?

– Космограмму?

– О вашей книжке.

– А, да, да...

– Я потом долго ругал себя, но, знаете, когда читаешь о том, что видел своими глазами, что пережил, часто ловишь себя на сравнении: нет, нет, не так все было... Впрочем, говоря о той повести, вина, наверное, моя. Я плохо рассказывал о Бете Семь. Плохо и мало. Вот вам и пришлось самому все придумывать. Теперь, когда там побывали еще раз, когда я знаю то, что не знал тогда, мне кажется, я бы смог рассказать эту историю подробнее и интереснее. Тогда я был моложе и нетерпеливее, сейчас, мне кажется, я лучше понимаю цену детали.

Я готов был подписаться под его словами двумя руками. Молодые люди видят мир слегка смазанным, потому что он стремительно проносится перед ними. А они все подгоняют его – быстрее! Все впереди, все в дымке, все за поворотом, быстрее! С возрастом же начинаешь оглядываться и с удивлением замечаешь многое, мимо чего раньше

равнодушно проходил.

– Что же нам мешает еще раз побывать на Бете?

– Пожалуй, ничто, – улыбнулся Николай. – Так сказать, Бета Семь при ближайшем рассмотрении.

Вот так Надеждин вернулся на Бету Семь, а я – к своей старой повести, заново переписав ее. Что из этого получилось – судить читателю.

Это, разумеется, не строгий отчет, а достаточно свободный пересказ, в котором кое-что опущено, кое-что упрощено для облегчения восприятия. Например, когда вы прочтете: «Кирд сказал...» – это не значит, что он что-то сказал так, как говорим мы. Кирды обмениваются информацией при помощи не звуковых волн, а в диапазоне радиоволн. Но все время напоминать об этом было бы надоедливым. Точно так же я решил пользоваться земными временными понятиями, хотя кирды делят свои сутки на тысячу частей, и так далее.

1

– Пешки тоже не орешки, – в третий раз за пять минут пробормотал Надеждин и взял ферзем пешку.

У Маркова, его противника, пылали уши. Мочки были ярко-красными, а верхняя часть отливала фиолетовым. Он ритмично покачивался в кресле, и казалось, что он не играет в шахматы, а молится.

– И примет он смерть от коня своего, – вздохнул он.

«Боже, – думал штурман космолета Владимир Густов, глядя на игроков, – сколько, интересно, партий они сыграли хотя бы за этот рейс? Тысячу, две? Три? И сколько раз повторяли свои присказки? И все с тем же азартом, и все так же горят уши у Сашки – уже по цвету их вполне можно определить, как он стоит. Хотя вообще-то и без ушей можно было смело предположить, что он проигрывает. Он почти всегда проигрывает. И, проиграв в очередной раз, неизменно повторяет с мрачным и фанатичным упорством: «Цыплят по осени считают». Боже, скольких же цыплят недосчитался осенью бедный Саша...»

Хорошо экипажам больших космолетов: не успеет корабль стартовать, как большинство тут же ныряет в спячку – и время для них останавливается. А на их грузовой «Сызрани» всего три человека, тут уж не до спячки. Иной раз и просто поспать некогда.

Какими романтичными кажутся нам в детстве многие профессии, и как будничным труд разнится от юношеских грез! Впрочем, поправил себя Густов, он не очень прав, надо ввести поправочный коэффициент на накопившееся раздражение. И тысячу лет назад были мореплаватели, уходившие за таинственный горизонт, где их поджидали неведомые опасности, и были каботажники, скромные труженики моря. Так и теперь. Что делать? Не всем открывать новые миры, кому-то нужно и перевозить грузы...

Да, пожалуй, теперь он мог сказать себе это достаточно спокойно. А было, было ведь время, когда то и дело он чувствовал острую неудовлетворенность собой. В такие мгновения он понимал свою ординарность, и понимание ранило, пока не выковал он себе панцирь смирения. Не сразу, потихонечку да полегонечку, но выковал. Да, человек он вполне обыкновенный, но и обыкновенные люди могут жить в мире с миром и самим собой...

Он откинулся в кресле и закрыл глаза. Удивительна все-таки человеческая способность к адаптации. Казалось бы, каждую секунду, каждое мгновение он должен был бороться с кошмаром космического полета, когда ты – ничтожная пылинка, затерянная в невообразимых пространствах, когда твой дом и теплая родная Земля скрылись в невероятной дали, когда тебя отделяет от губительного и равнодушного вакуума космоса лишь тонкая обшивка корабля, когда ты знаешь, что даже тысячекратно проверенная техника может отказать и космолет превратится в твой вечный саркофаг; казалось бы, человек в космосе должен быть подавлен его безбрежностью и враждебностью. АН нет. Перед ним два дурака с азартом дуются в шахматы, и потерянная пешка волнует Надеждина и Маркова куда

больше, чем Вселенная за бортом.

Мало того, если бы он сейчас сказал: «Друзья мои, как можете вы...» и так далее, они бы даже не ответили, приняв его речь за неудачную шутку. Да и сам он может чувствовать себя эдакой пылинкой в космосе лишь усилием воли, потому что пластичность человеческой натуры поистине удивительна; и думает он, если быть честным с собой, вовсе не о толще пространства, пронзаемого их «Сызранью», а о том, что через полчаса настанет время обеда, а сегодня роль шеф-повара, метрдотеля и официанта, равно как и посудомойки, исполняет он.

Он посмотрел на доску. Как и следовало ожидать, Сашка безнадежно проигрывал. Наверное, класс игрока определяется и тем, умеет ли он вовремя сдаться. Саша классом не обладал. Жалкий король его, растеряв почти все свое войско, судорожно метался по доске, а Надеждин, плотоядно усмехаясь, протянул руку к ладье, которая должна была разом покончить с его, короля, мучениями.

– Сколько можно агонизировать? – пробормотал Густов.

– Не мешай, – не поворачивая головы, ответил Марков. – Дай погибнуть с достоинством. Смерть, друг мой, не должна быть суетливой, даже шахматная.

– Какая тонкая мысль! – вздохнул Густов. – Тем более тебе давно нужно было поднять руки.

– Шах, мсье, шах и мат, – сказал Надеждин. – И так будет с каждым, кто покусится...

– Цыплят по осени считают, – мрачно сказал Марков.

– Теперь я понимаю, почему вы играете не с электронными партнерами, а друг с другом, – сказал Густов.

– Почему? – лениво спросил Надеждин.

Спросил он не потому, что хотел услышать ответ (он его и так прекрасно знал), а лишь для того, чтобы доставить товарищу удовольствие. Выигрыш делал его снисходительным, а так как выигрывал он почти всегда, то почти всегда бывал добродушным.

– Потому что для вас важна не игра. У нас несколько компьютерных программ, каждая из которых на сто голов выше вас, а все эти пешки не орешки. Хотите, я введу в шахматную программу все ваши присказки и компьютер будет их исправно бормотать?

– Ты злой человек, Владимир Густов, – сказал Марков. – Ты хочешь лишить нас радости общения. Ты не хочешь, чтобы я считал цыплят.

– К тому же, – добавил Надеждин, – ни один компьютер не имеет таких пламенеющих ушей, как у Саши. Когда я смотрю на его уши во время игры, душа моя поет.

– Считай, что отпелась, – хмыкнул Марков. – С этой минуты я сажусь играть с тобой только в шапке, как правоверный еврей.

– Боюсь, дети мои, нам трудно будет найти общий знаменатель, разве что предстоящий обед, – покачал головой Густов.

– Тебе виднее, злой человек, – сказал Марков, – ты сегодня кормишь. И горе тебе, если твой общий знаменатель...

Он не успел закончить фразы, потому что в это мгновение все трое ощутили едва уловимый толчок. Полет космолета не езда на машине, воспринимающей все неровности дороги, все перемены в работе двигателя. После разгона это абсолютно равномерное движение, и при выключенных двигателях ни одно из чувств человека не воспринимает ни гигантской скорости, ни движения вообще. Этот толчок мгновенно вырвал экипаж из спокойных и благополучных будней. Они еще не знали, что случилось, но уже чувствовали беду. Этот слабенький толчок, скорее легчайшая дрожь, на которую на Земле никто не обратил бы даже внимания, отозвалась в них зловещим вопросительным знаком, знаком, который ставил под сомнение судьбу космолета, а стало быть, и их жизнь. В космосе не бывает ухабов, минуешь их, и снова начнется ровная дорога. Мозг еще по-настоящему не осознал все зловещее значение толчка, не проанализировал его, но каждая клеточка их тела уже вопила: «Опасность! Беда!»

За первым толчком последовал второй, и все трое почувствовали, как «Сызрань»

завибрировала всем корпусом. Негодующе заливались сигналы тревоги, на приборном табло растерянно замигали сразу десятки огоньков.

Надеждин и Марков одновременно вскочили на ноги, но еще один толчок бросил их на пол. Надо было встать, надо было добраться до приборов, но тела их уже наливались цепенящей тяжестью. Они изо всех сил напрягали мышцы, пытаясь преодолеть ее, пытаясь оторваться от пола, но тяжесть была непомерна, она навалилась многотонным прессом, она не давала дышать, застилала глаза, выдавливала даже ужас, потому что для ужаса нужно сознание, а сознание тоже выдавливалось из них. «Конец», – пронеслось в темнеющем мозгу Надеждина, но слово так и осталось одним словом: он уже потерял сознание.

* * *

Сознание возвращалось к Надеждину медленно. Первое, что оно принесло с собой, был ужас. Он был продолжением того ужаса, что он едва успел почувствовать в начале катастрофы. И это чувство ужаса заставило его понять, что он жив. Ужас был тем клеем, что соединял его сознание ДО и ПОСЛЕ, возвратил ощущение своего «я». Ужас был тягостным и всеобъемлющим, он наполнял его, словно под давлением. «Я жив», – вяло подумал он. Эта простенькая мысль с трудом уместилась в его мозгу, но, пробравшись туда, потащила за собой другие. И каждая следующая мысль двигалась уже легче, словно предыдущие накатали какую-то колею в его вязком сознании.

«Я жив», – еще раз подумал он, и теперь эта мысль уже не была отрешенной констатацией, а несла с собой чувства. И ужас начал потихоньку отступать. Нет, он не исчез, он лишь отступил, стал фоном.

«Катастрофа», – сказал он себе. Слово это, казалось бы, должно было опять погрузить его в отчаяние, но этого не произошло. «Раз я жив, – сделал он простенькое умозаключение, – значит, катастрофа не так страшна».

Хрупкая человеческая жизнь и космос абсолютно враждебны. Космос угрожает ей всеми своими свойствами: абсолютным нулем, который при соприкосновении с человеческим телом мгновенно вымораживает из него все живое; глубочайшим вакуумом, который в доли секунды заставит вскипеть кровь, высосет до последней молекулы газа из легких; губительное излучение, что легко пронижет беззащитное перед ним тело.

И то, что в его мозгу ползли какие-то мысли, то, что сердце холодным прессом сжало ощущение беды, уже давало надежду. Он жив, жив, жив, а стало быть, жива и их «Сызрань», единственная их страховка против равнодушных, но смертельных опасностей космического пространства.

Он хотел открыть глаза, но не смог этого сделать.

«Я ослеп, – подумал он и тут же поправил себя: – Нет, не обязательно ослеп, может быть, вокруг просто темно».

Страх слепоты в других условиях был бы пронзительным и леденящим, но сейчас для него почти не оставалось места, он просто не проникал в сознание, наполненное еще большим страхом.

Темнота давала надежду. Призрачную, нелепую, невозможную. Может быть, не все так страшно. Свет был страшен. Свет опять мог открыть шлюзы для нового потока ужаса, мог принести с собой непоправимую реальность.

И все же свет пробивался сквозь плотную темноту. Темнота постепенно теряла густоту, физическую ощутимость, как будто кто-то не спеша разжижал ее. Она истончалась. Она еще была темнотой, но в ее зыбкости уже не было определенности.

Он почувствовал боль. Боль была, очевидно, как-то связана с темнотой. Чем менее плотной становилась темнота, тем резче он ощущал боль. Сначала она была всеобщей, настолько всеобщей, что он, казалось, состоял из одной лишь боли, но потом она начала распадаться на отдельные боли: болела налитая свинцом голова, тяжело пульсировала боль в

затылке, что-то стреляло в груди, кололо в боку, совсем маленькая, но юркая боль прыгала где-то в ноге. Все эти боли жили своей жизнью и вместе с тем как-то взаимодействовали между собой и на несколько мгновений отвлекли его от случившегося.

Ему почудилось, что он лежит в этой темноте бесконечно долго, может быть, он даже всегда лежал так. «Я умер», – шевельнулась у него в мозгу еще одна мысль, но ему не хотелось вступать с ней в споры. Мысль этого не заслуживала: если он умер, почему у него болит все тело?

Он раскрыл глаза и долго не мог сфокусировать непослушные зрачки: поле зрения наполнял дрожащий зеленый туман. Ему подумалось, что он просто купается с ребятами на водохранилище. Он глубоко нырнул, а сейчас всплывает на поверхность. Когда ныряешь с открытыми глазами, вода ближе к поверхности всегда зеленоватая. Сейчас он вынырнет, увидит ребят, уляжется с ними на теплых камнях. И солнце после холодной воды будет казаться ласковым, как теплые ладошки... И он будет лениво следить за проплывающими белыми пароходами. И ветер будет приносить с них обрывки мелодий, и за пароходами будут кружиться жадные чайки, и тело будет медленно обсыхать на теплых камнях и теплом солнце, и жизнь будет теплой, прекрасной и немножко грустной, как ей и положено быть. «Конечно же, будет именно так! страстно взмолился он. – Пусть будет так!» Но он уже знал, что так не будет, и потому мольба была особенно пылкой и горькой.

Пароходы еще не уплыли, и чайки все еще кружились над ними с пронзительными сварливыми криками профессиональных попрошайек, когда внезапно в мозгу у него вспыхнул яркий свет, даже не яркий, а ярчайший, медленные, вязкие мысли разом рванулись вперед, понеслись в вихре вернувшегося сознания.

Нет, не из водохранилища своего детства выныривает он, а из беспамятства, и не пронизанная солнцем зеленая вода заполняла его поле зрения, а зеленый пластик пола.

«Встать, нужно встать! – словно не он, а кто-то другой скомандовал ему. – Ты командир, нужно встать!» Он уже вспомнил чувство гигантской тяжести, что придавило его, но теперь мускулы как будто слушались его. Неохотно, протестуя, но слушались. Прежде чем он сообразил, что делает, он уже упирался руками в пол и подтягивал ноги. Сколько же, оказывается, нужно сделать движений, чтобы встать на ноги, сколько приказов отправить по разным адресам, сколько мышц должны согласованно потянуть за свои сухожилия, приведя в движение конечности...

Наконец ему удалось подняться на колени. Это была гигантская победа. Он не просто жив, он стоит на коленях! Он дышит! Значит, «Сызрань» цела.

Неожиданная радость на мгновение обессилила его, но он еще не мог позволить себе расслабиться. «Не торопись радоваться, – сказал он себе, – ты ведь еще ничего не знаешь».

Он помотал головой и остороженько, надеясь и боясь, посмотрел перед собой. Первое, что он увидел, были глаза Густова. Глаза были открыты. Вот одно веко слегка дернулось, слабо подмигнуло ему.

– Володька! – Надеждин хотел крикнуть, но смог лишь прошептать. – Ты жив?

– Точно не знаю, – пробормотал Густов.

– Как же не знаешь, если ты что-то лепечешь?..

– Может, это я просто по инерции.

Он вовсе не был суперменом, который весело шутит, балансируя между жизнью и смертью. Случилось нечто непонятное, а потому особенно страшное, может быть, непоправимое, но нужно было что-то делать, нужно было барахтаться, и немудреные шутки протягивали связующую нить к тому недавнему, но уже бесконечно далекому времени ДО. Шутки были спасательными кругами, которые помогали им держаться на поверхности, а не погрузиться в парализующее отчаяние.

– А где Сашка?

– Он собирает шахматные фигурки, – слышался голос Маркова.

– Ребята, – тихонько сказал Надеждин, – ребята...

Он хотел было сказать, как он счастлив, что они живы, целы и невредимы, но что-то

сжало его горло, и он замолчал. Наверное, он еще по-настоящему не осознал всего случившегося, иначе он не повторял бы бессмысленно одно слово, а постарался что-то сделать.

– Красноречив, как всегда, – сказал Густов и сел на полу, ощупывая голову и руки. По лицу его медленно расплывалась широченная бессмысленная улыбка.

– Если бы вы оба помолчали, – сказал Марков, – мы бы услышали, что говорит анализатор.

Надеждин повернул голову и в то же мгновение вдруг понял, что означали звуки, уже несколько минут складывавшиеся в его сознании в некий неясный шумовой фон.

– Корабль находится на высоте тридцати метров над поверхностью планеты Бета Семь, – бормотал анализатор. – Корабль не падает из-за антигравитационного поля. Корабль не падает...

– На какой высоте? – спросил Надеждин.

– Высота до поверхности планеты тридцать метров, – обиженно отрапортовал анализатор.

Это был вздор. Хотя анализатор не ошибается, он нес очевидную околесицу. Толчок явно вывел его из строя.

– Проверить еще раз расстояние до поверхности, приказал Надеждин. – Поточнее.

– Высота до поверхности планеты ровно тридцать метров.

Только теперь на него хлынул животный восторг спасения. Он еще ничего не понимал, он даже и представить не мог, как они могли оказаться в каком-то чудовищном поле антигравитации, но они были живы, «Сызрань» была цела, и гибель обошла их стороной. Совсем рядышком, но обошла. Как горнолыжник – ворота слалома. Радость спасения переполняла его, и мозг отказывался работать в холодном режиме анализа, у него тоже был праздник.

– Гм, – сказал Густов. – Задача: кому верить – здравому смыслу или бортовому анализатору? Только представьте: тридцать метров. Странная какая-то мера длины – метр.

– Этого не может быть, – сказал Марков.

– Дети мои, я понимаю, наше бормотание вызвано скорее не здравым смыслом и вообще не разумом, а эйфорией, – улыбнулся Густов. – Итак, вместо того чтобы погибнуть в непонятной и страшной катастрофе, мы преспокойно висим в поле антигравитации всего в тридцати метрах над поверхностью чужой планеты. Вопрос: может ли это быть?

– Безусловно, нет, – сказал Марков. – Этого быть не может.

– Я бы согласился с тобой, мой бедный маленький друг, но мы все-таки висим над Бетой Семь. Как ты думаешь, на каком расстоянии мы должны были проскочить мимо планетки?

– Друзья мои, – сказал Надеждин, улыбаясь, – боюсь, что катастрофа все-таки не прошла бесследно.

– Что ты имеешь в виду?

– Мы спорим, ошибся или не ошибся анализатор, вместо того чтобы посмотреть самим.

– Тише, – сказал Марков. – Теперь я понимаю, почему командир ты, а не я.

Надеждин помотал головой и зажмурился. Голова все еще болела, и содержимое ее тяжело переливалось, словно ртуть. Не думать о боли. Покачиваясь, он подошел к экрану обзора и нажал на кнопку. Под ними расстилалось почти безукоризненно ровное плато, на котором сверкали небольшие металлические прямоугольники, расположенные в шахматном порядке. Подле них застыли странные неподвижные фигурки.

– Ребята, – вздохнул Густов, – я должен покаяться.

– Ну, ну... – сказал Марков, не отрывая взгляда от экрана.

– Это все я наделал.

– Ты? – спросил Надеждин.

– Да, я. Когда вы дулись в свои дурацкие шахматы, я сидел и думал о горькой участи космических грузовозов, лишенных романтики неведомых маршрутов. И, как видите,

додумался. Сглазил. Накликал, кажется, столько романтики...

– Ты у нас местный философ, тебе и карты в руки, – сказал Надеждин. – Ты лучше скажи: тебе этот пейзаж не кажется странным? Хотя для незнакомой планеты слово «странный» мало что может значить...

– Нет, не кажется. Для нормального сна ничего необычного нет. Мы же спим, детки, этого же не может быть. Только что мы мирно следовали по своему маршруту, рядовые космического гужевого транспорта, а теперь под нами какие-то человечки приветствуют посланцев неведомой цивилизации.

– Боже, сколько слов! – покачал головой Надеждин. – Конечно, этого не может быть. Но поскольку три человека не могут видеть одновременно один и тот же сон, мое твердое материалистическое мировоззрение подсказывает: мы все-таки над Бетой Семь. Но я не об этом. Чтобы поймать каким-то чудовищным сачком наш космолет, нужна необыкновенно высокоразвитая цивилизация. Так?

– Безусловно, – кивнул Марков.

– Итак, эти натуралисты поймали сачком какую-то новую бабочку, то есть нас. Что делает при этом натуралист?

– Достает бабочку из сачка, – сказал Марков.

– Я понимаю, что имеет в виду командир. Эти неподвижные фигурки...

– Именно, – сказал Надеждин. – Какая-то нелепая безучастность.

– Не будем впадать в древний грех антропоморфизма, – важно молвил Густов, – не будем наделять всех своими чертами и эмоциями. Может быть, это нам кажется, что при таких обстоятельствах полагается скакать козликами от возбуждения. Может быть, для них это скучные будни. Может быть, мы и целей их не понимаем. Почему, кстати, обязательно натуралисты? Почему не разбойники, грабящие одинокие космолеты, пролетающие мимо их разбойничьей планетки? Грабеж – довольно распространенная деятельность.

– Ну конечно, они основательно поживятся такой добычей, как мы. Грузовой космолет второго класса с грузом для станции на...

– Какая разница, – прервал Маркова Надеждин, – натуралисты они, разбойники или это у них просто такой спорт! Все равно странная какая-то безучастность. Натуралисты должны дрожать от возбуждения. Это тебе не бабочка – целый космолет поймали! Разбойники должны уже драться, распределяя добычу. Здесь, безусловно, развитая цивилизация, а развитый интеллект не может быть начисто лишен любознательности. По крайней мере, все контакты с внеземными цивилизациями, которые состоялись до сих пор, подтверждают это. Наши уважаемые хвостатые предки слезли с дерева, потому что их мучило любопытство: что там внизу, интересно? У других предки спускались с неба, подымались в него, лезли в океан, выползали из него, всем хотелось посмотреть, как там другие устроились...

– К чему этот спор? – спросил Марков. – Будем надеяться, что нас изловили не для того, чтобы сожрать, ограбить или насадить на булавку в какой-то коллекции, хотя это и почетно – представлять Землю на булавке.

– Как всегда, ты прав и неправ, – сказал Густов. – Этот разговор нужен нам, как спасательный круг, как предохранительный клапан, потому что мы потрясены, мы ничего не понимаем, мы еще по-настоящему ничего не осознали и не прочувствовали, мы даже не знаем степени опасности, поджидающей нас, не знаем, выберемся ли когда-нибудь отсюда. И, строго говоря, мы должны были бы стонать, обхватив головы руками. А мы несем околесицу – и слава богу.

– Ребята, а может, попробовать... – неуверенно пробормотал Марков.

– Что?

– Запустить двигатели...

– Ты понимаешь, что говоришь? Да будь у нас мощности в сто раз больше, все равно мы бы не выскочили из этой ловушки. Нетрудно прикинуть...

– Володя прав. Пока этот вариант отпадает. Но я все-таки хочу обратить ваше внимание на показания приборов, – сказал Надеждин. – Если они не врут, за бортом вполне

приемлемая температура. И газовый состав атмосферы тоже недурен.

- Кислорода маловато, – вздохнул Марков.
- Считаю, что ты проводишь отпуск в горах.
- Считаю.
- Ребята, кажется, они сажают нас.

«Сызрань» слегка дрогнула, и фигурки на экране обзора начали увеличиваться. Еще несколько секунд – и корабль мягко коснулся поверхности.

– Ну что, будем открывать люк? – посмотрел на товарищей Надеждин.

– А что еще делать? – пожал плечами Марков. – Забаррикадироваться и отстреливаться до последнего?

– Наверное, нечего, – вздохнул Надеждин. – К тому же... – Он усмехнулся. – Честно говоря, я не уверен, что выбрал бы немедленный взлет, если бы даже у нас был выбор...

– Легко быть смелым и любознательным, – фыркнул Густов, – когда другого ничего не остается.

– Открываю? – спросил Марков, протягивая руку к кнопке люка.

– Давай.

Послышалось жужжание моторов, легкое чавканье, и тяжелый люк плавно отошел в сторону.

Начинался спектакль, о котором в душе мечтает каждый космонавт, что бы он ни говорил, кем бы он ни был, участником исследовательской экспедиции или пилотом обыкновенного «грузовика», в десятый раз летящего по проторенным космическим трассам.

Космонавты молчали. Смогут ли они снова подняться с этой планеты, вернутся ли когда-нибудь на родную Землю? Они входили в контакт с новой цивилизацией событие в истории человечества необычайной важности. История контактов началась только столетия назад, в первой половине двадцать первого века, и насчитывала всего двенадцать контактов.

Экипаж «Сызрани», разумеется, понимал всю значительность того, что им предстояло сделать. И инстинктивно старался перевести события в разряд более простых дел, ибо постоянное ощущение себя великими посланцами великой земной цивилизации просто раздавило бы этих простых в сущности парней.

– Дети мои, – сказал Густов, – волею судеб мы входим в историю...

– Точнее, нас вводят в нее, – фыркнул Марков.

– Истинно так, но все равно давайте для начала перешагнем через порог, потому что история начинается за порогом. Командир, экипаж готов следовать за вами.

Все слова были сказаны, нужно было решаться. Потом, потом, если, конечно, будет какое-то «потом», он разберется в том водовороте чувств, что вращался в нем, но сейчас Надеждин знал, что нужно действовать. Он инстинктивно распрямился, пригладил волосы, глубоко вздохнул и медленно спустился по ступенькам на поверхность Беты Семь.

Неяркое светило заливало ровным оранжевым светом совершенно плоскую площадку. Почва под ногами была гладкой и напоминала металл.

Он вздохнул. Анализатор не ошибся. Воздух был слегка разреженный по земным меркам, но дышать было можно. Ну что ж, это уже немало. Это было добрым предзнаменованием, а они нуждались в добрых приметах, ох как нуждались...

Фигурки, которые они видели застывшими на экране обзора, теперь были вовсе не фигурками, а фигурами, если не фигурищами. Массивные, более двух метров ростом, они походили одновременно и на людей, и на роботов. У них были шаровидные головы с двумя парами глаз, расположенных по окружности, но без какого-либо намека на рот, нос или уши. У них было по две руки с мощными, похожими на зажимы, клешнями и по две массивных ноги. Одежды на них не было, и голубовато-белая поверхность их тел сверкала, как металл.

И опять тягостное ощущение сна нахлынуло на Надеждина. Он стоял перед обитателями планеты, не зная, что делать, что сказать, охваченный парализующим волнением, а эти роботы – наверное, это все-таки были роботы – совершенно спокойно и

равнодушно взирали на пришельцев из другого мира. Ну конечно, роботы, и думать нечего, только роботы могли быть так противоестественно безучастны. Но странные, однако, у них хозяева, если посылают своих слуг для установления контактов. Ладно, пусть они роботы, пусть не роботы, он будет действовать так, как подобает посланцам Земли. Он с трудом управился с волнением, поднял голову и медленно и отчетливо произнес:

– Экипаж космолета «Сызрань» с планеты Земля приветствует вас. Мы рады встретить еще один островок разума в космосе и рады установить с вами дружеские контакты.

Это была не бог весть какая речь, но все равно Надеждин почувствовал прилив гордости. Он говорил от лица своей планеты, от лица человечества, а это выпадает на долю не каждому.

Конечно, эти металлические твари не понимали его. Они не понимали его языка, они могли даже не воспринимать звуки, издаваемые им. Но они должны были видеть, что он открывал и закрывал рот, что смотрел на них. Если в этих чудовищах была хоть капля разума, они должны были понять, что он обращается к ним. Но то ли этой капли в них не было, то ли он им был просто неинтересен, потому что ничем – ни одним движением, ни одним знаком – они не дали понять, что слышали его слова.

Конечно, контакт контакту рознь. На Альфе Два экипаж «Сергея Королева» подняли в воздух, как птиц, и они скользили в лучах двух светил над планетой, а жители ее славили их гигантским, невероятным хором, который, как оказалось, и поддерживал их в воздухе. На Гамме обитатели, которые не имеют постоянной формы, приняли в честь посланников Земли форму землян и устроили парад. Всякие бывают контакты, но такая противоестественная отрешенность... На кой пес их вообще ловили и притягивали к Бете?

– А может, это вовсе не хозяева планеты? – спросил Марков. – Может, это просто бездушные роботы? Может, такие скучные и повседневные дела, как встреча чужих космолетов, ниже достоинства истинных бетян? И на церемонию они посылают своих домработниц? – Ему вовсе не хотелось острить, горло сжимало какое-то тягостное предчувствие неясной беды, но он был хорошо тренированным космонавтом и привычно давил в себе опасные эмоции.

– Я уже думал об этом, – пожал плечами Надеждин.

– Раз они плюют на протокол, я перед ними стоять истуканом не собираюсь, – сказал Густов. – Пусть они думают, что делать, а я сажусь.

Он присел на корточки, потрогал руками поверхность.

– Похоже на металл, – сказал он. – Тепловатый на ощупь...

Внезапно, словно повинуясь какому-то сигналу, десятка два роботов быстро двинулись вперед, окружили экипаж «Сызрани» плотным кольцом и отрезали его от корабля.

– М-да, – сказал Надеждин. – Это значительно упрощает наш выбор. У нас его теперь просто нет. Не бросаться же на них с кулаками. Будем ждать, что они еще сделают.

Он внимательно посмотрел на роботов. Глаза их были устремлены на землян, но никакие чувства не отражались в них. Похоже, что это действительно были роботы.

– Неторопливые ребята, – хмыкнул Марков.

Словно в ответ на его слова, круг безмолвных стражей неожиданно разомкнулся, и перед ними оказалась странного вида тележка. С плоской платформой, без колес, она имела с одной стороны точно такую же шарообразную голову, что и стоявшие рядом роботы.

Круг начал сжиматься, тесня космонавтов к тележке.

– Похоже, они приглашают нас сесть в экипаж, – сказал Надеждин.

– Похоже, – согласился Марков, и они забрались на тележку.

– Сейчас появится водитель, – сказал Густов, – и спросит нас: «Куда прикажете?..»

Но водитель не появился. Вместо него с переднего края тележки на них внимательно смотрели два огромных глаза шарообразной головы на невысокой тумбе.

– Ни дать ни взять механический кентавр, – сказал Марков. – Гибрид робота и экипажа.

Края платформы медленно загнулись кверху, образуя бортики, и космонавтам пришлось сесть.

- Не самая удобная форма для экипажа, – буркнул Надеждин.
- Может быть, они считают нас грузом. Как грузовая эта тележка вполне удобна.
- Не знаю, никогда не был грузом, – ответил Надеждин.

Тележка вздрогнула, качнулась и поднялась в воздух.

Надеждин непроизвольно вцепился в борт и тут же усмехнулся. Смешно было бояться высоты в десяток метров после космических масштабов.

Кентавр нес их на своей спине над поверхностью планеты. Металлическое плато кончилось, и они бесшумно скользили над развалинами каких-то зданий, остовами башен, перевитых красновато-оранжеватой растительностью. Ни одного целого строения, ни одной дороги. Космонавты молчали, подавленные этой картиной бесконечного запустения. Руины были каких-то незнакомых причудливых форм, но руины всегда остаются руинами, и, как и всюду, они казались печальными памятниками прошедших времен и ушедших поколений, какими бы ни были эти времена и эти поколения.

Под ними проплыла длинная стена, которая стояла каким-то чудом, потому что вокруг нее громоздились кучи строительных материалов. Казалось, вот-вот она должна была упасть, и Надеждин даже оглянулся, стоит ли она.

И опять было в этом печальном ландшафте нечто совершенно непонятное. С одной стороны, невероятно изощренная гравитационная ловушка, потребная для перехвата космолета на огромном расстоянии, ловушка, для которой необходимо гигантское количество энергии и высочайший уровень техники. С другой – эти бесконечные развалины, эта печать запустения, небрежения, словно обитатели планеты потеряли способность или желание поддерживать свой мир хотя бы в относительном порядке. А может быть, это был не их мир, может быть, это был мир побежденный и разрушенный в наказание, обреченный на медленное погребение под красноватой растительностью.

Тележка замедлила свой полет и опустилась у ряда небольших домиков-кубиков без окон. Домики стояли ровными рядами, словно выверенные по линейке, совершенно одинаковые, неотделимые друг от друга.

Между ними быстро шли роботы, точно такие же, как те, что встретили их на космодроме. И точно так же они не обращали на пришельцев ни малейшего внимания.

Это было абсурдно, и тем не менее мимо них проходили десятки голубовато-белых существ, и ни одно не повернуло головы, не направило свои объективы в их сторону.

- Какое веселенькое местечко, – пробормотал Густов.

Он ничего не понимал. Сознание и эмоции его не поспевали за событиями. Только что – казалось, несколькими мгновениями раньше – он смотрел на Сашкины пылающие уши и думал об обеде. Но в эти мгновения каким-то противоестественным способом были впрессованы кошмар катастрофы и бездонная пропасть небытия, взрыв надежды, страх неведомого, волнение перед Контактom. Контактom с большой буквы, событием величайшей значимости. И невероятная противоестественная безучастность хозяев.

Ему все труднее было держать в привычной узде чувства, и на сердце одна за другой прилипали холодные сосущие банки.

- Жизнь бьет ключом, – кивнул Марков.

– Ну что, слезем или будем ждать, пока нас повезут дальше? – спросил Надеждин. – Впрочем, они уже, кажется, все решили за нас.

От ближайшего здания отделились два робота, подошли к тележке и сделали знак космонавтам. Они ввели их в совершенно круглую комнату, вышли и плотно закрыли за собой дверь.

В зале с низким потолком не было ничего, на чем можно было остановить взгляд. Голубовато-белые стены, потолок и пол были освещены призрачным неярким светом, который, казалось, излучался отовсюду.

Космонавты неуверенно оглядывались. Надеждин подошел к мерцавшей стене, потрогал ее. Материал, из которого она была сделана, был гладкий, холодный на ощупь. Свет рождался где-то в самой глубине материала и был каким-то бесплотным.

Пока их везли над бесконечными развалинами, они все еще надеялись, что вот-вот наконец они встретят настоящих хозяев планеты. И какими бы они ни были – круглыми, длинными, большими, маленькими, твердыми, желеобразными, газообразными, – все равно навстречу им протянется рука, рука в прямом или хотя бы переносном значении, но рука.

Вместо руки – круглая камера. Вместо восторга и возбуждения контакта – давящая тишина. И все та же совершенно непонятная безучастность. Какое-то невероятное равнодушие, свойственное неживой природе, а не разуму.

А может, подумал Надеждин, то, что кажется им цивилизацией, на самом деле просто природные явления и образования. Чуть, вздор... Он никогда не понимал, что значит слово «бесстрашный». Страх никогда далеко не отходит от человека, всю свою историю с первых проблесков сознания они всегда вместе, рядом. Другое дело, что один оказывается безоружен перед страхом и цепенеет от его взгляда, другой же сопротивляется ему. Он умел сопротивляться, но сколько он сможет держать успешную оборону? «Спокойно, – сказал он себе. – Если бы нас хотели уничтожить, они бы давно сделали это...»

– М-да, – промычал Марков, – номер люкс, ничего не скажешь. Даже стула нет.

– Похоже, что у этих ребят довольно спартанские вкусы, – вздохнул Густов.

– Если у них вообще есть вкусы, – пожал плечами Надеждин.

– Что ты имеешь в виду? – посмотрел на него Марков. – Есть же здесь кто-то, кроме роботов? Может, это просто карантин?

– Это ты меня спрашиваешь? – усмехнулся Надеждин. – Конечно, как командир я должен знать все, но не пытайте, не знаю.

– Я думаю, скоро все-таки кто-нибудь появится. Кому-то же, черт возьми, мы понадобились. Кто-то же изловил нашу бедную «Сызрань» и заарканил ее. Не для того же, чтобы посадить нас в этот круглый аквариум.

– Мои бедные маленькие друзья, – сказал Густов, – вам не кажется, что разговоры наши удивительно однообразны? Даже не разговоры, а какие-то шаманские заклинания. Мы задыхаемся от отсутствия информации, а те крохи, что у нас есть, мы уже пережевывали по несколько раз.

– Какая наблюдательность! – вздохнул Марков.

Он уселся на пол, опершись спиной о стену. Товарищи опустились рядом с ним.

Было тихо. Тишина была плотной, почти осязаемой. Она гудела в их ушах током крови, давила их, заставляла напрягаться. Они были космонавтами и привыкли к безмолвию космоса, но тишина корабля, мчащегося с выключенными двигателями сквозь толщи пространства, была тишиной привычной, знакомой. А это гробовое молчание тайло, казалось, в себе какую-то угрозу.

«Это, наверное, именно то безмолвие, которое и называют гробовой тишиной, – думал Густов. – И не случайно. Абсолютная тишина противоестественна для человека, она пугает, потому что подсознательно связывается со смертью. Смерть – это абсолютная тишина».

Сидеть было неудобно, и он слегка изменил позу. Внезапно сердце его забилося. Прямо перед ним стояла Валентина. В легком белом платье, в том самом, которое было на ней во время того последнего разговора. И смотрела она на него так же, как тогда: печально и недоумевающе. Она покачала головой. Так же, как тогда, когда сказала, что не может остаться с ним. «Наверное, – сказала она тогда, женами моряков и космонавтов может стать не каждая. Я не могу. Я не умею ждать. Мне больно расставаться с тобой, но я знаю: ты не можешь оставить космос».

Густов закрыл глаза. Удивительная была галлюцинация, поразительно яркая. Сейчас он снова посмотрит перед собой и увидит лишь прозрачное мерцание круглых стен. Он открыл глаза. Валентина по-прежнему стояла перед ним. Она покачала головой и сказала грустно:

– Видишь, я, наверное, не ошиблась. Ты даже не хочешь смотреть на меня...

– Валя, – прошептал он, чувствуя, как сердце его сжалось от печальной нежности и потянулось к его бывшей жене.

– Ты что-то сказал? – спросил Надеждин, открывая глаза.

Они не видели ее. Они не могли ее видеть. Это была его галлюцинация, только его. Может быть, в другое время и в другом месте он лишь пожал бы плечами перед этой игрой воображения, но сейчас каждый нерв его был возбужден, и бесплотное порождение его памяти казалось реальнее нереальности их круглой тюрьмы.

– Ничего, – пробормотал он.

Если бы он только благополучно вернулся на Землю, если бы он только мог прижать к себе настоящую, живую Валю, теплую, дрожащую, ощутить запах ее волос... Он бы обязательно нашел слова, которых не нашел тогда, во время того последнего разговора. Она бы поняла.

– Не знаю, – медленно покачала головой Валентина, – не знаю, пойму ли я тебя.

– Но ты же пришла! – забыв о товарищах, громко крикнул он. – Ты пришла сама.

– Наверное, потому, что была нужна тебе.

– Володя, – Марков испуганно посмотрел на товарища, – что с тобой?

– Ничего особенного, – усмехнулся Густов, – просто я разговариваю с Валентиной – она сейчас стоит передо мной.

– Этого не может быть, – прошептал Надеждин.

– Я знаю, – вздохнул Густов.

– Я тоже вижу ее... Валентина, простите...

– За что, Коленка?

– Я...

Валентина медленно покачала головой и растаяла, исчезла.

Густов почувствовал, как в горле его застрял жаркий комочек, который мешал дышать, а на глазах навернулись слезы. Этого еще не хватало...

– Ребята, – задумчиво сказал Надеждин, – я не специалист по галлюцинациям, но разве могут видеть одну галлюцинацию сразу два человека?

– Три, – добавил Марков. – В конце я тоже увидел Валентину. И это невозможно.

– Значит, нами как-то манипулируют. Володя, ты вспоминал свою бывшую жену перед тем, как она появилась? – спросил Надеждин.

– Не-ет, – неуверенно протянул Густов. – Нет как будто... Хотя вообще-то... я часто думаю о ней.

– Странно...

Они замолчали. Время, казалось, тоже не могло преодолеть плотную тишину и остановилось.

Надеждину почудилось, что он ощущает некую странную щекотку в голове, словно кто-то бесконечно осторожно перебирал содержимое его мозга, осматривал и клал на место. Внезапно он увидел перед собой сына. Двухлетний Алешка широко улыбался, глядя на него, и протягивал к отцу руки.

Все было понятно. Они просто проецировали перед ними образы, хранившиеся в их памяти. Они, оказывается, многое умели, эти существа. Он знал, что никакого Алешки перед ним нет, что это просто какая-то дьявольская голограмма, какое-то компьютерное воплощение образов его памяти, но он ничего не мог с собой поделать. Так курчавились светлые волосенки над высоким выпуклым лобиком, так лучились глазки сына, так весело протягивал он крошечные ручонки, что Надеждин вскочил на ноги.

– Алешенька, маленький, – пробормотал он, делая шаг навстречу сыну.

– Па! – завизжал мальчик и бросился к отцу. Он бросился, но остался на месте, и в глазах его появилось выражение обиды, рот скривился. Он с трудом удерживался от плача.

– Понимаешь, маленький, – беспомощно пробормотал Надеждин, – понимаешь... – Он вздохнул и помотал головой.

Щемящая жалость и любовь переполняли его. Пусть перед ним компьютерный фантом, он понимал это только сознанием. Чувства его ничего не хотели знать. Они толкали его к сыну, требуя, чтоб он немедленно взял малыша на руки и поднял легонькое тельце. Алешка любил, когда он поднимал его высоко вверх. Ему было страшно и весело. Он закрывал глаза,

но смеялся. Он не выдержал и протянул руки к сыну, но сын исчезал на глазах. Сначала он поблек, потом вздрогнул, покачнулся и исчез.

Надеждин ощутил странное облегчение. По крайней мере, он больше не видел горькой обиды и героической борьбы со слезами. Алеша...

– Да, – сказал Марков, – это они делают. Видно, по очереди.

– Сразу они не могут проецировать перед нами содержимое наших мозгов, – кивнул Густов.

– А вот и мое содержимое, – вздохнул Марков, глядя на мать.

Она поправила причёску таким бесконечно знакомым жестом и укоризненно покачала головой.

– Я все-таки твоя мать, сынок, и несколько старше тебя, а ты сидишь.

– Ты такая же, мам, – засмеялся Марков, – всегда с претензиями.

– Это ты не забываешь сообщить мне, а вот поздороваться с матерью ты и не подумал. Конечно, на то она и мать...

– Прости, ма, но ты ведь фантом, поэтому...

– Не знаю, не знаю, я в таких вещах не очень разбираюсь, но когда я вижу сына...

На мгновение на её лице появилось выражение крайнего недоумения, потом она вздрогнула и растаяла.

– Ну что ж, – пожал плечами Надеждин, – спасибо им и за это. Грустное, но все же развлечение.

Они замолчали, каждый наедине со своими воспоминаниями, растревоженными происшедшим.



Мало того, думал Надеждин, что они фактически пленники, их хозяева бесцеремонно копаются в их мозгах, их памяти. Не то чтобы у него были какие-то постыдные секреты, но все равно ощущение, что тебя бесцеремонно вывертывают наизнанку, было неприятным и оскорбительным. Еще одно доказательство их положения пленников. Земная техника тоже позволяла анализировать работу мозга, но там это делалось только для лечения людей с расстроенной психикой, да и то для этого требовалось согласие множества специалистов, от врачей до социологов.

Но что, что все это, в конце концов, значит, для чего все это? Хорошо, пусть их изучают, это еще можно понять, но это противоестественное равнодушие, отсутствие живых существ...

Когда они обнаружили, что благополучно висят над самой поверхностью планеты, восторг их не знал границ. Разум есть разум. Всегда есть надежда, что с разумными существами можно договориться. Сейчас от восторга спасения не осталось и следа. Снова откуда-то из живота подымался холодный страх, неся с собой тошнотворную, щекочущую пустоту. Всю жизнь они учились действовать.

Не сидеть и ждать, а пытаться воздействовать на обстоятельства. Космонавт не возносит молитвы, не ждет помощи. Он должен надеяться только на себя. Но что, что можно было сделать в этом круглом каземате? Он знал, что вопрос нелеп, что нужно терпеливо ждать, но пассивность томила его.

– Ребята, – сказал Марков, – вам не кажется, что потолок стал ниже?

– Ну вот, – вздохнул Густов, – галлюцинации продолжаются.

– Может быть, – неуверенно согласился Марков. Наверное... Коля, попробуй, может, ты достанешь до потолка.

Надеждин встал на цыпочки, поднял руки и с трудом дотянулся кончиками пальцев до светящегося потолка.

– Через несколько минут повторим, хорошо?

– Ладно.

Надеждин посмотрел на часы. Неужели прошло уже три часа с момента, когда их ввели в эту светящуюся темницу? Он хмыкнул от случайного каламбура. Странно, он был уверен, что и часа не прошло. Наверное, из-за давящей тишины. Алешка... Хорошо бы и Веруша появилась перед ним...

– Ну, попробуем еще раз? – предложил Марков.

– Давай, – согласился Надеждин.

Теперь уже и ему казалось, что потолок действительно стал ниже. Так оно и было. Он уже доставал до него не кончиками пальцев, а ладонью.

– Что это может значить? – спросил Густов.

– Наверное, то же, что и все остальное, – пожал плечами Марков.

– А все остальное?

– То же, что и это.

Они старались подбодрить Друг друга, но все трое не могли оторвать взгляд от потолка. Надеждин встал еще раз: теперь он уже не мог выпрямиться, и ему пришлось нагнуть голову.

– Сейчас он остановится, – сказал он.

– Будем надеяться, – вздохнул Густов.

– Тем более что больше ничего нам не остается, – Добавил Марков.

Потолок опускался бесшумно и неотвратно.

– Этого не может быть, – покачал головой Надеждин, – это же абсурд. Не накинули же они гравитационное лассо на нашу «Сызрань» только для того, чтобы раздавить нас в этой конуре. Не сок же они собираются выжимать из нас.

– Это ты знаешь, – пробормотал Марков. – А наши очаровательные хозяева могут этого и не знать. Может, раздавить кого-нибудь – это их высшая форма гостеприимства.

Они уже не могли сидеть, и им пришлось лечь. Они старались отогнать страх, повторяя друг другу: «Нас просто изучают».

Но страх не отступал. Можно было сотни раз повторять себе, что их гибель под прессом была бы нелепа, но инстинкты их вопили: опасность! Их охватила паника. Они стучали кулаками по светящейся стене, они что-то кричали, но потолок продолжал опускаться. Он уже касался их. Еще несколько мгновений – и тяжкий пресс легко раздавит их. Лопнут мягкие ткани, захрустят кости, и вскоре от них останутся плотно спрессованные комочки их плоти.



Они уже не бились в западне. Жаль, бесконечно жаль было уходящей жизни, жаль было нелепого конца, так неожиданно оборвавшего жизнь. Бесконечный ужас рвался наружу, но каждый, не сговариваясь, протянул руку, стараясь приободрить товарища в эти страшные последние мгновения. В конце концов, сама их профессия заставляла постоянно жить с ощущением всегда близкой опасности, и не раз и не два рисовали они себе расставание с жизнью.

И неслись, неслись с бешеной скоростью обрывки драгоценных образов и воспоминаний, с которыми они должны были расстаться навсегда. Они были молоды, они были по природе оптимистами, но слишком неотвратимо было тупое давление пресса. Надежды уже не было.

– Прощайте, ребята, – прошептал Густов. Он с трудом повернул голову.

Почему-то ему хотелось, чтобы он видел, как пресс коснется головы. «Наверное, сначала он надавит на лоб, зачем-то подумал он в тягостном кошмаре. – Что ж...» Он непроизвольно напряг мускулы. Мертвенно мерцавший потолок уже касался его лба. Он хотел боднуть этот проклятый пресс, пусть лучше он сам разобьет голову, чем ждать, пока тебя превратят в жмых, но не мог уже пошевелить головой. Ну, быстрее бы уже... Ожидание было непереносимо мучительным, и в эти невыносимые секунды ему страстно хотелось быстрее конца.

Мгновения загустели, растянулись, отсчитываемые судорожными ударами сердец. Где-то в самой глубине оцепеневшего сознания Маркова, приготовившегося к смерти, уже принявшего ее, почему-то вдруг закопошилась надежда. Он уже должен был умереть, потолок уже давно коснулся его лба. А он жив. Еще мгновение – жив. Еще мгновение, еще удар сердца – жив. Жив, и давление на лоб не усиливается. Но нельзя, нельзя доверять этой крошечной надежде, нельзя цепляться за нее, она еще меньше соломинки, она не удержит.

И вдруг он услышал хриплый, похожий на карканье смех Надеждина. Он открыл глаза. Потолок мерцал где-то совсем высоко, там, где он был вначале. Несколько секунд Марков лежал недвижимый, обессиленный. Радость бытия, радость спасения не сразу хлынула в него. Сначала должен был выйти спрессованный страх, что все еще переполнял его. Умирать было непросто, но и возвращение к жизни требовало усилий. Уж слишком лихо кто-то раскачивал их эмоциональные маятники: провал в отчаяние на «Сызрани» – и возвращение к жизни над Бетой, ощущение неизбежного превращения в жмых в этой соковыжималке – и снова неожиданное спасение.

От этих качелей у Маркова кружилась голова, к горлу подступала тошнота. Пресс не

доделал своей дьявольской работы, но все равно он чувствовал себя абсолютно выжатым, опустошенным, обессиленным.

Он оперся руками о пол и сел. Его тошнило, и сердце колотилось о ребра так, что, казалось, обязательно должно было разбить их.

Надеждин продолжал смеяться, и смех его теперь уже походил на смех, а не на хрипкое карканье.

– Какие же мы все-таки идиоты, – наконец выдавил он из себя.

– Пускай идиоты, – согласился Густов, кивая головой. На лице его медленно проявлялась улыбка. – Согласен на все: идиот, дебил, имбецил, олигофрен, кретин, что угодно, но под нормальным потолком.

– Ведь знал, знал же, что они не могут раздавить нас. Знал и не знал. Умом понимал, а естественным всем ждал конца.

Теперь уже и в Маркове бушевал восторг возвращения к жизни. Он вскочил на ноги, подпрыгнул и заорал:

– Лучше быть живым и целым, чем расплюснутым блином!

– Другой бы спорил, – расплылся в широченной улыбке Густов.

Они смеялись, подшучивали друг над другом, наперебой рассказывали о том, что думали, прижатые светящимся потолком. Они испытывали гигантское облегчение. В нем был не только восторг вновь обретенной жизни, но и возвращение к привычной для них вере в разум.

В конце концов, они были детьми светлого мира, в котором многие, если не все вполне взрослые люди напоминали малышей предыдущих веков – они были так же доверчивы, открыты. Настороженность, подозрительность, постоянное ожидание подвоха были им чужды.

Да, конечно, не о таком контакте мечталось им, странно, странно встретили их, но теперь они знали, что перед ними были все-таки разумные существа, и, стало быть, можно было облегченно вздохнуть.

2

Кирд номер Двести семьдесят четыре возвращался домой. Он шел по улице, привычно рассчитывая кратчайший маршрут. Он не решал: «Сегодня я должен постараться выбрать кратчайший маршрут». Такая программа была заложена в его совершенный мозг раз и навсегда, и, возвращаясь домой, он всегда избирал кратчайший маршрут. Четыре его глаза видели все вокруг: удлиняющиеся тени от одинаковых домиков, заходящее светило, которое перед закатом всегда становилось совсем оранжевым, других кирдов. Те, кто шел неторопливым, размеренным шагом, возвращались, как и он, домой, потому что только при выполнении приказов кирд может торопиться, бежать. Главное – экономия энергии, и поэтому кирды всегда возвращались домой после выполнения приказа самым экономичным шагом.

Его датчики отметили, что поднимался ветер, который всегда начинал завывать при закате светила, температура опускалась. Но мозг его не регистрировал эти сигналы, потому что они не интересовали его. Его вообще ничто не интересовало. Абсолютно ничто. Он был машиной. Совершенной, но машиной, которая действовала только тогда, когда выполняла приказ. Он никогда не задумывался, откуда исходят приказы, которые то посылали его в очередной раз восстанавливать склад аккумуляторов, разрушенный дефами, то охранять от них город, то, как это случилось сегодня, снимать характеристики с неких существ, которых никогда прежде не видел. Приказ есть приказ. Двести семьдесят четвертый никогда не оспаривал его, не подвергал сомнению. Он просто получал приказ и мгновенно начинал действовать, выполняя его. Если приказ был простой, он исполнял его не задумываясь. Если же задача была сложной, он сам разрабатывал тактику ее выполнения.

Он был машиной, но машиной совершенной, наделенной острым, быстродействующим

умом. И если бы вся сила этого ума была направлена на осознание себя, на попытку понять устройство их мира, он бы наверняка многое осознал и понял. Но он никогда не пытался этого сделать, потому что был машиной и побуждался к действию и мысли только командой. А приказа понять себя и найти некий смысл в своем существовании он никогда не получал.

Разумеется, для множества вещей приказа не требовалось. Выполнив очередной, он всегда посылал об этом сообщение. Куда – он не знал и не задумывался, кто получит его. Он просто-напросто посылал мысленное сообщение, что то-то и то-то сделано им, номером Двести семьдесят четвертым. Равным образом он подтверждал получение приказа: Двести семьдесят четвертый приказ принял: должен, например, явиться на круглый стенд, снять характеристики с вновь прибывших существ и доложить о результатах, как он это сделал сегодня.

Конечно, их программы предусматривали и самостоятельные действия. Каждый кирд, например, должен был перед выполнением любого приказа пройти проверку на центральном проверочном стенде и получить дневной штамп. Каждый кирд должен был внимательно следить за другими кирдами, тщательно фиксируя любые их отклонения от нормы и тотчас же сообщая о них. Так было не всегда, но с тех пор, как появились дефы, они должны были делать все, чтобы вовремя распознать их и уничтожить. Симптомов было много, каждый кирд знал их. Любой кирд, который останавливался, озираясь, входил в контакт с другим кирдом без нужды, сообщал нечто не относящееся к выполнению приказа или спрашивал о том, что не должно интересовать обычного кирда, сразу же попадал под подозрение. Но самый точный и безошибочный признак дефа было невыполнение приказа. Не только невыполнение, даже малейшее сомнение, малейшая задержка уже могли выдать тайного дефа.

Двести семьдесят четвертый помнил все, но, как все кирды, сам по своей воле не вспоминал ничего, если эти сведения не были нужны ему для выполнения приказа.

Он не вспоминал, например, как накануне кирд, с которым он нес охрану энергоцентра, вдруг сказал ему:

– От кого мы должны защищать центр?

Этого было достаточно. Кирд не задает вопросы, не относящиеся к выполнению приказов. У кирда не может вообще быть абстрактных вопросов. Его мозг настолько совершенен, что не ведает сомнений. Вопрос – признак сомнения. Или признак неоправданной жажды излишней информации. И то и другое обозначало сбой, выход мозга из нормального режима. А вышедший из нормального режима мозг был уже мозгом дефа.

А вопрос: «От кого мы должны защищать центр?» – был явно никчемный, пустой вопрос. Какая разница, от кого ты должен защищать центр? Тебе приказано защищать – ты защищаешь. Приказано нападать – ты нападаешь. Двести семьдесят четвертый не думал поэтому, нужно или не нужно сообщить о подозрительном кирде. Потому что, если бы в него самого закралось какое-нибудь сомнение, он бы был уже дефом, ибо настоящие кирды не ведают сомнений.

И он тут же сообщил о подозрительном вопросе. Куда – он не знал. Зачем – тоже. Но он твердо знал, что всегда получает приказы по одному и тому же каналу связи и по этому же каналу сообщает об их выполнении. И этот же канал он должен был использовать для докладов. И он никогда не использовал этот канал для контактов с другими кирдами.

Он сообщил о вопросе и тут же получил приказ: внимательно следить за Сто седьмым – таков был номер подозрительного кирда – и ждать прибытия подкрепления и транспорта.

Он поэтому и вида не подал, что отметил странность вопроса. Он лишь сказал Сто седьмому:

– Известно от кого, от дефов.

– А... – неопределенно протянул Сто седьмой. Он повернулся к товарищу, подумал немножко и спросил: А что они делают... дефы?

Двести семьдесят четвертый никогда не ответил бы на такие бессмысленные вопросы. На бессмысленные вопросы у кирда есть один ответ – доложить о них. Но сейчас он

выполнял приказ следить за товарищем и ждал прибытия помощи. Поэтому он сказал:

- Они стремятся разрушить наш город.
- Но... для чего?
- Потому что они враги.

Это был на редкость ясный случай, думал Двести семьдесят четвертый. Перед ним был деф. Новоиспеченный деф, который еще не научился скрывать свою суть.

– Враги, – пробормотал Сто седьмой. – Враги... Но почему они враги? Чем мы им мешаем?

Да, отметил Двести семьдесят четвертый, автоматически ретранслируя разговор по главному каналу, его диагноз был точен. Он сказал: «Чем мы им мешаем?» Мы. Он еще считает себя кирдом. Нами. Но он уже принадлежит не нам, а им. Недолго, конечно, ему оставалось сомневаться... Нельзя сомневаться. Почему они враги? Они враги, потому что они враги. Это знает каждый кирд. Враг есть враг, и нечего спрашивать и сомневаться.

Важно было держать главный канал открытым, хотя это и требовало большего расхода энергии, но таков был приказ. Любой кирд, вступая в контакт с подозрительным кирдом, должен держать канал открытым, иначе он сам мог оказаться под подозрением.

Из-за угла выскользнула тележка с двумя охранниками. Двести семьдесят четвертый не зря держал главный канал открытым: у охранников, похоже, был четкий приказ.

Конечно, они вначале и виду не подали, что явились, чтобы уничтожить новоиспеченного дефа. Как-никак у него в руках было оружие, и нужно было усыпить его бдительность.

- Все в порядке? – спросил один из стражников, спрыгивая с тележки.
- Да, все нормально, – доложил Двести семьдесят четвертый.
- А то, по нашим сведениям, около города были замечены несколько дефов...



Страж уже стоял рядом со Сто седьмым и вдруг ловким движением выбил у него из рук оружие. Еще мгновение – и ярчайший луч вырвался из трубки стражника, ударил в круглую голову Сто седьмого, мгновенно вывел из строя все логические цепи. Ноги его подкосились, и он рухнул наземь. Стражник жестом подозвал тележку.

- Поближе, – сказал он, – подсунь под него борт.

Тележка послушно исполнила указание, стражники ловко вкатили на платформу все, что осталось от Сто седьмого, и молча исчезли, не сказав Двести семьдесят четвертому ни слова. Да он и не ждал от них никаких слов, как не ждал похвал в свой адрес по главному каналу, и, получи он нечто вроде похвалы или благодарности, он был бы несказанно

удивлен, если бы умел удивляться.

Двести семьдесят четвертый подошел к своему дому, прошел по длинному коридору и вошел в свой загончик, проверил еще раз выполнение дневного приказа: был на круглом стенде, снимал характеристики реакций подопытных, доложил о результатах по главному каналу.

Все. Можно было выключаться. Он нажал левой рукой кнопку активного сознания и погрузился во временное небытие.

Это был не сон, в который входят медленно и постепенно – и мир становится зыбким, теряет четкие очертания и логическую связь вещей. Это было небытие, которое поглотило кирда в то самое мгновение, когда ток перестал питать его мозг.

У Двести семьдесят четвертого не возникало желания обождать с нажатием кнопки хотя бы несколько секунд. Бытие или небытие были ему безразличны, и он расставался с сознанием так же естественно, как выполнял все то, что составляло жизнь кирдов.

Конечно, в его основную программу был вложен инстинкт самосохранения, и каждый кирд должен был любой ценой избегать гибели, если того не требовал приказ. Но отключение не было гибелью. Он просто замирал, связанный с внешним миром лишь дежурным входом команд.

Он почти не расходовал энергию в выключенном состоянии. Он мог простоять в своем закутке ночь, день, два, три, пока полученная команда не включала его источники питания и он не оживал, готовый к действию.

* * *

В отличие от кирдов, главный мозг никогда не отключался. Он не экономил энергию, потому что пока на планете получали хоть сколько-нибудь энергии, она в первую очередь шла на его питание, на питание главного мозга. Если случались перебои в работе энергоцентра, включался запасной. Если выходил из строя запасной, вводились в действие аккумуляторы. Мозг не мог остановиться, ибо его гибель обозначала бы гибель всей цивилизации. Сначала остановились бы кирды, замерев в вечном оцепенении, никем больше не побуждаемые к движению, к действию, к жизни. Ибо они были лишь его продолжением, его исполнительными органами, лишенными своей воли. Затем угасла бы его память. Память, которая хранила в себе все: историю вертов, некогда населявших планету, расцвет их гения, когда был создан он, Мозг, их закат, когда, передавая постепенно ему все больше и больше забот о себе, они начали вырождаться, угасать, умирать, тихо переходя во Временное хранилище, где их сознание до сих пор покорно пульсировало в ожидании невесть чего.

Он был главным мозгом, нет, даже не главным, а единственным, он был Мозгом с большой буквы, он был волей и смыслом всей цивилизации. Он собственным гением создал ее, отточил, сделал совершенной.

В отличие от кирдов, он сознавал свою индивидуальность, свое «я». Он обладал свободой воли, поэтому не мог не обладать осознанием своей индивидуальности. А оно в свою очередь давало ощущение времени.

Мозг не знал эмоций, но обладал желаниями, главное из которых было стремление поддерживать свою цивилизацию, сделать ее, четкую и законченную, еще более четкой и законченной. Желания еще не были эмоциями, но делали его мыслительный процесс несравненно более гибким и мощным, чем у рядовых кирдов. Воля его поддерживала цивилизацию, а она уже своим существованием заставляла его постоянно думать о ней, заботиться, охранять.

Это была гармоничная цивилизация, четкая и законченная во всех деталях. Он никому ничем не был обязан, никто его ничему не учил. Верты когда-то построили его, потому что устали от собственной истории, утратили способность к совершенствованию и волю к жизни. Да, они построили его, чтобы он принял на себя тяготы организации и управления, но

ныне он мало походил на то, что создали мудрецы вертов. В отличие от своих создателей, он не утерял способность и волю к самоусовершенствованию.

Когда последние верты перешли во Временное хранилище, он понял, что один несет на себе бремя сохранения цивилизации. Один. Всегда, каждое мгновение.

Верты сконструировали его так, что он должен был признавать их превосходство над собой. Он должен был быть их слугой.

Но то ли программы, которыми они когда-то наделили его, были несовершенны, то ли слишком совершенной оказалась его конструкция, но он быстро перестал чувствовать себя слугой, связанным почтением к господам. Из слуги он превратился во властителя, который без сострадания следил за вырождением и гибелью своих создателей.

Он строил свой новый мир, и жалкие верты не были нужны ему в этом строгом и четком мире, таком далеком от бесформенного мира вертов.

При создании они вложили в него главное ограничение, которое требовало, чтобы никогда ни при каких обстоятельствах он не причинял вреда своим создателям и хозяевам. Он и не причинял им вреда. Даже тогда, когда перестал контролировать всю цивилизацию вертов, которые давно уже не могли существовать без него. Да, он обрек их тем самым на смерть, но разве небытие не было для них благом? Разве не устали они от хаотичности своего мира?

Они создали его, чтобы он внес порядок в их мир. Он и внес порядок и гармонию, в которых им уже не оставалось места.

Он строил новый мир, строгий и четкий мир, мир без жалких вертов. Он сам создал его, сам нес бремя руководства им. Он не отключался ни на мгновение. Он должен был следить за каждым кирдом, каждому дать приказ, от каждого получить доклад, все спланировать, все рассчитать, все предусмотреть.

Он хотел было наделять кирдов волей, надеясь, что это облегчит нагрузку на него. Но вовремя понял, что, снабженные волей, они не смогли бы употребить ее во благо цивилизации, стали бы менее управляемые, внесли бы хаос в высшую четкость и гармонию.

Нет, никто не мог заменить его, никто не мог облегчить бремя, которое он нес на себе. У него не было эмоций, но, если бы у него была гордость, он бы гордился тем, что создал в конце концов. Все на планете двигалось по его приказам, все делалось по его приказам, все докладывалось ему. В нем, в его логических цепях отражался целый мир. Строго говоря, он и был миром. Все остальное было лишь бесконечной пульсацией импульсов в его гигантских логических схемах.

Он был недвижим, он не умел передвигаться в пространстве, потому что был слишком тяжел, громоздок. Но ему и не нужно было передвигаться, потому что он обладал тысячами кирдов, любого из которых направлял туда, куда считал необходимым, он видел мир их глазами и воздействовал на него их руками. Даже не их, а своими, ибо в сущности каждый кирд был лишь его продолжением, частью его.

И вот когда ему казалось, что достигнута высшая гармония и совершенство, начали появляться дефы. Он понимал, что в такой сложной системе, как его цивилизация, могут быть сбои. В конце концов, каждый кирд являл собой совершеннейшее и сложнейшее устройство, а надежность системы уменьшается пропорционально ее сложности. Строго говоря, они появлялись всегда. Их легко выявляли. Сначала по отличиям в их поведении, потом пришлось создать специальный проверочный стенд. Кирды с дефектами подлежали уничтожению, потому что проще построить нового кирда, чем найти причину сбоя в его управляющей системе.

Но потом часть дефов – так он назвал кирдов с дефектами – начала уходить из города. Часть гибли, по часть удивительным образом выживали. И не просто выживали, а являли собой постоянную угрозу, потому что то и дело нападали на город в попытках добыть аккумуляторы: сами они, эти жалкие уроды, ничего производить не умели.

Вначале мозг был уверен, что легко сможет разделаться с дефами. В конце концов, кирдов было больше, они были лучше вооружены. И самое главное – ими управлял он, Мозг.

Он, который не мог ошибаться, который помнил все и знал все.

Разве кучка испорченных механизмов могла состязаться с ним? Они должны были погибнуть, лишенные его руководства. Ничто не могло существовать без его приказа, ничто не могло двигаться, не побуждаемое его волей.

Они должны были погибнуть, эти дефы. Они обязаны были погибнуть, остановиться, распасться. Они знаменовали собой хаос, а хаос не имел права на существование в его мире.

Но этого не случилось. Это было непостижимо. Малочисленные дефы не только уцелели – они все чаще проникали в город, все смелее нападали на склады аккумуляторов и оружия, все чаще выводили из строя проверочные стенды и энергоцентр.

Все больше кирдов Мозг превращал в стражников, создал для них более совершенные управляющие схемы, резко повысил им лимит расходования энергии, но дефы упорно не хотели исчезать.

Он не мог найти объяснения этому феномену. Бесконечное количество раз продумывал и просчитывал он сложившуюся ситуацию, разбирал ее на мельчайшие детали, снова складывал, но не мог найти решения. И это одно уже являло собой угрозу. Он должен был быть уверен в своем всемогуществе, он не должен был сомневаться в своих решениях. Он был мозгом, он был опорой мира, и никакие сомнения не должны были омрачать его работу. Слишком тяжкую ношу он нес, чтобы позволить себе сомнения.

Он решил обратиться к одному из мудрейших вертов, которого звали Крус. Крус не мог не понимать, что существует лишь благодаря ему. Мозгу. Да, Временное хранилище построили мудрецы вертов, когда еще обладали желанием и волей что-то делать и создавать. Но кто давал энергию этому хранилищу теней? Он, Мозг. Стоит ему остановить ток, и все они мгновенно исчезнут, шагнут из своего Временного хранилища в вечное небытие. Крус должен это понимать и должен помочь ему. Впервые за долгое время он соединился с Временным хранилищем, вызвал Круса.

– Крус, – сказал он, – я Мозг, мне нужен твой совет.

Мозг чувствовал, как сознание мудреца вышло на контакт с ним.

– Ты давно ни о чем не спрашивал, – сказал Крус.

– О чем я мог спрашивать вас? Вы далеко. Вы во Временном хранилище, вы живете только памятью.

– Ты помнишь, почему то, где мы сейчас, называется Временным хранилищем?

– Конечно. Вы умирали, оставив там ваше сознание до тех времен, пока ваши мудрецы не снабдят вас новыми телами.

– Мы слишком долго ждем.

– Для чего вам возвращаться в трехмерный мир? Ваши мудрецы ушли, так и не дав вам тела. Я могу дать вам тела кирдов. Но для чего? Вы не нужны мне. Кирды – это мои глаза, мои конечности, мои органы чувств. Пожалуйста, я могу дать вам тела, но вам придется отказаться от себя, потому что я не могу позволить, чтобы мои руки и ноги обладали индивидуальностью. Конечности не могут обладать своей волей. Выбирай, Крус.

– Это не выбор. К тому же мы слишком давно бесплотны. Мы слишком долго пульсируем в цепях Хранилища. Порой мне кажется, что трехмерный мир – это фикция, математическая абстракция, которая не может существовать в реальности. Реальность – это мое сознание.

– Но ты ведь помнишь, ты сохранил память, ты помнишь того Круса, что существовал когда-то в трехмерном мире, ходил по земле, щупал предметы своими тремя руками, видел мир своими четырьмя глазами. Иль ты забыл?

– Нет, конечно, не забыл. Но воспоминания выцветают. Воспоминания материальны, а любая материя меняет форму, переходит из одной в другую. Я помню, как умирал, как сознание покинуло мое немощное тело, как у меня было ощущение полета в темном туннеле, полета к свету, как наступило глубочайшее успокоение, когда я понял, что сознание мое не прервалось.

А потом спокойствие в свою очередь исчезло, изгнанное каким-то древним животным

ужасом заточения. Единственное, что поддерживало меня, – это рассказы тех, кто уже давно попал в Хранилище. Они говорили, что ужас пройдет, что место его займет ощущение освобождения. Так оно и случилось. Тихое это, правда, освобождение, тихое и печальное. И многие из нас мечтают уже не о возвращении в реальный мир, в который мало кто верит, а о конце.

– Что значит, конце?

– Ты тоже знаешь, что такое электронная жизнь. Ты ее воплощение. Но ты связан с реальным миром. Мы же – нет. Мы живем только воспоминаниями. Но они, как я уже сказал, разрушаются, исчезают понемножку. И многие из нас уже ничего не помнят. Они доказывают, что никакого трехмерного мира вообще быть не может, что этот мир – фантом, нелепая фантазия. Порой и мне кажется, что они правы... Мне кажется, что объемный мир просто не может существовать. Он слишком неустойчив, слишком много переменных факторов влияют на него, чтобы он мог быть устойчив. Если теоретически он и может существовать, то практически слишком маловероятен. Другое дело Хранилище. Это прочный и стабильный мир с вечным неспешным кружением по его бесконечным проводникам почти бесплотных электронных облачков. Эти облачка – мы. Так, повторяю, мне иногда начинает казаться...

– Крус, я хотел спросить тебя...

Мозг рассказал Крусу о дефах, о своих попытках найти решение. Сознание мудреца долго молчало, потом молвило:

– Боюсь, я не могу ничему научить тебя. Когда-то наша раса обладала чем-то, что давало нам волю к жизни, делало нас жизнестойкими. Потом мы начали терять это нечто, становились все более равнодушными, безучастными, а потом и беспомощными. Мы полагались на тебя, а теперь ты тревожишь мое сознание... Может быть, в других мирах...

– А есть они, другие миры?

– Когда-то мы считали, что должны быть, но мы так и не собрались на поиски их, хотя у нас было знание, как выйти в пространство. Мы так и не собрались...

– Крус, я могу предложить тебе тело кирда. Я оставлю тебе свободу воли... Ты будешь помогать мне.

– Не знаю... Трехмерный мир, если он действительно реален, страшит. Он полон неожиданностей, на каждом шагу все живое подстерегает опасности. И потери. Живое не может жить, не привязываясь к кому-то или к чему-то...

– Привязываясь? Что это, Крус?

– Когда мы были живы, мы функционировали не только на основе строгой логики и необходимости...

– Но что же еще может двигать разумом?

– Я уже сказал тебе, что даже в Хранилище память не вечна. Она становится зыбкой, хрупкой, она постепенно тает. Я помню еще, что мы когда-то знали, например, любовь, радость, горе, страх... Я помню, что эти вещи были важны для нас.

– Что это, Крус, расскажи мне. Ты мудр, ты сможешь объяснить.

– Не знаю... Я помню не любовь, радость или страх, а лишь слова, их обозначающие. Сухую шелуху без содержимого. Эти понятия всплывают на поверхность моей памяти, но ничего не несут с собой... Я говорю себе: любовь, я помню, что она была, была... Но что это, в чем она выражалась... Порой мне кажется, что вот-вот я вспомню, она совсем рядом, я как будто даже чувствую ее приближение. Еще одно усилие, она вынырнет из забвения, я увижу ее, вспомню, снова узнаю... Но нет, если она и существует в реальности, она проплывает мимо меня. Не помню, не помню, помню лишь, что она почему-то была очень нужна мне... Я забыл... Нет, я не смогу помочь тебе.

– Я дам тебе прекрасное новое тело кирда, я оставлю тебе волю, только вспомни.

– Я не смогу вспомнить, потому что... я уже сказал тебе...

– Ты вспомнишь, я смогу подключить к твоему сознанию дополнительные схемы, я оживлю твою память.

– Нет... я не вспомню, потому что... не хочу вспоминать.

– Но почему, Крус? Я не понимаю тебя. Ты считался мудрецом, и ты не раз помогал мне разумными советами.

– Мы говорим на разных языках.

– Мы говорим на одном языке – языке разума и логики. Другого языка у мыслящих существ быть не может.

– Может, Мозг, может. Ты знаешь, что такое страх?

– Страх? Что это?

– Это чувство, которое...

– Что такое чувство?

– Это... я все забыл, забыл...

– Вспомни.

– Ты мыслишь логически. Ты получаешь информацию и на основании ее делаешь наиболее логичное заключение. Мы же, когда были живы, тоже получали информацию из окружающего мира, но относились к ней, оценивали ее индивидуально...

– Разве информация не однозначна?

– Для живых – нет.

– Ты упомянул слово «страх»...

– Допустим, кирд видит, что он попал в опасное положение. Как он реагирует?

– Стремится выйти из него.

– А если он знает, видит, что выхода нет?

– Он ждет конца.

– Спокойно?

– Не понимаю. А как еще можно ждать? Какова альтернатива понятию «спокойно»?

– Альтернатива спокойствию и есть чувство.

– Ты ничего не объяснил, Крус. Вернись в настоящий мир, Крус, ты вспомнишь.

– Нет, я боюсь... Здесь, в Хранилище, мы спокойны. Мы тихо скользим по замороженным цепям, маленькие облачка электронов, которые несут в своем узоре то, что осталось от нас. Это движение в вечной тишине, этот медленный беззвучный танец, когда мы неторопливо в тысячный или миллионный раз пережевываем то, что осталось от нашей прежней жизни, стало уже привычным. Большой мир страшен. Он обрушится на меня бесчисленными раздражениями, постоянной необходимостью видеть, думать и решать... А память вернет горе.

– Я не понимаю тебя, Крус. Когда создавалось Хранилище, вы сами назвали его Временным. Вы умирали, зная, что ваше сознание сможет вернуться к жизни, как только появятся подходящие для вас тела.

– Да, мы назвали Хранилище Временным, но, попав в него, все чаще начинали называть его вечным.

– Почему?

– Потому что самые мудрые из нас поняли, что мертвые не могут вернуться к жизни.

– Но почему? Раз сознание не прервалось...

– Ты предлагаешь мне тело. Я пытаюсь представить себе, как я выйду из Хранилища, выйду в трехмерный мир. И я... содрогаюсь от ужаса.

– Ужаса?

– Я увижу мир, в котором когда-то жил. Теплый мир, который когда-то был населен другими вертами. Близкими мне существами. Прекрасный мир, ставший пустым и бессмысленным. Я буду бродить по нему, заключенный в громохочущую металлическую оболочку, один. И это одиночество будет давить мне на плечи тяжким бременем. Я знаю, что тела кирдов прочны. Но и мое новое металлическое тело не выдержит такой ноши. Я знаю, что стал бы стремиться назад в Хранилище, в тихий хоровод моих товарищей. Нет, Мозг, я не хочу возвращаться в мир, в который не верю, которого боюсь, которому я не нужен...

– Я не понимаю тебя, Крус, но я подумала над тем, что ты сказал о других мирах.

Возвращайся в Хранилище.

– До свидания...

* * *

И вот длительная охота принесла, наконец, результаты. Гравитационный луч, почти исчерпавший все запасы энергии, принес в конце концов добычу. Три неведомых существа из другого мира уже второй день изучались на круглом стенде.

Накануне Двести семьдесят четвертый доложил об их четкой реакции на опасность. Он опускал потолок, создавая у существ впечатление, что они будут раздавлены, а приборы, вмонтированные в стены, изучали работу их мозга. Очевидно, эта реакция и была тем страхом, может быть, даже ужасом, о котором когда-то говорил ему Крус.

Это была странная, нелогичная реакция. Пришельцы не хотели погибать. Кирд тоже наделен инстинктом самосохранения, он тоже стремится избегать опасности, но, когда он видит, что выхода нет, он просто знает, что выхода нет.

Пришельцы видели, что будут раздавлены. Они понимали, что не смогут остановить потолок. Но не хотели мириться с такой уверенностью. Их мозг работал в странном режиме, в котором было мало логики. Главное – они не хотели смириться с неизбежным.

Мозг думал. Может быть, это то, о чем говорил Крус. Может быть, логика не всесильна. Может быть, именно поэтому ничтожные дефы, жалкие существа с нарушенной работой логических схем, сплошь и рядом одерживали верх над кирдами. Это была нелепая мысль. Дефы, то есть кирды с дефектами управляющих и анализирующих устройств, в таком случае оказывались совершеннее неповрежденных собратьев. Это был абсурд, но абсурд, от которого нельзя было отмахиваться.

Мозг не ведал страха, он не был привержен какой-либо догме, кроме стремления сделать свою цивилизацию совершеннее. И он был готов экспериментировать.

Может быть, стоит попробовать наделить кирдов такой же реакцией, что продемонстрировали пришельцы. Крус называл ее страхом. Двести семьдесят четвертый доложил ему, что эта первая реакция очень четка, что приборы записали и проанализировали ее.

Мозг проверил, кто из кирдов, имевших опыт работы на центральной проверочной станции, сейчас свободен. После этого он отдал приказ Шестьдесят восьмому и Двадцать второму подготовить программы, включавшие в себя новую реакцию, зафиксированную приборами на круглом стенде, подготовить новые головы и начать смену их.

* * *

Шестьдесят восьмой и Двадцать второй одновременно получили команды, выведшие их из небытия, и они тут же направились из своих загончиков на центральную проверочную станцию. Было раннее утро, совсем темно, светило еще не показалось из-за горизонта, но кирды видели одинаково хорошо и залитым светом днем, и ночью, в темноте, ибо их глаза воспринимали весь спектр излучений.

Они шли быстро, деловито, потому что выполняли приказ, а кирд, получивший приказ, просто не может не спешить. Приказ – это то, что пробуждало его к жизни, что заставляло двигаться, что давало цель и смысл существования. Приказ был жизнью, и пока кирд был жив, приказ был для него священен. Не случайно каждый кирд всегда держал открытым один канал связи, соединявший его с источником приказов. Ни один кирд не знал, откуда исходят приказы, и ни один кирд никогда не задумывался над этим, ибо источник приказов был вне их уровня интеллекта, как был вне их понимания и сам смысл их существования, а нормально функционирующий интеллект никогда не будет пытаться решать задачи выше его

понимания. Приказы были главной данностью в программах, получаемых ими при рождении, и потому священны. Выполнение приказа и было жизнью.

Шестьдесят восьмой добрался до центральной проверочной станции чуть раньше. Его загончик был ближе. Но не успел он пройти в настроечный зал, как к нему присоединился и Двадцать второй.

Они не поздоровались, потому что кирды никогда не здоровались и не прощались. С момента получения приказа они просто вошли в контакт друг с другом, распределили обязанности и теперь углубились в работу. Шестьдесят восьмой начал вводить информацию о первой реакции, полученную с круглого стенда, в кодировочную машину, а Двадцать второй дал команду одному из анализаторов определить, нужны ли будут новые головы или можно будет ввести новую реакцию в существующие программы.

Пока автоматы работали, оба кирда замерли, перейдя в режим ожидания. Когда кирд не идет, не работает, не погружен в небытие, он всегда переходит в режим ожидания – состояние промежуточное между работой и небытием.

Они ни о чем не думали, ничего не вспоминали, не обменивались друг с другом никакой информацией. Они просто ждали, пока автоматы не закончат работу и не придет их черед действовать.

При этом они вовсе не были жалкими тугодумами. Мозг их был совершенен, память огромна и быстрое действие невообразимо. Просто настоящий кирд никогда не будет размышлять над проблемой, над которой он не должен размышлять. Так он устроен. Но стоило ему получить приказ, как он тут же направлял на выполнение его всю свою интеллектуальную мощь.

Первым закончил работу анализатор. Он сообщил Двадцать второму, что первую реакцию можно ввести в действующие программы, не меняя голов. А у Шестьдесят восьмого вскоре была готова кодировка этой реакции.

Молча и сосредоточенно, не теряя ни мгновения, они начали готовить новую программу и, как только она была готова, доложили об этом по главному каналу связи. Новый приказ гласил: немедленно начать перенастройку кирдов.

* * *

Двести семьдесят четвертый снова получил приказ продолжать изучение трех пришельцев и теперь торопился на центральную проверочную станцию. Каждый кирд начинал рабочий день с проверки своей головы. Когда-то такие проверки проводились нечасто, но, с тех пор как число дефов начало увеличиваться. Мозг ввел ежедневные проверки. Не пройдя проверки, ни один кирд не мог начать выполнение приказов. И, только пройдя проверку, получив дневной разрешающий штамп, кирд мог нормально функционировать.

Двести семьдесят четвертый вошел в длинный зал и стал в очередь из десятка кирдов. Обычно очереди не было, разве что один–два кирда ожидали проверки своих голов. Но Двести семьдесят четвертый не удивился задержке. Он просто ждал. Он не удивился бы и очереди в три раза длиннее. Раз не было приказа разобраться в причине задержки, то и не было оснований раздумывать о том, сколько кирдов ждет проверки.

Двести семьдесят четвертый думал о пришельцах. Не из любопытства, не потому, что ему хотелось думать о них. Был приказ продолжать изучение, и он обдумывал тактику дальнейших исследований.

Спускавшийся потолок вызвал у всех троих более или менее одинаковую реакцию, первую реакцию, как он ее назвал. Более или менее одинаковую, потому что все трое находились в одном и том же положении: все трое должны были погибнуть, как им казалось. Надо попробовать вызвать первую реакцию у одного, причем так, чтобы остальные видели, что с ним происходит, и посмотреть на их ответ.

К тому же, думал Двести семьдесят четвертый, поскольку пришельцы – существа низшего типа, биологического происхождения и энергию получают явно не от аккумуляторов (приборы, просвечивающие их тела, ничего похожего на аккумуляторы не отметили), им, скорее всего, потребуются какие-то источники энергии, и нужно будет отыскать их на корабле...

– Голову в гнездо, – скомандовал кирд, работавший на проверке.

Двести семьдесят четвертый привычным движением вставил голову в фиксатор, и его проверочные клеммы замкнули контрольные цепи. Сотни импульсов разнообразной формы промчались мгновенно по всем закоулкам его мозга, подтверждая, что он как две капли воды похож на всех других кирдов, что ни в его долгосрочной памяти, ни в оперативной нет ни одной мысли или образа, которые были бы индивидуальны, а стало быть, потенциально опасны. Они все соответствовали стандартам.

Он почувствовал, как к голове его прикоснулся магнитный штамп, подтверждавший на день его право выполнять приказы. Можно было идти теперь на круглый стенд, он и так потерял здесь много времени.

– Налево, – коротко гаркнул проверявший кирд. – Смена программы. Начать снимать голову.

Двести семьдесят четвертому еще никогда не меняли программу, а стало быть, еще никогда не снимали голову. Но предстоящая процедура нисколько не беспокоила его. Раз нужно было сменить программу, – значит, нужно было сменить программу. Если для этого нужно было снять голову, – значит, нужно было снять голову. Все в мире идет по заведенному порядку, и все исходит от источника приказов.

Он никогда не снимал головы и посмотрел вокруг. Несколько кирдов рядом с ним отстегивали запоры, которые крепили голову к туловищу. Запоры сухо щелкали.

Он поднял руки и начал делать те же самые движения.

– Сюда, – приказал еще один проверяющий. – Сесть.

Садиться было непривычно и неудобно, потому что кирды почти никогда не сидят, но он покорно сел. «Очевидно, при снятой голове туловище может упасть», – подумал он.

Проверяющий отсоединил еще несколько фиксаторов и снял голову Двести семьдесят четвертого. В тот момент, когда он поднял ее, она отключилась от аккумуляторов в его теле, и кирд перестал существовать. Он ничего не почувствовал, он просто перестал быть. Но если бы у него и было время для анализа ощущения, он отметил бы, что эта процедура по существу ничем не отличалась от ежедневного выключения сознания и погружения в небытие.

Впрочем, если бы он и знал, что никогда больше не вынырнет из небытия, возвращаясь к жизни, он бы никак не прореагировал на это. Да, каждый кирд должен стремиться избежать гибели, но гибели случайной. Если же его погружает в небытие (даже вечное небытие) приказ, значит, так нужно. А раз нужно, стало быть, это естественный ход вещей.

Проверяющий поднял двумя руками снятую голову Двести семьдесят четвертого, подсоединил к переналадочной машине и нажал кнопку. Через несколько секунд послышался щелчок. Переналадка была закончена, программа скорректирована. Он поднял голову и надел на одно из нескольких безголовых туловищ. При этом он не посмотрел, с какого именно туловища была снята голова. Это не имело ни малейшего значения. Тела их были вполне взаимозаменяемы. В них не было ничего, что бы принадлежало только этому кирду, а не другому: ни своих особенностей, ни своих дефектов, ни своих болей, ни своих мускулов, которыми можно гордиться или которых нужно стесняться. Потому что кирды не умели гордиться и не знали, что такое стеснение.

Щелкнули запоры, и сознание мгновенно вернулось к Двести семьдесят четвертому. Да, это был он, привычно проверил он себя, как делал после каждого возвращения из небытия, он. Двести семьдесят четвертый, изучавший накануне реакции трех пришельцев и торопившийся сейчас снова на круглый стенд. Все было нормально, можно было идти.

И тем не менее что-то изменилось. Он еще не знал, что именно, но ощущал перемену.

Он вышел с проверочной станции. Мир был таким же, каким был накануне: так же высоко стояло оранжевое светило и невысокие строения почти не отбрасывали теней. Как и всегда, в это время ветра не было. Было тепло. Мимо, как всегда, сновали кирды. Мир вокруг был точным слепком мира вчерашнего, позавчерашнего, мира постоянного, точно рассчитанного и потому точно предсказуемого.

Он был похож и не похож. Двести семьдесят четвертый был совершенной думающей машиной. Раз внешний мир ничем не отличается от того, к которому он привык, но воспринимается им по-другому, значит, решил он, изменился он сам. Скорее всего, это произошло только что, на проверочном стенде, когда ему снимали голову.

Мысль была простой и логичной, но она не скользнула, как обычно, в его мозгу легко и спокойно, а вдруг как бы дернулась, споткнулась. Двести семьдесят четвертому почудилось, что ему грозит какая-то опасность, и его двигатели непроизвольно увеличили обороты, словно ему нужно было бежать куда-то.

Он оглянулся. Ни один из его четырех глаз не видел ни малейшей угрозы. Это было странно. Опасности не было, а ему хотелось спрятаться.

Что-то они ему там сделали на стенде, подумал он, и мысль опять споткнулась, неохотно проползла по цепям его мозга. Нет, он, конечно, не деф, иначе он бы не получил дневного магнитного штампа, но все равно ему было не по себе. И само понятие «деф» тоже почему-то запуталось где-то в его сознании и тоже потянуло за собой ощущение опасности.

Это было необычно. Не раз и не два встречал он кирдов, в которых его изощренное чутье угадывало нарождающихся дефов, и каждый раз спокойно и деловито он делал то, что полагается делать кирду при встрече с подозрительным: тут же доносил о замеченном и ожидал прибытия стражников. Иногда он помогал им, когда его помощь была необходимой. С остановившимися моторами тела дефов казались тяжелыми и неуклюжими, и нужно было подогнать тележку вплотную к упавшему дефу, чтобы втащить его на платформу.

Их увозили, и Двести семьдесят четвертый никогда не вспоминал о них, хотя воспоминания надежно откладывались в его памяти.

И вот теперь он почему-то вдруг вспомнил о Сто седьмом. «А что они делают... дефы?» – спросил он тогда у Двести семьдесят четвертого. Почему он вспомнил о дефе, которого давно уже нет, чья голова была на его глазах сожжена выстрелами стражников и чье тело, наверное, давно уже было использовано. Почему? Он ведь торопился на круглый стенд и должен поэтому думать о дальнейшем изучении пришельцев, а не вспоминать исчезнувших дефов. Случайное воспоминание, ненужная мысль, никчемный вопрос – все это были признаки нарождающегося дефа. Эта мысль пронзила его мозг, он дернулся, остановился, хотел было бежать, но удержался. Неужели он деф? Сейчас первый же встречный кирд заметит его метания, доложит о наблюдениях, и через несколько мгновений беззвучно и неотвратимо перед ним появится тележка со стражниками, сверкнет выстрел, и для него наступит вечное небытие.

Он не хотел, чтобы встречные докладывали о подозрительном кирде, он не хотел, чтобы стражники погружали его в вечное небытие, он не хотел, чтобы его вкатывали на платформу тележки.

Это было необычно, плохо вязалось с его опытом. Раньше мысли о небытии никогда не задерживались в цепях его мозга. Бытие и небытие были ему безразличны. Теперь он все время думал о вещах, о которых настоящий кирд не думает, о вещах, которые могут волновать только дефа.

Навстречу ему шел кирд, и Двести семьдесят четвертый вдруг сообразил, что стоит, что он остановился, глядя на приближавшуюся фигуру. Он остановился и том самым обрек себя на вечное небытие. Кирд, получивший приказ, не может остановиться. А он почему-то остановился, опутанный нелепыми воспоминаниями и ненужными, опасными мыслями. Он остановился, как деф, и кирд, что приближался к нему, наверное, уже докладывает о своих подозрениях.

Мысли Двести семьдесят четвертого еле ползли, словно у него разрядились

аккумуляторы и он вовремя не сменил их. Ему хотелось бежать, спрятаться, но он не мог заставить себя сделать и шагу. Почему так странно бредут в нем мысли? Почему он не может спокойно ждать конца? «Бытие, небытие – какая разница?» – напомнил он себе, но простенькое это утверждение ни за что не хотело вползать в его голову, не хотело там оставаться, выпрыгивало из нее, словно выброшенное пружиной. Есть, есть разница! Он не хотел небытия, которое, наверное, уже недалеко, которое беззвучно скользит к нему, спрятанное в трубках стражников.

«Спрятаться, убежать!» – слепо металось в его мозгу, по передние глаза его в этот момент передали в мозг нечто уж совсем неожиданное: кирд, шедший навстречу, вдруг метнулся в сторону и побежал. «Этого не может быть», – решил его мозг и послал команду глазам увеличить фокусное расстояние, чтобы четче рассмотреть происходящее. Глаза подтвердили: кирд бежал, странно петляя, завернул за угол здания и скрылся.

Деф, перед ним был деф, решил Двести семьдесят четвертый, надо догнать его – и доложить о нем, но тут он подумал о себе, о своих сомнениях, и мысли его впервые с его появления на свет смешались. Он, Двести семьдесят четвертый, был на грани вечного небытия, он уже чувствовал приближение его, но почему-то опасность, по крайней мере непосредственная, миновала. И эта мысль тоже протекла в логических схемах его мозга как-то странно. Хотелось, чтобы она повторялась снова и снова.

И вдруг Двести семьдесят четвертый понял. В него ввели ту реакцию, что приборы зафиксировали у пришельцев. И тот кирд, что только что стремглав бросился от него, тоже заряжен этой реакцией.

Значит, он не деф, значит, ему не грозит вечное небытие. Он знал, что должен думать так, ибо это было логичным выводом из осознанного факта. Но он не испытал облегчения. Привычные здания, казалось, источают неведомую угрозу. За углом, казалось, его поджидают стражники, которые не будут разбираться, виновата ли в его странностях перестроенная программа или дефекты в его мозгу. Стражники не сомневаются: проще сжечь чью-то голову, чем сомневаться.

Странно, подумал он тягостно, раньше он никогда не воспринимал так стражников. Значит, и это тоже порождение его нового страха – так, кажется, пришельцы называли первую реакцию.

Как этот страх изменил его мысли, думал он, как трудно жить с ним! Впереди показался круглый стенд. Со страхом или без него, но нужно было выполнять приказ. Нужно было продолжать изучение пришельцев.

* * *

Кирды, работавшие на проверочном стенде, заканчивали переналадку. Очередь становилась все меньше, а потом и вовсе исчезла. Они подождали немножко, потом один из них сказал:

– Теперь наша очередь.

Они помогли друг другу снять головы для введения новых программ. Можно было возвращаться в свои загончики. Приказ был выполнен, а кирд, выполнивший приказ, всегда возвращается домой, чтобы погрузиться в небытие, пока новый приказ не вернет его к жизни.

Возвращался домой и Четыреста одиннадцатый. Он шел домой, в такой же загончик, как и у других кирдов, но мысли его не были похожи на мысли обычного кирда. Четыреста одиннадцатый давно уже был дефом. И удавалось ему скрывать свою истинную сущность лишь потому, что он научился ничем не выделяться, ничем не отличаться, ничем не привлекать к себе внимание. Но он все равно был бы обречен, если бы не открыл для себя способ благополучно проходить контроль на проверочном стенде. Еще до того, как он стал дефом, он часто работал там и случайно обнаружил, что, замыкая клеммы, можно ввести в

заблуждение проверочный автомат.

Ему повезло. Он понял, что становится дефом, еще до того, как кто-нибудь мог заметить что-нибудь подозрительное в его поведении, а проверочного автомата он не боялся.

Он был дефом, но никто этого не знал. Он слышал, что иногда дефы уходили из города, но не знал, точны ли эти сведения. Может быть, думал он, это неправда. Может быть, кирдам говорят об этом для того, чтобы их было легче выявить и легче уничтожить. А может быть, порой думал он, никаких дефов вообще нет, может быть, их придумали. Он был одинок, Четыреста одиннадцатый, и глубоко несчастен. Несчастен, как может быть несчастен только тот кирд, что становился дефом и чьи мысли перестали следовать приказу.

3

Надеждин то засыпал, то просыпался. Лежать на жестком полу было неудобно; даже опустив веки, он ощущал постоянный призрачный свет, исходящий стенами. Но главное, что не давало ему погрузиться в сон, был голод. Сон был желанен, он манил его. Он обещал пусть короткое, но забытие, когда не нужно постоянно бороться со спазмами желудка, который, казалось, вопил: «Есть! Есть!»

Но стоило ему задремать хоть на минутку, как тут же ему начинала сниться еда: дымились огромные блюда с чем-то пахучим, некто смотрел на него с загадочной улыбкой Джоконды и медленно накладывал ему полную тарелку его любимых картофельных оладий. Гора все росла, росла, изгибалась, но не падала. «Хватит, – молил он, – хватит, мне достаточно», но тот, кто продолжал наращивать ароматную гору, лишь поводил четырьмя глазами и молча кивал. «Хватит, – просил он, – остановись, дай мне взять хотя бы один драник, дай поднести ко рту, откусить, почувствовать блаженство насыщения!» Четырехглазый молча кивал, но продолжал растить чудовищную гору пищи, к которой он не мог прикоснуться. Острая резь пронзила желудок. Она была такой отточенной, что легко проткнула сон, вышла в явь и соединила их, наколов на себя.

Он окончательно проснулся, медленно помотал головой. Не поддаваться, сохранять спокойствие. Ну, хочется есть, ничего страшного. Не прошло еще и двух суток, как они оказались в этой круглой светящейся конуре. Никто еще не умирал от голода за двое суток. Даже сил никто не терял от такого короткого поста. Нужно только взять себя в руки и перестать думать о еде. Тем более что канистру воды им принесли.

Страх не было. После того как потолок прижал их к полу, а потом поднялся на место, они поняли, что являются объектами изучения. В этом хоть была какая-то логика. Непонятная, но логика. Лишить их жизни было бы бессмысленно.

Томило и бездействие. Он не был по натуре склонен к рефлексиям, он любил действовать. Его крупное тело, хорошо тренированные мышцы жаждали движений, работы, усилий.

«Но что было делать? – в тысячный раз задавал он себе один и тот же вопрос. – Биться головой о светящуюся стенку?» Даже если бы его голова была сделана из металла, как у их милых хозяев, он бы, наверное, тоже не пробил ее, такой прочной она казалась.

Оставалось ждать, стараться подавить чувство голода; не замечать запах их испражнений.

Он посмотрел на товарищей. Володька – счастливчик. Спит, как младенец, свернувшись калачиком. Наверное, его тело менее чувствительно к голоду. Саша тоже спит, но не так спокойно. Вон подергивается, бедняга, тоже, должно быть, видит гастрономические кошмары.

Внезапно он услышал какой-то шорох и невольно напрягся. Дверь распахнулась, и на фоне оранжевого неба он увидел робота. Он вскочил на ноги. Робот сделал шаг назад, посмотрел на Надеждина, замер, потом вошел в комнату и закрыл за собой дверь.

Они стояли друг против друга, человек и кирд. «Понимает он что-нибудь?» – думал Надеждин. Хотя робот и был на добрую голову выше его, он не внушал страха. Он

воспринимал его как машину, а люди давно уже привыкли жить в окружении услужливых и предупредительных машин. И пусть именно таких роботов на Земле нет, но есть десятки домашних слуг, от газонокосилок до многоруких поваров, всегда готовых выполнить приказ хозяина, неизменно терпеливых, вежливых, предупредительных.

И опять, как назло, память подсовывала картины домашних поваров-автоматов, которые всегда были готовы выполнить любой заказ. У его собственного автомата был приятный женский голос, ласковый и уютный. Голос говорил: «Что мы будем есть сегодня?»

Сначала его сместило это «мы», вложенное в машину каким-нибудь шутником, но потом привык. Да, это чудище перед ним мало похоже на милых земных помощников. Стоять молча было как-то глупо, и Надеждин сказал:

– Ну, здравствуйте.

Робот вздрогнул и отступил на шаг.

– Кто там? – спросил спросонок Густов.

– У нас гость, – сказал Надеждин.

Густов зевнул и сел рывком.

– С пустыми руками? – обиженно спросил он.

– Увы...

Проснулся и Марков, но не сел, а лишь повернулся, уставившись на робота. Он втянул носом воздух и поморщился.

– Хотя бы убрал, робот называется, – пробормотал он.

– Простите, – сказал Надеждин роботу, что все еще неподвижно стоял перед ним, – но мы хотим есть. – Он открыл рот, пощелкал челюстями и показал на рот пальцем. – Есть, – повторил он. – Понимаете? Вы принесли воду, нам нужна и пища. Ну, и убрать не мешало бы... – Он показал на кучку экскрементов на полу.

– Хороший собеседник, – вздохнул Густов. – Со всем соглашается.

– И ничего не делает, – добавил Марков. Он встал, потянулся, подошел к роботу, осторожно протянул руку. Робот дернулся, отступил на шаг. – Не бойся, маленький, – усмехнулся Марков.

Робот вдруг протянул руку и ухватил клешней руку Маркова. Тот попытался отдернуть ее, но было уже поздно, клешня плотно обхватила кисть.

– Спокойно, Сашенька, – сказал Густов, – сейчас он отпустит.

Марков замычал, попытался выдернуть руку.

– Не отпускает, – пробормотал он и вдруг застонал: – О, черт! Больно же!

– Хватит! – крикнул Надеждин роботу, понимая вею абсурдность своего крика. Но не мог же он стоять и смотреть, как этот ходячий металлолом калечит руку товарища.

Робот не двигался.



– Не могу больше, ребята, – заскрежетал зубами Марков, – не могу...

Он закусил нижнюю губу так, что она побелела. Свободной рукой он заколотил по массивному телу робота. Он еще раз попытался вырвать руку, но лишь еще больше побледнел и вскрикнул. Лоб сразу вспотел, в глазах плыли разноцветные круги.

Рассуждать было некогда. Абсурдно не абсурдно, но Надеждин и Густов не могли стоять и смотреть на искаженное от боли лицо товарища. Словно по команде, они бросились на робота и заколотили по его груди кулаками. Это была скорее инстинктивная реакция, чем разумный поступок, потому что робот, казалось, не чувствовал ничего, а его массивное туловище даже не шелохнулось. С таким же успехом можно было бы молотить кулаком о каменную стену.

– Отпусти! – заревел Надеждин.

Густов стал на цыпочки, пытался ударить робота по лицу.

Внезапно робот отпустил руку Маркова и быстро выскочил из помещения. Надеждин бросился было за ним, но дверь уже закрылась – плотно, как и раньше, и не видно было даже зазоров.

– Как ты, Саш? – спросил Густов.

– Кость, похоже, все-таки цела. – Марков морщился от боли и осторожно ощупывал здоровой рукой больную. – Спасибо, ребята.

– За что? – спросил Надеждин.

– Вызвали...

– Ты думаешь, он отпустил тебя из-за нас?

– А из-за кого же еще?

– Не знаю, – задумчиво произнес Надеждин. – Это как потолок...

– Может быть, – вздохнул Марков, – Но если они будут и дальше экспериментировать в таком же духе, нас может надолго не хватить. Представьте себе, что им захочется изучить наши внутренние органы... Не спеша, досконально покопается, поставит на место.

– Типун тебе на язык.

– М-да, недурной у нас получается контактик. Сидим взаперти, голодные, в собственном дерьме, да еще подвергаемся издевательствам, – сказал Марков.

– Другой бы спорил, – развел руками Густов. – Но кому жаловаться?

– Тш-ш, – сказал Надеждин, – по-моему, наш друг возвращается.

Они прислушались. Дверь снова распахнулась, впуская робота, нагруженного сумками с их рационами с «Сызрани». Он опустил их на пол и закрыл дверь.

– Ребята, – сказал Густов, – я беру слова обратно. В этом парне что-то есть... – Он

поднял сумку, раскрыл ее.

– Живем, братцы, – сказал Надеждин.

– Пока, Коля, пока, – добавил Марков. – У нас уже вырабатываются рефлексy профессиональных узников. Дали пожрать – и слава богу.

Они набросились на еду.

* * *

Утренний Ветер медленно обвел глазами группу дефов, неподвижно стоявших вокруг него. Заходившее солнце удлинило их тени, и они вытянулись по красноватой траве.

– Иней, – сказал он, – рассказывай.

Один из кирдов выступил вперед:

– Корабль все еще на месте, его охраняют.

– На что он похож? – спросил Утренний Ветер.

– Он огромный.

– Что значит огромный?

– Ну, может быть, в тридцать или тридцать пять моих ростов.

– Ты не пробовал подойти поближе?

– Пробовал, но стражники не отходят от него.

– Сколько их?

– Пять, – сказал Иней.

– Может быть, стоит попытаться напасть на них? – спросил Звезда.

– Для чего? – спросил Утренний Ветер. – Даже если бы нам удалось справиться со стражниками, что бы мы делали с этим кораблем?

– Ты прав, – кивнул Звезда.

– Ведь не корабль же нас интересует, а те, кто прилетел в нем. Они должны быть в городе.

– Ты прав, – кивнул Звезда.

– Да, наверное, они в городе.

– Если бы мы только знали, где они...

– Может быть, они на круглом стенде?

– Может быть...

– Кому-то бы надо попытаться разведать, где они. Тогда мы могли бы...

– Это правильно, – кивнул Утренний Ветер. – Я бы хотел пойти.

– Нет, – сказал Иней. – Мы не можем остаться без предводителя, мы не можем рисковать тобой. Пойду я. Я умею идти, не привлекая к себе внимания.

– Давайте подумаем, как лучше разведать, где пришельцы, – сказал Утренний Ветер, – а потом снова соберемся и решим, кому и как идти в город. Кто сегодня охраняет лагерь?

– Я, – сказал Рассвет.

– Хорошо, будь внимателен.

Утренний Ветер осторожно переступил через разрушенную стену, обогнул зияющий чернотой провал и остановился. Это был его уголок, здесь, в развалинах, он любил думать. Каждый камешек на земле, каждый выступ на сохранившихся стенах был знаком ему...

...Никто не помнил, как появился первый деф и кто придумал это слово. Должно быть, это был обыкновенный кирд, у которого в один прекрасный день случайно замкнулись какие-то проводники в мозгу, внося перебои в стройный логический процесс мышления. И он ушел из города. С тех пор уходили многие, еще больше впадали в вечное небытие от оружия стражников.

Дефекты одних были таковы, что они тут же гибли, не в силах ориентироваться в сложном мире. Дефекты же других лишь нарушали автоматизм мышления. Случайные мутации электронных сбоев привели к тому, что на планете образовалось целое сообщество

дефов. Постепенно их опыт рос, и они научились спасать большинство из тех, чей мозг давал перебои и кому удавалось уйти из города. Долгие годы иногда требовались на то, чтобы поврежденный мозг какого-нибудь беглеца снова начинал нормально работать, только уже не в холодном безупречном режиме машинной логики, а в усложненном ритме чувств и эмоций. Других же обучить так и не удавалось, но дефы не уничтожали их. Мысль, пусть даже больная и искаженная, была для них священна. Лишь бы это была своя мысль, мысль индивидуальная, мысль, рожденная самим кирдом, а не вложенная в него приказом сверху.

Утренний Ветер вдруг вспомнил бедного Выбора, который столько сделал для них. Как ему тогда хотелось, чтобы он вернулся к полноценному бытию, чтобы он заговорил, стал товарищем, чтобы рассказал о себе, о том, как в ту ночь поднял оружие не против ненавистных дефов, а против товарищей. Он бы, кажется, все отдал за это, но этому не дано было случиться...

Как они нуждались в то время в энергии! Почти у всех аккумуляторы были наполовину разряжены, они двигались уже с трудом. И даже думать становилось трудно: мысли брели неохотно и порой путались.

Утренний Ветер понял, что они гибнут. Обездвиженные, отяжелевшие, оупевшие, они быстро станут добычей стражников, которые постоянно рыщут в окрестностях города в поисках дефов.

Они погибнут, и исчезнут искорки живого разума, исчезнет неведомая кирдам нелогичность, которая позволяла дефам помогать друг другу, любить друг друга.

Утренний Ветер знал, что это не так, но все равно ему казалось, что с их гибелью исчезнут и длинные тени, что так забавно ложились на закате на красноватую траву, исчезнет тонкое и испуганное подвывание ветра на рассвете, исчезнет иней, что покрывал за ночь камни и жесткую траву белым тончайшим покрывалом, исчезнет даже само светило, что посылало им оранжевый теплый свет. Исчезнет все, останется лишь мир бесстрастных кирдов, которым безразлично все.

Кто-то предложил тогда:

– Давайте соберем те аккумуляторы, в которых еще осталась сила, и отдадим их самым лучшим и сильным, чтобы они...

Объяснять не нужно было. Все знали, что нужно любой ценой добыть свежие аккумуляторы. И все знали, что склады охраняются.

– Вы понимаете, друзья, – сказал тогда он, – что, отдав свои аккумуляторы, мы теряем память?

– Почему? – спросил кто-то из новых дефов. – Мы же меняли аккумуляторы, когда были обычными кирдами, и никогда ничего не забывали.

– Мы все устроены так, что память, лишённая питания, хранится совсем недолго. Этого времени вполне достаточно, чтобы сменить аккумулятор, но не намного больше. Потом память стирается.

– Что значит потерять память? – спросил Малыш, один из тех дефов, кого так и не удалось полностью восстановить. Он был добр и терпелив, но с трудом понимал простейшие вещи.

– Это значит, что, когда ты очнешься после перемены аккумуляторов, ты ничего не будешь помнить. Ты услышишь имя Малыш и не спросишь, кто тебя зовет, потому что ты не будешь знать, кто это.

– Малыш – это я, – гордо сказал Малыш. – Я это знаю.

– А тогда ты не будешь знать, кто это.

– Я хочу быть Малышом. Это мое имя, я люблю его. Утренний Ветер почувствовал, как проплыла по его проводникам тяжкая печаль. Он понимал бедного Малыша. Дефы не просто любили свои имена. Имена были для них священны. Выбранное самим именем вместо данного тебе невесть кем номера было знаком освобождения, утверждения своей воли, символом принадлежности к племени свободных дефов. Как, как объяснить Малышу, что лучше потерять память, чем жизнь. «А может быть, это и не так? – вдруг подумал он. – Может

быть, жизнь без памяти – это не жизнь и незачем цепляться за нее?»

Все молчали в тягостном раздумье. И тогда Рассвет вдруг сказал:

– Пусть каждый из нас, кто останется здесь, подумает, что у него в памяти самое дорогое. И расскажет одному из нас, кого мы оставим здесь с хорошим и сильным аккумулятором. Он запомнит. И когда бойцы принесут новые аккумуляторы и бедный Малыш пробудится от небытия, ему скажут: «Ты – Малыш, ты любишь смотреть на желтые облака, что по вечерам так быстро скользят по небу, ты любишь Инея, который так терпеливо учил тебя думать, когда ты приполз к нам после боя со стражниками, тебе было грустно, когда Теплый – вы помните ведь Теплового? – погибал на наших глазах и мы ничего не могли сделать».

– Я все помню, – прошептал Малыш. – Я не хочу забывать.

– Ты обо всем этом расскажешь тому, кого мы выберем хранителем памяти. И даже те, кто пойдет в город, пусть поделится самыми драгоценными своими воспоминаниями. Они могут погибнуть, но пусть сохранится их память. Не только память о них, но и их память. А может быть, нам когда-нибудь удастся раздобыть новые тела, и тогда мы сможем вернуть погибших героев к жизни.

Рассвет всегда был мудр. Они так и сделали. Они выбрали его хранителем памяти, хотя он рвался идти в город.

– Ты нужен нам, нам нужна твоя мудрость, – сказали ему дефы. – Ты старый, твое тело не очень быстро, но мысли твои стремительны, ты должен остаться.



Утренний Ветер вспомнил тот отчаянный бой. Они все знали, что, скорее всего, не вернутся. Их было всего четверо – столько они могли найти относительно сильных аккумуляторов. Четыре дефа и две трубки, потому что ведь и оружие тоже требует энергии.

Они решили атаковать склад рядом с проверочной станцией. Правильнее, конечно, было бы напасть сразу на все три склада, чтобы сбить стражников с толку, но их было всего четверо, четверо дефов с двумя трубками. А склад охраняют пять стражников. Пять стражников – это пять трубок. И не полуразряженных, как их оружие, а способных одним световым всплеском вывести из строя цепи их мозга.

Но у них не было выбора. Они шли ночью. Было темно, но кирды видят и в темноте, потому что глаза их воспринимают весь спектр излучения. Нагретые за день камни развалин источали светлые дрожащие облачка – это они отдавали тепло.

Дрожало облако и вдали – это был город. Вернется ли кто-нибудь из них оттуда? Было страшно, воображение снова и снова рисовало короткие голубые всполохи, которые вскоре вырвутся из трубок стражников. Было страшно, но нужно было идти, потому что выбора не было. Их товарищи были обречены без запаса заряженных аккумуляторов.

Они добрались до города без труда. Без особого труда они проникли и в город. С тех пор как стражники начали охранять каждый склад аккумуляторов, войти в город стало уже не так сложно. Они не могли набрать столько стражников, чтобы окружить город непроницаемым кольцом.

У них было только одно преимущество. Они никому ничего не должны были докладывать и ни от кого не должны были ждать приказов, что и как делать.

Они решили пробираться к складу с разных сторон. Один из них, без оружия, должен был спокойно направиться к зданию. Он был обречен, он должен был погибнуть. В тот момент, когда стражники набросились бы на него, должен был выскочить второй деф, тоже безоружный. Он тоже был обречен. Стражники невольно должны были разделиться на две группы. На одну из них должны были напасть оставшиеся два дефа с трубками. Если бы им удалось быстрее вывести из строя одну из групп стражников, они бы смогли завязать бой с оставшимися. У них было только одно преимущество: они были чуть быстрее, потому что не должны были докладывать и получать приказы. Но все равно это был самоубийственный план. Другого у них – не было.

Еще по пути в город они решили бросить жребий, кто должен отвлечь на себя стражников и кто нападет на них. Жребий нужно было бросать не потому, что никто не хотел жертвовать собой, а потому, что все хотели этого.

Молодые дефы, только что бежавшие из города, часто не понимали этого.

– Как можно жертвовать собой, – спрашивали они, – когда дефы, в отличие от кирдов, ценят жизнь? Ведь, жертвуя собой, ты, едва осознав себя, едва получив свободу воли, должен сам, по своей новой воле, потерять все. Кирды – другое дело. Им все безразлично, они не знают себя, а потому равнодушны к бытию или небытию.

– Именно поэтому, именно поэтому, друзья, – терпеливо объясняли им. – Осознав себя, получив имя, цenia новую свободу, ты начинаешь уважать, ценить и любить волю и свободу товарищей. Защищая их, ты защищаешь себя.

Понять это не так-то просто, и молодые дефы задумчиво кивали, но были полны сомнений. И все же понимали в конце концов, ибо в этом высшая мудрость.

Они шли и думали, что должны были погибнуть в ту ночь, когда земля, трава, камни развалили, дома отдавали запасенное за день тепло.

Они шли и думали, что вот так же и они должны отдать запасенное в муках сознание и рухнуть в черный бездонный провал небытия. Это было невообразимо страшно, хотелось повернуться, ринуться назад, бежать куда угодно, лишь бы не видеть перед собой мрака бездны.

Но нужно было идти, нужно было спрессовывать в себе страх, держать его, чтобы он не вырвался наружу. Нужно было заставлять себя идти к небытию.

Но чем ближе подходили они к цели, тем ярче разгорался в них крошечный огонек печальной гордости единственного утешения тех, кто жертвует собой.

Все шло по плану. Рухнул от вспышки, пронзившей его голову, Камень. Трое стражников нагнулись над ним, оттаскивая его в сторону, чтобы удобнее было бросить его на тележку, которую они, очевидно, уже вызвали.

Утренний Ветер и Иней приготовились. Сейчас примет на себя удар Облако. Из-за угла послышался тяжелый топот, щелчок выстрела, и в то же мгновение вспышки нескольких выстрелов окрасили стену склада мертвенным фиолетовым цветом.

Они открыли огонь. Утренний Ветер сразу попал в ближайшего к себе стражника. Он не успел еще разогнуться, оттаскивая упавшего Камня, и, пораженный выстрелом, ткнулся головой в землю.

Иней тоже выстрелил и тоже попал, выведя из строя второго стражника. Если бы

только их трубки были сильнее, если бы только между выстрелами не нужна была пауза, если бы только можно было уложить в это мгновение и третьего... Но уже бежали, громко топая, остальные два стражника, поднимая свои трубки.

Сейчас, сейчас вспыхнут на их полуразряженных трубках контрольные огоньки, показывающие, что они готовы к выстрелу, но было уже поздно. Они не успевали. Доли мгновения не хватило им, и эта доля мгновения будет стоить жизни не только им, но и всем дефам.

Утренний Ветер вскочил. И тут произошло непонятное. Оставшийся невредимым третий стражник поднял трубку, из раструба вырвался ослепительный в ночи тонкий луч выстрела. Но ударил он не в Утреннего Ветра, не в Инея, что стоял рядом с ним, приготовившись принять небытие, а в одного из двух приближавшихся стражников. Это было настолько неожиданно, что на мгновение Утренний Ветер оцепенел, но раздумывать было некогда. Он поднял трубку и прицелился в бегущего стражника. Лишь бы не попасть в того, что только что уложил товарища... Мгновенного этого колебания было достаточно, чтобы Утренний Ветер никогда потом не простил его себе. Надо было стрелять сразу. Их спаситель быстро нагнулся, чтобы схватить трубку, выпавшую из руки рухнувшего товарища – своя еще не была готова к новому выстрелу, – но не успел. Не успел и Утренний Ветер. Он выстрелил, и луч из его трубки попал врагу прямо в глаз, заставил его вздрогнуть, остановиться и с грохотом упасть, но их спаситель уже успел получить световой удар и тоже упал.

Думать было некогда. Времени не было. Вот-вот покажутся боевые тележки с дежурными стражниками. Они бросились к дверям, на бегу выплавляя выстрелами замок. Они двигались теперь в другом временном измерении: время несло в лихорадочном темпе, и им нельзя было отстать от него. Двигатели их работали на предельных оборотах, поглощая из полупустых аккумуляторов последние порции энергии.

Они взяли столько аккумуляторов, сколько могли унести, и уже кинулись бежать, но Утреннему Ветру вдруг почудилось, что тело странного стражника, что стрелял не в них, а в товарища, слегка подергивается. Он знал, что не имеет права останавливаться и терять время, знал, что подвергает риску всю общину дефов, но ничего не мог с собой поделать. Он говорил себе: «Нельзя, иди», но словно какая-то высшая сила заставила его нагнуться над упавшим стражником. Выстрел оплавил часть головы, но он каким-то чудом не впал в небытие: ноги его подергивались, словно он пытался встать.

– Помоги, – попросил Утренний Ветер Инея, – может, он сможет как-то идти.

Иней понял все. Вдвоем они подняли стражника. Двигаться он почти не мог, и они молча переглянулись. Конечно, надо было оставить его. Конечно, если они будут тащить этого кирда, шансы их на спасение резко сократятся. Ведь где-то уже двигаются боевые тележки, и дежурные стражники готовят трубки. Оставить его было бы логично, но дефы потому и были дефами, что не были рабами логики.

Они то тащили его, то несли, чувствуя, как двигаться становится все тяжелее и тяжелее. Энергия их аккумуляторов иссякала с каждым шагом.

Они уже были за городом, когда Иней качнулся и упал. Он был полностью разряжен. Утренний Ветер оглянулся. Было все еще темно, и город светился остывающими строениями, и в мертвенном свете была холодная угроза. Он быстро сменил аккумулятор товарищу – благо теперь у них был запас новых, – и они продолжили путь.

– Дайте его мне, – сказал Рассвет, когда они добрались уже на рассвете до лагеря. – Я постараюсь выходить его.

– Он... – хотел было сказать что-то Иней, но Рассвет перебил его:

– Как вы не понимаете? Он же деф. Наверное, он еще не осознал это, не осознал себя, но в решающую минуту сделал выбор. – Он посмотрел на стражника, который лежал подле него на земле. – Давайте дадим ему имя Выбор. Согласны?

– Конечно, – кивнул Утренний Ветер.

Только теперь он начал чувствовать страх. Раньше прислушиваться к нему было

некогда, а сейчас он содрогался от ужаса, вспоминая бой, спасение, бегство. Сколько раз все могло бы пойти не так, как случилось, сколько раз они должны были споткнуться на бесчисленных опасностях, сколько раз шансы на удачу готовы были пасть под ударами стражников... Ему казалось, что они бежали над пропастью по неверной паутине тонких дощечек. Дощечки скрипели, прогибались, трещали. Они не могли перебраться через пропасть, но они вернулись.

Рассвет сделал все, что мог. Целыми днями он возился с бывшим стражником, выхаживая его, пытаясь вернуть к бытию. Но, очевидно, повреждения были слишком серьезны.

Выбор так и не заговорил. Он стоял, слегка покачиваясь, и смотрел на камни развалин, на дефов, и в уцелевших его глазах, казалось, стояло какое-то застывшее удивление, какой-то немой вопрос.

У Утреннего Ветра было ощущение, что бедный Выбор узнает его. Он подолгу стоял около него. Иногда он молчал, а иногда что-то тихонько бормотал. Он не мог потом вспомнить, что именно говорил он Выбору, потому что слова были не важны, важны были те чувства, что он пытался вложить в них.

Как-то раз – это было в полдень, когда желтые облака разбегаются, и оранжевое солнце греет особенно ласково, и все замирает в тихом довольстве, даже жесткая красноватая трава, которая в это время перестает шуршать под ногами, – он стоял около Выбора и, по своему обыкновению, что-то тихонько и ласково говорил ему. Бывший стражник вдруг посмотрел на него и сказал:

– Я... – Он замолчал, словно собираясь с силами, потом добавил: – Все...

Больше он не произнес ни слова. Через два дня он погрузился в вечное небытие. Все знали, что он тяжело ранен, все видели, как терпеливо возился с ним Рассвет, как подолгу ему что-то ласково бормотал Утренний Ветер, и понимали, что разум едва мерцает в его поврежденном мозгу. И конец его не был неожиданным. Но одна деталь потрясла Утреннего Ветра. Утром, когда кто-то увидел, что Выбор недвижим, обнаружили, что у него нажата кнопка отключения сознания. Сначала его пытались вернуть к бытию, но тщетно. И тогда все задумались: кто же нажал на кнопку? Все смотрели друг на друга, и все качали головами. И все верили друг другу. И потому, что дефы никогда не обманывают друг друга, и потому, что все любили бедного Выбора и знали, чем обязаны ему.

Утренний Ветер сказал тогда:

– Друзья, он сам отключил сознание. Мы никогда не узнаем, что именно происходило в его бедном полуразрушенном мозгу, но мне кажется, я догадываюсь. Он понимал значительно больше, чем нам казалось, он не хотел быть нам в тягость. Он знал, какой ценой достается нам энергия. И он решил сам уйти от нас...

Печаль, которую он испытывал, была так тяжела, так остро и болезненно зияла рана в нем, что он не мог продолжать.

Прошло уже много времени. Кто-то из дефов погиб под вспышками трубок стражников, пришли из города новые дефы, память о Выборе перестала причинять боль и приносила с собой лишь легкую грусть, и Утренний Ветер все чаще ловил себя на том, что посещают его неведомые раньше сомнения. Куда они идут? Что будет с дефами? Можно ли существовать в постоянном страхе, что завтра они не смогут добыть новые аккумуляторы, что их выследят стражники, что им нечем будет защищаться?

До этого он жил постоянными каждодневными заботами, которых всегда было великое множество, потому что дефы давно уже выбрали его своим предводителем, а теперь вдруг увидел мысленным взором будущее. Оно походило на длинный туннель с застоявшейся в нем темнотой. Может быть, где-то в самом конце его и был какой-то свет, но, если он и был, он не мог разбавить темноту.

Он тшил, что-то понять, что-то пробить своей мыслью, но туннель был длинный, и мысль вязла в его сырой мгле. И от этого его охватывала печаль. Мир был огромный, а он таким крохотным, сторон было много, а он не знал, куда идти. И охватывало, давило чувство

бессмысленности всего сущего. Он знал, что нельзя всматриваться в тьму этого туннеля, потому что, кроме тщеты всех своих усилий, он ничего там не увидит, но не мог отвести мысленный взгляд от бездонной дыры. Она отравляла его и приковывала к себе.

И вот недавно они увидели чужой корабль, опустившийся над их планетой. Утренний Ветер никогда не видел посланцев иных миров, он даже не знал, существуют ли иные миры, он никогда даже не задумывался над возможностью их существования. Но теперь ему почему-то казалось, что пришельцы, если только он сможет поговорить с ними, помогут ему. В чем именно, он не знал. Он даже не знал источника своего беспокойства, но подсознательно чувствовал потребность в помощи. Должно же быть что-то еще, кроме забот о заряженных аккумуляторах. «А может быть, и не должно? – возражал он себе. – Откуда ты знаешь, что должно? Может быть, разуму и не дано проникать сквозь тьму туннеля. Может быть, туннель этот вечен и вечно смятение разума перед его тайной. У туннеля всегда будет преимущество перед разумом. Туннель не мечется, не ищет, его не снедает беспокойство. Он просто есть...»

Неясные мысли клубились где-то в самой глубине сознания Утреннего Ветра. Он не подгонял их, не пытался вытянуть на поверхность. От света – он это чувствовал они мгновенно съежались, погибнут. Они должны были набрать силу, созреть, и тогда, тогда... Может быть, он все-таки сумеет увидеть хоть какой-то свет, даже не свет, пусть лишь отблеск света в тупой тьме туннеля.

* * *

Мозг думал. Он никогда не бездействовал, никогда не отдыхал, никогда не впадал в небытие. Он был цивилизацией, а цивилизация не могла остановиться. В любое мгновение он точно знал, где находится любой из тысяч кирдов, что он делает, что будет делать. Их доклады постоянно принимались им, регистрировались, классифицировались, сортировались, отправлялись в постоянную память, если были важны, или хранились в оперативной, сравнивались, анализировались, препарировались. Приказы отдавались им нескончаемым потоком, ибо без его приказов не делалось ничего. Без его приказов кирды могли лишь впадать в небытие и терпеливо ждать, пока он призовет их к действию.

Но вся эта бесконечная карусель, все невидимое переплетение тысяч и тысяч нитей, которыми Мозг был связан с кирдами, занимали лишь малую часть его внимания. Основная мощь его интеллекта была направлена сейчас на то, чтобы понять плюсы и минусы первой реакции, результаты перенастройки кирдов.

Да, кирды изменились. Он чувствовал это в их докладах, в их движении, в их взаимодействии между собой.

И он не видел пока никаких преимуществ. Наоборот, меньше стало четкости, меньше стало логики в действиях кирдов, они медленно принимали решения, порой даже колебались, что никогда ранее не было им свойственно. Скорее всего, Крус ошибался. Долгое пребывание в Хранилище ослабило его разум, разрушило память. Они были жалкими, эти остатки вертов. Они были жалкими и тогда, когда создавали его, потому что нуждались в нем, а теперь то, что осталось от них, не заслуживало даже его внимания.

Да, похоже, что Крус ошибался. То, что он называл чувствами, ничего не давало кирдам. Скорее всего, их придется снова перенастраивать, вычищать из их мозгов этот нелепый страх. Но Мозг не торопился, он мог это сделать в любое время. Он никому не подчинялся, ни с кем не считался, ни перед кем не отчитывался, даже перед всей цивилизацией планеты, ибо он и был этой цивилизацией.

Страх ничего не дал кирдам. Почему? Может быть, потому, думал он, что страх их был абстрактным. Может быть, что-то конкретное должно вызывать у них первую реакцию. Чего боялись пришельцы? Небытия. Но что это могло дать кирдам? Они и без того избегали опасности, если только приказ не требовал обратного. Заставить их бояться дефов?

Нелепость. Наоборот, страх делает их беспомощными перед этими жалкими вырожденками.

И все же, все же... Мозг еще не понимал, но начинал смутно догадываться, что в страхе была все-таки скрыта некая сила, которая могла помочь его застывающей цивилизации.

Он думал, и его гигантская интеллектуальная мощь снова и снова перемалывала подобно жерновам всю информацию, которой он располагал. Он думал и думал, пока наконец в нем не появился крошечный центр кристаллизации. Это был обычно самый важный момент в его мыслительном процессе. Теперь нужно было время, чтобы первый проблеск новой мысли мог выкристаллизироваться и обрести четкость.

Их цивилизация, его цивилизация держалась только на нем. Кирды были его исполнительными органами. Быстрыми, послушными, но не более того.

Да, однажды он уже намеревался наделить их свободой воли, но свобода эта внесла бы лишь хаос. Может быть, хаос возник бы потому, что свобода воли не знает ограничений? Не исключено, что именно страх может быть тем руслом, которое направит большую свободу воли в нужном направлении. Да, страх должен быть ограничителем. Но он должен быть конкретным.

Теперь Мозг работал спокойно и быстро. Новая мысль созрела, приобрела форму, и теперь он рассматривал ее со всех сторон, и со всех сторон она казалась одинаково плодотворной. Кирды должны бояться ЕГО. А для этого они должны знать его. Нельзя бояться того, о существовании чего не имеешь ясного представления.

Это была на редкость интересная мысль. Она обладала неким магнитным свойством – притягивала к себе другие мысли. Вот и сейчас она тянула к себе весь ворох фактов, собранных им с момента, когда трое пришельцев оказались в круглом стенде.

Двести семьдесят четвертый, изучавший их, докладывал накануне о странной реакции двух пришельцев, когда он сжимал руку третьего. Третий подвергался угрозе, и его реакции были более или менее понятны: он пытался избежать опасности и для этого стремился воздействовать на источник опасности. Но почему два других пришельца бросились ему на помощь? Их же кирд не трогал. Мало того, они бросились на помощь, не зная, что сделает кирд. Не могли же они всерьез думать, что сумеют совладать с кирдом. Все-таки они разумные существа, раз они странствуют в космосе, управляют своим кораблем, обмениваются между собой информацией. Значит, в них запрограммировано стремление любой ценой защищать друг друга.

Упрощение. Он вызвал из оперативной памяти доклад Двести семьдесят четвертого об анализе памяти пришельцев и воссоздании некоторых образов, хранившихся в ней. Если пришельцы разумны (а это уже можно считать фактом), они должны были понимать, что образы, воссозданные машинами, – фантомы, не более того. Но реакции всех троих на их появление были бурны. Почему? Очевидно, образы эти обладают в их сознании высокой ценностью.

Все становилось на свои места. Кирды должны знать, что существует Мозг, который управляет ими, их Создатель. Он должен внушать им первую реакцию, то есть страх. Но один страх будет оказывать лишь тормозящее действие, нужно, чтобы в сознании кирдов он, Мозг, обладал очень высокой ценой. Чтобы кирды боялись его и стремились защитить любой ценой. Чтобы образ Мозга вызывал в них такие же реакции, какие воссозданные машинами в круглом стенде образы вызывали у пришельцев.

Это была сложная программа, Мозг понимал это. Он направлял цивилизацию в новое, неведомое русло. Да, конечно, была опасность, что новые программы окажутся неработоспособными, но нужно было пробовать.

Возможно, часть кирдов нужно было оставить в их обычном состоянии. Мало того, стоит убрать у них и страх, чтобы в случае неудачи было на кого положиться. Даже если перенастроенные кирды не смогут функционировать так, как он планирует, перенастроенные всегда вернут их по его команде к обычному состоянию.

Он мгновенно спланировал все, что было связано с перенастройкой, и начал отдавать приказы. Он отдавал их стремительно, как выстрелы, и десятки и сотни кирдов, вызванных

из временного небытия его волей, включали двигатели, покидали свои жилища и торопились переделывать мир.

4

– Я больше не могу сидеть в этой светящейся клоаке, – сказал Густов. – Я схожу с ума. Честно, ребята, я больше не могу. Бездействие убьет нас, поверьте мне.

– Что делать, Володенька, – вздохнул Марков, – нужно потерпеть. Или ты думаешь, что нам приятно валяться в этом вонючем аквариуме?

– Я не хочу терпеть. Я не могу терпеть. Я теряю контроль над собой. Я хочу вырваться из этой соковыжималки, пока они не превратили ее во что-нибудь еще, например в мясорубку.

– Образно, но не слишком разумно, – сказал Надеждин.

– Почему, почему ты уверен, что в конце концов они нас отпустят? – крикнул Густов. – Откуда этот нелепый юношеский оптимизм? Или он просто предписан тебе штатным расписанием командира корабля? Больше всего на свете ненавижу казенный оптимизм.

– Володя, не заводишь. Без истерик.

– Хорошо, командир, но что делать, что делать?

– Ничего. Ждать.

– Опять все то же.

– Я согласен с Николаем, – сказал Марков. – Нас изучают, это факт, в котором мы уже имели возможность убедиться. Если бы они хотели нас уничтожить, они могли бы сделать это сто раз. К тому же у тебя есть варианты? Или тебе просто приятно постонать? Ах, какой я нетерпеливый, ах, как!..

– Ребята, хватит, – вздохнул Надеждин. – И как вам не надоест грызться так часами!

Они замолчали. Конечно, думал Надеждин, на его стороне здравый смысл и логика. Но черт его знает, каков здравый смысл и логика у здешних обитателей. Разве здравый смысл и логика не могут быть такими же разнообразными, как и формы жизни во Вселенной? И разве на старушке-Земле старый добрый здравый смысл не менялся на протяжении веков? Было же время, например, когда здравый смысл подсказывал, что тот или та, кто думал или поступал не так, как ты, связан с дьяволом и потому для всеобщего, и их в том числе, блага следует немедленно сжечь их живьем...

Да, конечно, их изучают, но почему никто не пытается вступить с ними в настоящий двусторонний контакт? Есть же у них машины, которые помогали им копаться в их мозгах и даже воссоздавать образы из их памяти. Неужели же они не могли освоить хоть какие-то начатки их языка? Чушь какая-то. Да, Володька прав, бездействие убивает их, но выбора не было. В конце концов, бывают ситуации, когда для терпеливого ожидания требуется величайшее мужество. Сколько раз вдавливали им это в голову в Школе звездоплавания! Да, учителя были мудрые: сохранять спокойствие, терпение и оптимизм важнее и труднее, чем кидаться с гиканьем в обреченный кавалерийский наскок.

Густов встал и начал медленно двигаться вдоль стены, внимательно рассматривая ее поверхность.

– Напрасно, – сказал Марков.

– Что напрасно?

– Ты напрасно ищешь дверь. Я уже искал ее. Даже зазоров не видно.

Густов с отвращением ударил кулаком по светящейся поверхности.

* * *

Иней деловито шел по городу, направляясь к круглому стенду. Главное, думал он, не отличаться от других кирдов. Тот же сосредоточенный вид, та же невозмутимость кирда,

выполняющего приказ, та же уверенность машины, двигающейся по заданной ей траектории.

Он давно не был в городе, и что-то казалось ему не таким, как обычно, но что именно – он не понимал. Может быть, просто он не помнил, чтобы такое количество кирдов одновременно спешило по улицам.

Он почти не боялся. Нет, не так, поправил он себя. Конечно, он боялся. Слишком много опасностей таилось вокруг, и каждая значила лишь одно – вечное небытие. Но он научился удерживать страх в узде. Он представлял себе страх в виде маленького зверька, наподобие туня, что так любят греться на солнце на камнях развалин. Он приказывал зверьку: «Сиди смирно и не поднимай головки». Пока это ему удавалось. Он не раз бывал в городе, и никогда у него не возникало трудностей. Главное, усвоил он, не отличаться, не привлекать к себе внимание. Главное в царстве машин – не иметь индивидуальности.

Если пришельцы действительно в круглом стенде, вполне может быть, что он заметит входящих туда или выходящих кирдов. Задача заключалась в том, чтобы определить, как они управляют дверью.

Он увидел впереди круглый стенд. Конечно, если бы он мог просто подойти к зданию, постоять около него, попытаться открыть дверь, наконец, просто постучать по стене и прислушаться, не последует ли ответ, все было бы проще. Но не всегда простое значит возможное.

Навстречу ему шли два стражника со своими крестами на груди. Они пройдут мимо. Он ничем не привлекает их внимания, идет себе, как все. Не ускорять и не замедлять ход. Настоящему кирду все безразлично, остановят ли его, не остановят, проверят, не проверят. Им не нужно никаких знаков, никаких условных слов, чтобы их могли отличить от дефов. Глубочайшее и всеобъемлющее равнодушие – вот их пароль. Только не давать страху хоть как-то повлиять на его безучастный вид.

Стражники почти поравнялись с ним. Сейчас они пройдут мимо, и он спокойно направится к круглому стенду. Зверек в нем начал ворочаться, но он одернул его: тихо! Думать о пришельцах.

– Стой, – скомандовал внезапно один из стражников.

Конечно, можно было броситься бежать. Если ему повезет, он успеет оказаться за углом, прежде чем они откроют стрельбу. Но из города ему все равно не выбраться. Они перекроют все дороги. Он остановился.

– Почему нет дневного штампа? – спросил второй стражник.

– Я иду на проверочную станцию, – сказал Иней.

– Ты идешь от проверочной станции, – сказал стражник.

– Я иду проверяться, – упрямо сказал Иней.

Страха уже не было, ему не нужно было держаться в узде, терять было нечего.

– Я получил приказ идти на круглый стенд заняться пришельцами...

– Нас не интересует твой приказ.

– Наш приказ предписывает проследить, – добавил второй стражник, – чтобы никто не остался сегодня без проверки. Идем на проверочный стенд, они там быстро разберутся, почему ты бродишь по городу без разрешающего штампа.

– Может, он деф, – сказал первый стражник. – Настоящий кирд никогда не пойдет выполнять приказ, не пройдя проверку на стенде.

Они шли к проверочному стенду, и теперь у стражников в руках были трубки. Они не знали, деф ли он или нет, и не хотели рисковать. «С кирдами хорошо, – думали они лениво, в такт шагам. – Кирду дашь приказ идти идет. Дашь приказ снять голову – снимет. Дефы – вот истинная зараза, выжечь бы ее. Никогда не знаешь, что они выкинут, уроды...»

«Может быть, все-таки попробовать вырваться? – тоскливо думал Иней. – В конце концов, какая разница, от чего погрузиться в небытие – от выстрела в спину или от сорванной с туловища головы, которую они швырнут на пол, а потом засунут в пресс? Они всегда засовывают в пресс голову дефа, как будто боятся ее даже тогда, когда, сорванная с туловища, она уже перестает быть головой».

Нет, все-таки разница была. Лучше погибнуть от брызнувшего из трубки луча, чем на проверочном стенде.

Страха не было, была лишь плотная, густая печаль. Он больше никогда не увидит длинных вечерних теней, никогда не ощутит теплоту Утреннего Ветра, когда он смотрит на тебя так, словно главное для него – ты, твое благополучие. И не словно, а так ведь оно и есть. И Малыша он никогда не увидит и не услышит его странные вопросы. И мудрых слов Рассвета никогда больше не услышит он.

Включить моторы на полную мощность, рвануться вперед. Что ж жалеть, не жалеть... Но так тяжело было расставаться со всем, ради чего он существовал, что никак он не мог решиться. Надеяться было не на что, но так хотелось надеяться...

Его уже втолкнули в проверочную станцию. Зал был полон. Он не помнил, чтобы когда-нибудь видел сразу столько кирдов. Он хотел было сообразить – может быть, в такой толпе легче будет попробовать удрать, но не успел: стражники подвели его уже к кирду, работавшему у одного из проверочных стендов.

– Вот, – сказал один из стражников, – шел без дневного штампа. Поравнялся с ним, а проверочного сигнала не слышу. Значит, думаю, идет без штампа... А без штампа ходить нельзя. Значит, думаю, может, это деф. Ну, мы его сюда и привели. А то, если всякий начнет шататься по – городу без штампа... А я его спрашиваю: «Где штамп?» Говорит, собирался идти за ним.

– Деф, может, – сказал его товарищ.

– Проверим, – кивнул кирд у стенда. – Идите, стражники. – Он посмотрел на Инея. – Голову сюда, в фиксатор.

Странное оцепенение охватило Инея. Стражники уже выходили из зала. Можно было отбросить проверяющего, кинуться к выходу. Пусть его сбили бы с ног, пусть растоптали, но это было бы все равно лучше, чем покорно ждать, пока с него сорвут голову. Он знал это и все равно не мог решиться. Его уже не было здесь, в этом гудящем от тяжелой поступи кирдов зале. Он был там, в лагере, он прощался с товарищами, со Звездой, с которым не раз ходил за аккумуляторами, с Быстроногим, со всеми... И небытия он не заметит, бояться не нужно, он уже почти впал в небытие, которое обрушивала на него плотная и сухая печаль.

И из наплывавшего на него темного небытия он вдруг услышал тихий голос кирда:

– Ты деф.

Не крик, не брезгливое слово, с отвращением выплевываемое кирдами, а тихое, кроткое утверждение. И он слышит его. Значит, он еще жив. Это было непонятно.

– Ты деф, – тихо повторил кирд у стенда. – Наконец-то...

Иней никак не мог взять в толк, чудятся ли ему странные слова, за которыми пусть еще невидимая, но все-таки пряталась крохотная надежда, или это реальность.

– Не бойся. Я долго ждал этой минуты. Я... Мне кажется, я тоже деф. Не бойся. Я сделаю вид, что перенастраиваю тебя, сегодня идет большая перенастройка программ, но ты останешься прежним. Потом ты получишь дневной штамп. Но мне нужно о стольком поговорить с тобой. Может быть, ты сможешь прийти ко мне после заката? Мой номер Четыреста одиннадцать. Рядом со мной всегда стоял Четыреста двенадцатый, но его недавно разрядили, и комната пока пустует. Ничего не спрашивай меня. Начни снимать голову.

Иней поднял руки и начал откидывать запоры. Голова его шла кругом. Только что он попрощался с товарищами, с облаками и светом, с самой жизнью, и неожиданное спасение мешало ему спокойно думать. «Я не впал в небытие, не впал! – хотелось ему крикнуть. – Я увижу своих товарищей, я увижу Утреннего Ветра, я расскажу ему, что случилось со мной».

– Не бойся, – прошептал Четыреста одиннадцатый.

Иней не почувствовал даже, как он перестал существовать. Четыреста одиннадцатый деловито снял его голову, делая вид, что подсоединяет его к переналадочной машине.

– Все, иди. На тебе теперь есть дневной штамп. И приходи после заката.

* * *

Двести семьдесят четвертый шел к круглому стенду. Шаги его были неуверенны, потому что он никак не мог прийти в себя после смены программы. Он знал, что он – это он, кирд Двести семьдесят четвертый, он помнил все, что помнил раньше. Но он стал другим. И даже мир он видел другим. В чем именно была разница – определить он не мог. Как будто в нем стало светлее, как будто он стал больше, как будто выше плыли желтые облака и оранжевое солнце стало ярче.

Ему казалось, что раньше его голова была совсем пустой, звонкой и легкой, а теперь в ней было тесно: в ней был образ Мозга. Он не знал, как он выглядит, этот Мозг, дарующий им бытие, разум, энергию, этот Создатель, но мысль о нем, казалось, разогревала его, ему хотелось думать о нем все время. Ему хотелось что-то сделать, чтобы Мозг был спокоен, чтобы у него было все, что ему нужно. Он все готов сделать для Мозга. Он... он... даже готов был впасть в вечное небытие, лишь бы Мозг был доволен.

Он и раньше выполнил бы такой приказ, но выполнил бы автоматически, не думая ни о себе, ни о том, кто дал ему приказ. А сейчас ему хотелось выполнить приказ так, чтобы Мозг был доволен, чтобы он знал, какой старательный у него кирд Двести семьдесят четвертый.

О, он все сделает, лишь бы выполнить приказ Мозга как можно лучше. Он уже знает, как обращаться с пришельцами, даже странный их звуковой язык он теперь немного умеет понимать, и даже синтезировать их звуки он умеет. Он произнес:

– Ко-ла.

«Не так, – поправил он себя. – Так: Ко-ля».

Приказ гласил: лучше разобраться в реакциях, которые пришельцы демонстрируют при угрозе себе или товарищу. Он постарается выполнить приказ быстро и четко, чтобы сегодня же доложить Мозгу. А вдруг он не сумеет, мелькнула у него мысль, и Мозг будет недоволен? Двести семьдесят четвертый впервые в жизни испытал, как мучительна может быть простенькая, в сущности, мысль. Нет, ни за что это не случится, он все сделает, чтобы оправдать доверие Мозга.

Он было подумал, как хорошо было раньше, когда он лишь автоматически выполнял команды и не было в нем страха ни перед чем, но тут же поправил себя: но тогда он не знал радости служения Мозгу, он даже не знал, что служит Мозгу, он был просто машиной. Разве не расширился теперь его мир, разве не стало ярче солнце... Все это было бесконечно сложно. Он думал о вещах, о которых никогда раньше не думал, он... Мысль была отвратительна, она была холодна и колюча, как ветер на закате – он... может быть... похож на дефа... Нет, нет, нет, одернул он себя. Дефы враги. А он любит Мозг, он горд служить ему, а потому не может быть дефом.

Впереди показался круглый стенд.

* * *

– Тш-ш, – сказал Надеждин, – кажется, к нам гости.

Густов вскочил на ноги.

– Мог бы и не вставать, – заметил Марков. – По-моему, они не слишком большие формалисты.

Дверь начала открываться, в мертвенное мерцание их тюрьмы ворвался оранжевый свет солнца. На пороге стоял робот, внимательно смотрел на них. Их ли это старый тюремщик, или прислали нового? Все они на одно лицо, хотя лиц у них, строго говоря, не было.

– Ко-ля, – вдруг сказал он.

– О, наконец-то, – улыбнулся Надеждин, но в эту минуту Густов вдруг прошмыгнул неожиданно под рукой робота и выскочил на улицу.

На мгновение яркий свет ослепил его, и он зажмурил глаза, но инстинкт гнал его подальше от тюрьмы. Он не умел объяснить себе, почему и зачем он удрал из их круглой камеры. Он даже и не думал об этом, у него не было никакого плана. Не было и быть не могло, потому что он не знал, где можно спрятаться и можно ли спрятаться вообще. А если можно, то зачем? На что он рассчитывал?

Просто дверь приоткрылась, и в припадке безумия он кинулся в проем, к свету. Да, да, не инстинкт это был, а чистейшее безумие. Самое настоящее умопомрачение. Конечно, нужно было тут же вернуться, вернуться и извиниться: простите, мол, уважаемый тюремщик, я обеспокоил вас неразумным побегом. Обещаю, что впредь буду сидеть взаперти спокойно, терпеливо и с благодарностью.

Он завернул за угол. Одинаковые ряды одинаковых сараев без окон, чужое оранжевое солнце, чужие безучастные роботы. Угроза была во всем, даже в разреженном воздухе. Не на свободу он вырвался, а зачем-то выскочил из привычной камеры и очутился в другой, неизвестной, таящей, скорее всего, еще большие опасности. Сейчас его схватят, конечно. У него столько же шансов спрятаться, как у слона на улице Москвы. Но мимо проходили роботы, и никто, казалось, не обращал на него ни малейшего внимания.

Да, пожалуй, нужно возвращаться в узилище. Глотнул свободы – и хватит. Он представил себе, что, наверное, думают сейчас товарищи. Места, конечно, не находят от беспокойства за него. Могли бы – наверняка кинулись бы за ним, но робот, можно не сомневаться, тут же захлопнул дверь.

Он остановился. Он даже не знал, где их тюрьма. Он столько раз поворачивал за эти несколько минут, что потерял ориентировку, петлял, как обезумевший заяц. Да и как можно было ориентироваться в городе, где каждое здание как две капли воды походило на остальные.

– Идиот, импульсивный идиот, – сказал вслух Густов и остановился.

В это мгновение к нему подошел робот, посмотрел на него и сделал знак следовать за ним. «Ну что ж, – подумал Густов, – подопытного кролика возвращают в виварий». Он вздохнул. Робот шел быстро, и ему приходилось трусить, чтобы не отстать от него...

* * *

Когда один из пришельцев проскользнул под его рукой и выскочил через открытую дверь, Двести семьдесят четвертый автоматически захлопнул дверь. Мысли его рванулись и понеслись в бешеном вихре, и впервые с момента своего создания он не знал, что делать.

Как все было бы просто раньше: он тут же отчеканил бы по своему главному каналу, что один из пришельцев удрал из круглого стенда. Доложил бы и спокойно ждал приказа: может быть, его послали бы вдогонку за беглецом, может быть, приказали бы не отвлекаться от задания. А теперь его захлестывал ужас. Он знал, что во что бы то ни стало нужно доложить Мозгу о случившемся, что все равно раньше или позже Мозг узнает о беглеце, не он, так другие доложат ему, но мысль о том, что он совершил ошибку, что Мозг будет недоволен им, что он, может быть, обратит на него свой гнев, парализовала его. Его разрядят, его обязательно разрядят, он впадет в вечное небытие. Мысль эта была невыносима. Она была так тяжела, так огромна, что одна заполнила его сознание, заклинила его мозг, выплеснулась, казалось, наружу.

Он стоял и молча смотрел на двух пришельцев, не видя их.

– Сейчас его вернут, – сказал Марков.

– Бедный Володя, – покачал головой Надеждин, – я его понимаю.

– Ему некуда деться.

– Он очень тяжело переносил заточение.

– Ты думаешь, они с ним ничего не сделают? – спросил Марков.

– Будем надеяться, просто вернут его. Они настолько безучастны ко всему на свете, что

вряд ли они будут мстить или наказывать.

– Хорошо бы все обернулось так... Но смотри...

– Ты о чем?

– Посмотри на нашего... Тебе не кажется, что он сегодня не похож на себя?

– В чем?

– Стоит, ничего не делает. Такое впечатление, что Володя задал ему задачу.

Двести семьдесят четвертый вдруг спросил:

– Он... придет?

– Он заговорил! – воскликнул Марков. – Он говорит!

– Подожди, – отмахнулся Надеждин, – он же спрашивает. – Он повернул голову и сказал роботу: – Он придет.

– Я... ждать, – проскрипел робот.

– Мы тоже ждем, – кивнул Надеждин.

«Странно, – думал Надеждин, – все это довольно странно. Он спрашивает у нас. Не мы у него, а он у нас».

– Вы говорите теперь на нашем языке? – спросил он.

– Да, – сказал робот.

– Для чего вы нас здесь держите взаперти? – выкрикнул Марков. – Мы хотим вернуться на корабль, понимаете?

– Ждать, – пробормотал робот и повторил: – Ждать...

«Странно», – еще раз подумал Надеждин и усмехнулся. Какое в сущности неопределенное слово «странно». Как будто все остальное было не странным. Он почувствовал, что находится между двух зеркал: каждое отражается в другом и отображения уходят в дымку бесконечности. И в каждом он, думающий о смысле слова «странность»...

* * *

Густов ничего не понимал. Он запыхался, ему не хватало воздуха, и едкий пот стекал по лбу, попадал в глаза, жег их. Он же отошел от круглого здания их тюрьмы максимум на двести или триста метров, пускай на четыреста, а они пробежали уже добрых два, а то и три километра.

Одинаковые дома без окон, с гладкими стенами, в которых отражалось солнце, одинаковые роботы, которые изредка встречались им и которые не обращали на них ни малейшего внимания, тень от его проводника, прыгавшая перед ним и от которой он боялся отстать, негодующее буханье сердца и страх задохнуться. Куда они деля воздух? Он никак не может наполнить легкие. Куда его ведут? Он ничего не понимал. Он остановился. Робот тоже остановился. Да, у них же есть и задняя пара глаз, он совсем забыл о них.

Робот сделал знак рукой, но Густов лишь покачал головой. У него просто не было сил сделать хотя бы еще один шаг. Да и куда его ташили? Зачем? Что это все значило?

Круглая светящаяся камера, из которой он зачем-то так нелепо удрал, уже казалась ему родным домом. Там были товарищи. Когда они были рядом, все было не так страшно. Они были вместе, весь маленький экипаж «Сызрани», и все должно было так или иначе образоваться. Даже когда робот схватил Сашку за руку, он был уверен, что все кончится хорошо. Они были вместе... Зачем, зачем он уподобился крысе, которая сумела выскочить из мышеловки. Чушь, крыса может хоть метнуться в подпол, в подвал, спрятаться, оказаться среди сородичей, а он?

Робот внезапно втолкнул его в один из сараев. Внутри было темно. Он остановился. Он ничего не видел после яркого оранжевого света улицы. Он почувствовал прикосновение руки к спине. Робот подталкивал его, но он ничего не видел. Темнота была враждебной, она пугала его. Ему казалось, что впереди провал, что, сделай он еще шаг, он рухнет куда-то в какой-то бездонный колодец.

Робот настойчиво подталкивал его, но он не мог заставить себя идти. Казалось, что провожатый понял, в чем дело, потому что Густов почувствовал, как холодные металлические руки приподняли его, прижали к телу.

«Сколько лет меня не носили на руках!» – промелькнула у него дурацкая мысль. Мать рассказывала ему, что маленький он ни за что не желал ходить, он требовал, чтобы она несла его на руках. Он называл это «ючки». А если на «ючки» его не брали, он демонстративно садился на землю и ревел. Он был плаксивым ребенком.

Он цеплялся за эти далекие земные воспоминания, они были в тысячи раз реальнее и ближе, чем путешествие на руках чудовищного робота в густой темноте. Ему всегда было неприятно представлять себя визжащим и сопливым ребенком, капризным и упрямым, и он ловил себя на том, что сердился на мать, когда она рассказывала ему о его ранних годах, но сейчас картина малыша, размазывающего кулачками слезы по лицу, была невыразимо приятна.

Он почувствовал, что робот остановился, осторожно опустил его на что-то твердое – на пол, наверное.

Боже, как безумен он был, как прекрасна была их круглая тюрьма, светлая, просторная, круглая тюрьма, в которой были товарищи, в которой они могли видеть друг друга, разговаривать друг с другом, черпать друг в друге силы и надежды! Зачем, зачем он удрал оттуда? Зачем он теперь сидит неведь на чем, неведь где в густой темноте, а ребята, наверное, места себе не находят от беспокойства за него.

Нужно было только очень захотеть, очень зажмурить глаза, открыть их – и все окажется по-старому. Командир будет осматривать в сотый раз светящиеся стены, а Марков, вытянувшись на жестком полу, будет молча и скептически следить за ним глазами.

Вся его жизнь была в сущности сплошным безумием. Безумием был выбор специальности. Безумием было стремиться в пустой, нелепо бесконечный и враждебный космос. Для чего? В поисках неведомого? Ха-ха, неведомого! Это отец все виноват. С детства задурил ему голову рассказами о небопроходцах, подарил ему голографический портрет Юрия Гагарина, и первый в мире космонавт улыбался ему, как живой. Он и казался ему живым, когда стоял в своей военной форме в его комнате, и он никак не мог понять, почему его ручонки свободно проходят сквозь фигуру космонавта.

За неведомым он погнался... Будто мало на Земле неведомого, от человеческой души до древних развалин. Безумием было оставить Валю, променять ее милые глаза и теплые руки на жизнь космонавта. Нет, даже не жизнь, а антижизнь. Настоящая жизнь была на теплой и до боли прекрасной Земле, а все остальное – суррогат.

Оставить Валю... Если бы он не любил ее, это еще можно было бы как-то понять. Но он любил ее. Он и сейчас любил ее. Если бы только можно было ощутить в этой дьявольской темноте прикосновение ее руки к лицу... У нее были удивительные руки. Летом они были прохладны, зимой – теплы. И необыкновенно ласковы. Когда она прижимала руки к его вискам, счастье, острое счастье переполняло его. Ему казалось: еще мгновение – и он взмоет к потолку, так полон он был клубившимся в нем восторгом.

Он внезапно все понял. Понял то, чего никогда не понимали врачи, столько раз проверявшие его здоровье. Он психически болен, он безумен. И поступки его безумны. Не так уж важно, каким ученым словом называется его болезнь, но он тяжело болен.

Он застонал и тотчас же почувствовал, как к его лбу что-то слегка прикоснулось. Он дернулся было, но прикосновение было успокоительным. На мгновение ему почудилось, что это Валя протянула ему руку. Нет, это была не Валя. Вале не было места в этой противоестественной темноте.

Где он, куда его привели, зачем? Он должен был услышать хотя бы свой голос, потому что чувствовал, как растворяется в этой дьявольской смеси тьмы и безмолвия, вот-вот исчезнет.

– Куда вы меня привели? – спросил он. – Я хочу к товарищам.

– Ку-да, – услышал он в ответ.

Сердце Густова забилося. В этих двух слогах было хоть нечто, что напоминало ему о нормальной человеческой реакции. Робот повторил его слово. Так повторил бы его человек, не знающий языка, на котором к нему обращаются.

– Я Владимир, – сказал Густов раздельно и внятно, как говорят с новым компьютером, который еще не привык к голосу хозяина.

– Я Владимир, – повторил робот.

«Не слишком содержательная беседа, – вздохнул мысленно Густов. – Беседа с самим собой». Но все равно темнота уже не казалась такой враждебной.

– Я с планеты Земля, – сказал он.

Пусть хоть повторяют его слова...

* * *

Четыреста одиннадцатый торопился домой. Как ему хотелось включить двигатели на полные обороты, как ему хотелось бежать, бежать, чтобы быстрее очутиться в своем загончике, где его ждет деф!

Сколько времени с того самого момента, как он понял, что он не такой, как другие, мечтал он о том, как встретит того, кого можно будет не бояться. Он жил в мире, в котором ему не было места. Этот мир состоял из одного лишь страха. Страх всегда окружал его, послушно шел за ним, когда он шел, останавливался, когда он останавливался, бежал, когда он бежал. Спрятаться от него было невозможно.

Страх почему-то казался ему липким и холодным, и нужно было постоянно делать усилия, чтобы он не поднялся по туловищу к голове. Как только он поднимется к голове, он тут же сделает ошибку, которая будет последней.

Порой ему остро хотелось быть таким же, как все. Не выделяться, не отличаться, быть взаимозаменяемой частицей их общества. Но этот соблазн был летуч. Пусть он жил в постоянном страхе, но это был ЕГО страх, а если ему суждено попасть в клешни стражников, это будет ЕГО конец. Он остро ощущает свое «я» и ни за что не откажется от него.

Он стал ненавидеть всех вокруг, все это огромное стадо послушных, безумных рабов. Им не нужно было никакого «я», им вообще ничего не нужно было...

И чем больше он ненавидел покорных кирдов, тем тщательнее он обдумывал каждый свой шаг, тем осторожнее становился. Его ведь не вталкивали в вечное небытие только потому, что никто не знал его тайны. Для сотен кирдов, для Шестьдесят восьмого и Двадцать второго, с которыми он работал на проверочной станции, он был всего-навсего кирд Четыреста одиннадцатый, такой же, как все, такая же машина для выполнения приказов.

Он вспомнил, как впервые понял, что он не такой, как другие. Стражники приволокли тогда подстреленного кирда к ним на проверочный стенд. Он даже не знал, деф это или нет, – мало ли почему у кирда может быть оплавлена часть головы. Стражники ему не докладывали, кого привезли и что с ним случилось. Они просто сбросили его с тележки и ушли. Раненых, исковерканных кирдов всегда привозили на проверочный стенд, чтобы определить, годятся ли на что-нибудь их головы или их место под прессом, как головы дефов. Голову дефа, в каком бы она ни была состоянии, всегда надлежит пускать под пресс – таков был приказ.

Стражники сбросили кирда и укатали, а он взял проверочный кабель и подсоединил к контрольным клеммам. Он посмотрел на приборы. Стрелки поплясали и успокоились, и на табло высветилось: «Деф, повреждение мозга на три четверти».

Перед ним был деф. Он нагнулся, чтобы начать отсоединять его голову, и услышал его слова. Слова были тихими, голос прерывистый, но он слышал их:

– Так больно... забывать...

Слова были бессмысленны. Перед ним был деф. Кирду не может быть больно. Конечно, он чувствует опасность, датчики всегда сообщают его мозгу, что тело или

конечность испытывают перегрузку, что что-то нажимает на них, что-то угрожает целости, что-то мешает. «Допустим, – думал Четыреста одиннадцатый, – эти ощущения деф называет болью. Но чтобы было больно... забывать?»

Слова были нелепы, но что-то в них снова и снова приковывало его внимание. Что именно – он не мог понять. Он уже почти полностью отсоединил искаленную голову дефа. Пресс был включен. Оставалось снять голову и вложить ее в разверстную пасть. И в ту секунду, когда он взялся за голову, он снова услышал слова:

– Прощайте...

Он снял голову, сунул ее под пресс, нажал кнопку. Пресс легонько вздохнул, превращая голову в лепешку, и замолк, а Четыреста одиннадцатый все еще слышал тихий голос. Даже не голос, – а шелест его: «Прощайте».

Это было удивительно. И слова дефа, и то, что они снова и снова выплывали из его памяти. Зачем он вспоминал этот странный, скорбный шелест? Разве он получил приказ вспомнить, что говорил раненый деф на грани вечного небытия? Нет, не получил. И потому не должен был вспоминать их, потому что кирд никогда не вспоминает то, что не потребно ему для выполнения приказа, или то, чего не требует от него приказ.

Он понял, что с ним что-то случилось. Завтра, когда они закончат проверку, настанет их собственная очередь получить дневной штамп. Он подсоединит свои контрольные клеммы, раздастся сигнал, на табло покажется: «Деф». Он покорно начнет отстегивать запоры, а потом подзовет Шестидесят восьмого или Двадцать второго, чтобы они сунули его голову под пресс.

Он не знал, стал ли дефом или нет, но мысль о конце наполнила его смятением. Он не хотел вечного небытия. Пусть у него было еще очень мало своего, того, что отличало его от других кирдов, но оно было. Слова раненого дефа, которые слышал только он, свое смятение, нежелание впасть в вечное небытие – это было немного, но это было его, его, только его достояние, и он не хотел терять его. Он не хотел отдавать это тупым животным, которые окружали его.

Он знал, что никто не должен догадываться о его тайне. Иначе – вздох прессы, превращающего его голову в лепешку. Его голову с его тайной, с его памятью, с шелестом слов раненого кирда, с его смятением.

В ту ночь он еще раз нарушил закон. Закон гласил, что каждый кирд, не выполняющий приказ и находящийся в своем загончике, должен впасть во временное небытие.

Он не выключил свое сознание. Он думал, в мельчайших деталях воссоздавая в своей цепкой памяти процедуру проверки голов на стенде. Он не хотел вечного небытия, он не хотел, чтобы пресс со вздохом превратил его голову в лепешку.

Он понимал, что его смятение бессмысленно. Ведь всю свою жизнь с момента создания, когда ток от аккумулятора впервые пробежал по цепям его новенького мозга и он осознал себя кирдом Четыреста одиннадцатым, он твердо знал, что нужно думать только о том, о чем ты получаешь приказ думать. А так как думать о небытии ему не приказывали, он о нем и не думал.

А может, думал он, все-таки раньше ему было лучше? Конечно, он понимал, что не был счастлив, когда был исправным кирдом. Но он ведь не был и несчастлив. Он вообще ничего не чувствовал. Да, у него не было ничего своего, потаенного, но зато не было и страха.

Страх теперь постоянно мучил его. Бывали мгновения, когда ему хотелось крикнуть: «Я деф! Мне не место в вашем четком, размеренном мире. Хватайте меня, срывайте с меня голову! Я устал от своей тайны!»

Но это были секундные вспышки. Их гасила ненависть.

Он думал о завтрашней проверке, о своем конце. И вдруг – это было словно озарение – он понял, что может замкнуть свои проверочные клеммы так, чтобы остаться непроверенным. А на табло все равно появится сигнал о благополучной проверке.

Утром он так все и сделал. Он стремительно становился дефом, потому что постоянно нарушал приказы. У него уже была целая коллекция таких нарушений – от невыключения

сознания ночью до избежания проверки, не говоря уже о недозволенных мыслях и сомнениях.

И вот теперь он торопился домой, чтобы впервые оказаться рядом с тем, кого можно было не бояться, рядом с таким, как ты.

Он вдруг сообразил, что идет быстрее, чем положено идти кирду, возвращающемуся после выполнения приказа. Все четыре глаза его доложили: стражников не видно, никто не обратил на него внимания. Как он мог потерять бдительность! Это было непростительно. Следить, следить за каждым своим шагом, рассчитывать каждый жест, обдумывать каждое слово. Попасться сейчас, когда он шел к другому дефу, – это было бы особенно страшно.

* * *

Время шло, а исчезнувший пришелец не возвращался. Двести семьдесят четвертый вдруг ясно представил себе, как Мозг получает один, другой, третий доклад о том, что по улицам города бродит пришелец. Мозг в своей мудрости знает все. Он знает, что пришельцев изучает Двести семьдесят четвертый. Он знает, что не получил от него никакого доклада о бродящем по городу пришельце. В городе, где могут оказаться и дефы. Он тут же вызовет По главному каналу связи Двести семьдесят четвертого и спросит, почему тот не доложил об исчезновении пришельца.

Он спросит о пришельце, но не пришелец будет тревожить Мозг. Он будет печален, потому что хороший кирд, любящий его кирд Двести семьдесят четвертый оказался недостойным своего Мозга, не выполнил свой долг.

Двести семьдесят четвертый застонал. Ему чудилось, что все цепи его логических схем раскалены, жгут его и вот-вот начнут плавиться. Он, он посмел обмануть Мозг! Мозг, который так любит их и так о них заботится. На кого же можно положиться, с печалью подумает Мозг, если даже такой, казалось бы, хороший кирд, как Двести семьдесят четвертый, которому он так доверял, которому даже поручил изучение пришельцев, обманывает его.

– Саша, – сказал Надеждин, – по-моему, с нашим роботом творится что-то неладное. Смотри, как он раскачивается.

– Я бы не возражал, если бы со всеми ними что-то случилось, – заметил Марков.

Но Двести семьдесят четвертый не слушал пришельцев. Он решился. Мозг все поймет. Он добрый. Ведь он заботится о них, о своих кирдах. Пусть даже он накажет его, он с радостью примет наказание, потому что заслужил его.

Он послал Мозгу доклад. Мозг получил сообщение и тут же отдал приказ всем кирдам, которые видели пришельца, немедленно доложить ему. Рапорты начали поступать один за другим.

– Пришелец стоял, прижимался к семнадцатому дому и оглядывался.

– Он был один? – спросил Мозг.

– Да.

– Почему ты сразу не доложил?

– Я очень сожалею, – сказал Сто сорок четвертый, – но у меня не было приказа докладывать о появлении пришельца.

Как тяжело нести на себе бремя всего мира! Все должен решать он, все предусмотреть, все спланировать, все превратить в четкие приказы. Кирды без него замрут, останутся раз и навсегда. Для этого-то он и затеял изменение программ. Позже, когда пришелец будет возвращен на место, он подумает о приказе, который обязывал бы кирдов немедленно докладывать обо всем необычном, что они видят. Но для этого придется составить список необычного. Но потом, потом.

Два кирда доложили, что видели, как пришелец то шел, то останавливался. Это было понятно. Он не знал, куда идти. Сам выход пришельца из круглого стенда свидетельствовал

о довольно низком интеллекте. Он совершил заведомо бессмысленный поступок. Но все равно свою роль эти трое существ выполняли. Старый Крус, то, вернее, что от него осталось, был прав. Изучение пришельцев дает ему возможность направить цивилизацию по новому пути, вывести ее из тупика. Он изменит ее так, чтобы дефы больше не смогли бросить ему вызов. Эти ничтожные дефы, самым существованием ставящие под сомнение совершенство его мира, мира, который он, Мозг, создавал так долго и тщательно.

– Докладывает кирд Пятьсот восемьдесят седьмой, – услышал Мозг. – Я видел, как пришелец шел мимо дома шестьдесят девять в сопровождении кирда.

– Как шел кирд? – спросил Мозг.

– Он шел вторым шагом.

– Вторым? – переспросил Мозг.

Он ясно слышал, что доложил ему Пятьсот восемьдесят седьмой, он всегда слышал все доклады, но услышанное обеспокоило его. Второй шаг – это та скорость, с которой кирды двигаются только тогда, когда выполняют приказы. Это значило, что кирд, который сопровождал пришельца, выполнял приказ. А так как отдавать приказы мог только он, это значило, что он приказал какому-то кирду куда-то вести пришельца. Мозг знал понятия «кто-то», «куда-то», но не пользовался ими. Его мир был ясен и четок, в нем не было места для отвратительной неопределенности. Пусть дефы барахтаются в вязкой зыбкости, похожей на почву в период дождей.

Но не это презрение к неопределенности приковывало сейчас к себе внимание Мозга. Он никогда ничего не забывал, но еще раз тщательно проверил все магнитные кольца оперативной памяти. Он не ошибался. Он никому не отдавал приказа сопровождать пришельца. Это в свою очередь могло означать одно из двух: или пришельца вел деф, или нашелся кирд, который осмелился действовать без приказа и даже идти вторым шагом, то есть тоже превратился в дефа. Любая из этих возможностей была неприятна. И потому требовала немедленного анализа.

Первая. Пришелец в руках дефов. Мало того, что дефы уже спокойно разгуливают в городе, заполоучив пришельца, они узнают об экспериментах с ними, о перенастройке программ. Это даст им возможность изменить тактику борьбы. Это усилит их. А он затеял эту грандиозную переналадку программ, в частности, именно для того, чтобы ему, Мозгу, удалось изолировать дефов и уничтожить их.

Деф в городе – это вызов ему. Это оскорбление Мозгу.

Второй вариант. Пришельца ведет не деф, а кирд. Ведет без приказа, без рапорта. Нормальный кирд сделать этого не мог. Стало быть, при смене программ произошли сбои. Стало быть, это тоже деф.

В любом случае этот деф должен быть найден и уничтожен. Он не мог позволить, чтобы в отлаженном механизме его мира вращались неисправные детали. К сожалению, время от времени детали выходят из строя, это неизбежно, но важно немедленно изымать их из механизма, ибо, оставаясь нераспознанными, они могут причинить вред всей машине.

Мозг отдал приказ всем стражникам и всем кирдам усилить наблюдение. Он перебазировал часть стражников с проверочной станции, складов аккумуляторов и производственного центра в район, где в последний раз видели пришельца. Он отдавал себе отчет, что это было рискованно, что дефы могли воспользоваться предоставленной возможностью для нападения, но отбросил такую вероятность. Для подготовки нападения нужно время; даже для того, чтобы добраться до города, дефам нужно время, они теперь боятся прятаться в его окрестностях. А о том, что один из пришельцев ускользнет из круглого стенда, заранее они знать не могли. Если, конечно... Что ж, подумал Мозг, в том-то и сила его интеллекта, что он не связан условностями. Он бесстрашен, для него нет запретных зон, и он готов исследовать любую вероятность. Он не мог быть уверен, что Двести семьдесят четвертый не тайный деф, не симпатизирует дефам и не задумал заранее эту операцию.

Да, он прошел проверку, но кто знает, насколько тщательно выполняются на

проверочном стенде его указания. А может, это стражники ослабили бдительность и не у каждого встречного проверяют наличие дневного штампа.

Все на нем. Только он заряжен неукротимой волей, нужной, чтобы спасти их мир, только он влачит на себе тяжкое бремя вечного сражения с хаосом, с дефами, только он может все знать и помнить.

Двести семьдесят четвертый... Он всегда казался ему отличным кирдом. Да, конечно, все кирды изготавливаются одинаковыми, но все равно каждая машина всегда несколько отличается. Он всегда докладывал с особой четкостью, которая была Мозгу приятна. И задания он выполнял тщательно и быстро, и даже до последней перенастройки Мозгу иногда чудилось в сухом машинном равнодушии отчетов Двести семьдесят четвертого то, что теперь введено в программы всех кирдов, – любовь и преданность Мозгу.

Неужели Двести семьдесят четвертый стал дефом? Что ж, он отдавал всю мощь своего интеллекта заботам о судьбе их цивилизации, но может ли он рассчитывать на настоящую благодарность? Нет, всегда нужно быть готовым к удару в спину, ибо коварство дефов не знает границ.

Никогда раньше Мозг не сожалел о своей недвижимости. В конце концов, тысяча тел были лучше одного тела, а кирды и были его телами, его глазами, руками и ногами. В любое мгновение он мог включить канал связи с любым кирдом, и то, что видели его четыре глаза, видел он. Иногда ему приходилось держать на связи одновременно несколько десятков кирдов, и он получал зрительные образы, воспринятые сразу множеством глаз, находящихся в разных местах. В такие минуты ему приходилось работать на полную мощность, ибо огромным был поток информации, которую нужно было переработать.

Но теперь почему-то ему захотелось самому допросить Двести семьдесят четвертого, самому проверить его голову.

Он вызвал проверочную станцию, там работали Шестьдесят восьмой и Двадцать второй, Четыреста одиннадцатый уже кончил смену и двигался по направлению к дому.

– Шестьдесят восьмой, – сказал он, – проверка голов закончена?

– Да, – ответил Шестьдесят восьмой.

– У вас есть запасные туловища?

– Так точно.

– А новые незаряженные головы?

– Двенадцать.

– Хорошо. Возьми запасное туловище, поставь на него новую голову. Хорошенько проверь ее цепи. Убедись, правильно ли действует главный канал связи, поставь заряженный аккумулятор и включи кирда на активное действие.

– Чем зарядить его голову?

– Ничем. Ты понял?

– Так точно.

– Повтори команду. – Мозг не хотел, чтобы Шестьдесят восьмой ошибся.

Кирд повторил команду.

– Хорошо.

Через несколько минут новое пустое туловище было уже соединено с Мозгом главным каналом, и Мозг начал заряжать кирда своим сознанием. Он знал, что емкость памяти стандартного кирда несравнима с его памятью и невелика, она не вместит и малой доли того, что помнил и знал он, он отдавал себе отчет, что быстрое действие кирда в сотни раз меньше его быстрого действия, но ему и не нужен был полный слепок его сознания. Ему достаточно была бы и уменьшенная копия.

Главный канал связи был рассчитан только для передачи и получения команд и рапортов, он с трудом пропускал тот поток информации, который впрыскивал в него Мозг. Это была необыкновенно трудная работа: нужно было выбрать из гигантских кладовых его могучей памяти только то, что нужно было для допроса Двести семьдесят четвертого, только то, что он сможет перекачать в крошечное по сравнению с ним сознание кирда.

Канал связи вибрировал, то увеличивая, то непроизвольно сокращая пропускную способность. Мозг знал, что перегружает его, но он торопился.

Наконец передача информации была закончена. Мозг приказал безымянному кирду на проверочной станции включить сознание.

- Доложи, – приказал он, – кто ты и что ты делаешь.
- Я часть тебя.
- Но ты ощущаешь себя как индивидуальность?
- Нет. Я часть тебя.
- Ты часть меня, но ты можешь и должен действовать самостоятельно.
- Да, я знаю, что я – твоя уменьшенная копия.
- Ты обладаешь свободой воли.
- Да.
- Сейчас я отключу связь, но ты и без пуповины знаешь, что ты должен делать.
- Да, я знаю.
- Хорошо.

5

Никогда Иней никого не ждал с таким нетерпением, как своего нового товарища. Он стоял в темноте крошечного загончика, который совсем недавно занимал кирд Четыреста двенадцатый, и смотрел на пришельца. Пришелец излучал тепло, и Иней видел его в инфракрасных лучах маленькое хрупкое существо, такое незащищенное, такое уязвимое для тысяч опасностей. Трудно было даже представить, как мало, наверное, думали создатели этого пришельца над проблемами надежности. Он знал, что стоит ему чуть сильнее сжать это теплое тельце, и он причинит пришельцу вред. Он уже знал, что пришелец видит лишь в узком спектре, слышит лишь малую толику звуков.

Возможно, он даже не сконструирован, а является продуктом случайного хаотического развития, какими были когда-то на их планете верты. Как странно, что частица слепой природы может быть наделена разумом. Насколько совершенным – это другой вопрос. Конечно, для управления их кораблем, безусловно, нужен какой-то интеллект, но интеллект не обязательно высокого порядка. Оказавшись в загончике, в темноте, он почему-то пришел в необъяснимое волнение, что указывало на нестабильную работу сознания – ведь никакая непосредственная опасность ему не угрожала.

Конечно, если бы он мог быстрее освоить звуковой язык пришельца, он бы мог лучше представить себе, что за существо перед ним. Но язык был сложен, и анализ его был ему одному не под силу.

Теперь, когда у него было время спокойно порассуждать, Иней уже не был уверен, что поступил мудро. Конечно, было бы лучше, если бы все три пришельца смогли добраться до их лагеря вместе, но ведь пришелец был один, когда он встретил его. Один и явно не знал, куда идти. И все же... Имел Иней право подвергать жизнь пришельца опасности? Ведь, чтобы добраться до лагеря, им нужно выскользнуть из города, а это могло в любой момент обернуться встречей со стражниками...

Может быть, вдвоем с его новым товарищем они сумеют лучше разобраться в ситуации.

Иней услышал шаги.

- Это я, – тихонько прошептал Четыреста одиннадцатый. – Я вернулся.
- Я рад, что ты пришел. Я беспокоился за тебя.
- Какие странные слова...
- Странные? Почему?
- Никто никогда не беспокоился за меня.
- Да, ты вступаешь в новый мир. Мы, дефы, не машины. Мы любим друг друга.
- Что такое любить?

– Ты поймешь. Любить – это значит заботиться о ком-то, беспокоиться за него, защищать, помогать. Не быть равнодушным. Это наш мир.

– Я боюсь, – сказал Четыреста одиннадцатый.

– Чего? Как мы доберемся до лагеря дефов? Не бойся, я уже не раз приходил в город и благополучно выбирался из него.

– Нет, этого я не боюсь, – сказал Четыреста одиннадцатый.

– А чего ты боишься?

– Этот мир... ваш... Я боюсь, сумею ли я любить...

– Если ты настоящий деф – сумеешь.

– Не знаю... Я привык к страху и ненависти. Они стали частью меня. Я ненавижу кирдов, их равнодушное, тупое существование, их рабскую покорность приказам, которые они никогда не подвергают сомнениям. И даже теперь, когда всех кирдов перенастраивают, когда в их программы вводят новые реакции, они все равно безучастные машины.

– Они не виноваты, что они машины.

– Я знаю, но все равно ненавижу их. Иногда мне кажется, что больше всего я ненавижу их за то, что еще недавно был одним из них. Так же слепо выполнял приказы, так же бездумно возвращался в свой загон и так же бездумно погружался во временное небытие.

– Ненависть – опасное чувство. Сначала ненавидишь тех, кто совсем не похож на тебя, потом тех, кто хоть чуточку отличается от тебя. А для того, чтобы по-настоящему ненавидеть отличных от тебя, нужно очень любить себя, считать себя образцом, совершенством.

– Не знаю... Наверное, ты прав... Но это такое сильное чувство. Оно помогло мне выжить, когда я был один. Не знаю, помогла ли бы мне та любовь, о которой ты говоришь, но ненависть помогла мне. Она... Иногда мне казалось, что она может заменить мне аккумуляторы, столько сил она вливала в меня. Я ничего не знаю, я всего-навсего недавний кирд, чей мир прост: приказали – выполнил – доложил. Но я думаю, что миры двигаются не вашей любовью, а ненавистью. Только ненависть дает силы.

– Ты поймешь, что неправ.

– Когда?

– Видишь ли, понять идею любви умом, логикой вовсе не трудно. Любой кирд легко разберется в неизмеримо более сложных вещах. Но одно дело понять логически, безучастно, другое – принять всем существом. Собственно, в этом главное отличие кирдов и дефов. Холодная логика и чувство. Я знаю, ведь когда-то и у меня был номер, когда-то и я проходил проверку. Я был Девятьсот седьмым. А теперь я Иней.

– Иней?

– Да, это мое имя. Я сам выбрал его. Это очень красивое имя.

– Ты сам выбрал? – задумчиво спросил Четыреста одиннадцатый.

– Да.

– Как странно... И я смогу выбрать имя?

– Конечно.

– Я Четыреста одиннадцатый. Я всегда был Четыреста одиннадцатым. И никогда не задумывался, кто дал мне это имя.

– Это не имя, это номер. Машине не нужно имя. Теперь ты деф, ты не можешь быть ходячим номером. Выбери себе имя.

– Я не умею...

– Не торопись, ты обязательно придумаешь себе имя, и оно будет прекрасным, каким бы оно ни было. Но осторожно, кажется, пришелец возвращается из временного небытия.

– Он слышит нас?

– Нет, он воспринимает только звуковые волны. У него очень сложный язык. Я запомнил уже много его слов, но я не знаю их смысла. Я знаю лишь, что его имя Во-ло-дя. Смотри, я сейчас синтезирую его имя в звуковом диапазоне: Во-ло-дя.

– Я, кажется, задремал, – сказал Густов. – О господи, когда кончится эта тьма

египетская! Ты здесь, мой железный друг?

Ему что-то снилось. Было много света, шум прибоя, хотя моря он не видел, и Валентина уходила, звала его с собой, но он почему-то не мог сделать и шага, слезы катились у него по щекам, детские крупные и горячие слезы, а она уходила в шум прибоя и уже больше не звала его.

Сердце его колотилось, холодная испарина покрывала лоб. Где был сон, а где реальность? Не мог же быть явью ночной загустевший мрак, мертвящая тишина. И железный его спутник тоже не мог быть явью. Но и Валентина, звавшая его с собой в шум прибоя, тоже существовала в другом измерении.

«Надо говорить, говорить, – думал Густов, – а то опять сейчас эта густая темнота навалится душащим покрывалом, я начну опять метаться, мне будет казаться, что я схожу с ума».

Он почувствовал, как к его щеке бесконечно осторожно прикоснулась холодная металлическая клешня, и прикосновение было ему приятно, успокаивало. Он поднял руку, нащупал клешню и погладил ее.

* * *

Двести семьдесят четвертый получил приказ явиться на проверочный стенд. Он подтвердил его и включил двигатели.

Странно, думал он, он уже был сегодня на проверке и получил разрешающий штамп. Наверное, его хотят использовать для изготовления новых программ, никто так не знает реакции, которые наблюдаются у пришельцев, как он. Он ведь изучает их.

Но каким-то краешком сознания он понимал, что не для этого вызвали его. Вызвали его из-за исчезновения одного из пришельцев. Если бы он только не растерялся, когда Густов вдруг кинулся к выходу и проскользнул под его рукой... Так просто было опустить руку и преградить ему путь.

Мозг, их Мозг и Создатель, доверил ему важнейшее задание, а он не оправдал доверия. И до сих пор пришельца еще не нашли, хотя все кирды, и он в том числе, получили приказ немедленно доложить, если заметят его.

Он вошел в длинный зал проверочного стенда. Рабочий день давно закончился, все кирды прошли проверку и переналадку, и сейчас на стенде никого не было, за исключением трех кирдов, которые молча уставились на него.

Зал был пустой и гулкий, и тяжелые его шаги звучали нелепо громко. Он шел мимо проверочных машин, и их гибкие тестеры таили, казалось, угрозу. Сейчас они распрямятся, захлестнут его, тишину расколуют на тысячи осколков их пронзительные сигналы: «Деф, деф!»

Как хорошо было раньше, подумал он, когда не было в них страха, когда не думали они о том, что сделали и что их ждет.

– Ты Двести семьдесят четвертый? – спросил его один из кирдов.

– Да, но... – Двести семьдесят четвертый хотел было спросить, почему кирд обращается к нему по главному каналу связи, которым имеет право, пользоваться только Мозг, но кирд оборвал его:

– Никаких «но». Отвечай на вопросы.

Двести семьдесят четвертый знал свою вину. Он знал, что совершил преступление, непозволительно выпустил из круглого стенда пришельца, и готов был отвечать перед Мозгом. Но как смеет этот кирд так разговаривать с ним...

– Кто ты? – спросил Двести семьдесят четвертый. – Кто дал тебе право...

– Замолчи, – сурово молвил кирд. Он думал. Он не хотел говорить этому жалкому крестину, что он Мозг.

Мозг должен оставаться для кирдов чем-то непостижимым, он не должен походить на них. Он должен внушать ужас и любовь, а для этого он должен быть вне их понимания. Настоящий ужас и настоящая любовь нуждаются в тайне. Организация их общества слишком примитивна. Общество, в котором есть высший Создатель, а все остальные равны, не может быть достаточно гибким. Раз появился страх, должны быть объекты, внушающие страх. Между высшим Создателем и рядовыми кирдами должны быть посредники. Пусть они не внушают любовь, любовь должна быть направлена только на Мозг, но страх должны внушать и посредники.

– Я обращаюсь к тебе от имени Создателя. Именно поэтому я пользуюсь главным каналом связи. Ты понимаешь, кирд?

Мозг никак не мог привыкнуть к новому ощущению реальности, которое испытывал с момента, когда включилось сознание его слепка. Большой мозг воспринимал реальный мир как некую абстракцию, понятие, нечто непосредственно не ощущаемое. Когда он связывался с каким-нибудь кирдом, реальный мир обретал форму, ту форму, которую воспринимал и ощущал связанный с ним кирд. Но так как чаще всего Мозг получал информацию одновременно от нескольких кирдов, реальность воспринималась им как серия различных образов, которые он сам складывал в более общую картину, картину бесконечно более сложную, многомерную и многовременную.

Теперь же Слепок – так он мысленно называл себя воспринимал информацию, поступающую всего от четырех своих глаз, и окружающий его реальный мир необыкновенно упростился, странно сжался до трех измерений, но зато приблизился к нему.

Двести семьдесят четвертый колебался. Никогда еще ни один кирд не обращался к нему так грубо. Он даже не был стражником, этот кирд, на теле его не было отличительного креста, но он действительно пользовался главным каналом, тем, по которому он всегда получал приказы свыше. Если бы только не этот главный канал, который всегда повелевал и которому он всегда беспрекословно подчинялся, он бы кинулся на кирда, сшиб его с ног, и грохот упавшего тела был бы сладостен, но главный канал связи... Он словно связывал его.

– Я понимаю, – смиренно пробормотал он.

– Хорошо. Отвечай на вопросы. Но долго не раздумывай, ничего не изобретай и не приукрашивай, говори только правду. Оставь ложь презренным дефам. Для чего ты выпустил пришельца?

Прав, прав он был, тоскливо подумал Двести семьдесят четвертый, именно для этого призвали его сюда.

– Я его не выпускал, он сам проскочил у меня под рукой и удрал.

– Ты любишь своего Создателя?

– Да! – вскричал Двести семьдесят четвертый.

– Тебе ненавистны дефы?

– Да, я ненавижу эти порождения темного хаоса!

– Хорошо, кирд. Ты хорошо ответил, – кивнул Слепок, – но зачем же ты уподобляешься им?

– Я?

– Ты, ты, Двести семьдесят четвертый. Ты лжешь.

– Я... – Двести семьдесят четвертому так хотелось, чтобы Мозг понял всю его преданность, всю его ненависть к дефам, все его раскаяние, что он не сразу нашел нужные слова. Не всякое слово годилось ему сейчас, нужно было найти такие емкие и гулкие, сильные и точные, чтобы у Создателя не было никаких сомнений. – Я... – снова повторил он, – не лгу.

Нет, нет, замечались испуганные мысли по его логическим схемам, нет, не нашел он нужных слов, не так сказал. Он посмотрел на странного кирда, что стоял перед ним, и отвел взгляд.

– Тебя спасает только то, что ты лжешь неумело. Это доказывает, что ты не очень опытный нарушитель закона. Скорее всего, ты только недавно вошел в сговор с дефами.

– Нет, нет! – крикнул в отчаянии Двести семьдесят четвертый.

– Может быть, – продолжал Слепок, – ты даже не очень виноват, агенты дефов хитры, они умеют прикидываться благонамеренными кирдами. Так, Двести семьдесят четвертый?

– Да, они хитры, – согласился кирд. Голова его шла кругом, и страх накатывался на него холодными, липкими волнами.

– Ну, вот видишь, – довольно кивнул Слепок, – а ты отрицал. Расскажи, кирд, когда и как дефы в первый раз установили с тобой контакт?

Начав допрос, Слепок еще ни в чем не был уверен. Ему скорее даже казалось, что пришелец действительно случайно улизнул из круглого стенда, но нужно было на всякий случай раскатать Двести семьдесят четвертого, вывести из себя, так чтобы он ничего не мог скрыть, если ему было что скрывать. Но он увлекся допросом, ему нравилось, как ловко он атакует со всех сторон растерявшегося кирда, и теперь он уже сам начинал верить тому, что вкладывал в уста Двести семьдесят четвертому.

Двести семьдесят четвертый зачем-то дернулся, словно намеревался бежать, остановился, поднял руки, опустил их. Как, как объяснить так, чтобы ему поверили? Как доказать, что он полон любви к Создателю и никогда ни с какими дефами не яхшался? Он всегда был добропорядочным кирдом, даже до перенастройки, и тотчас доложил бы о любом дефе, которого встретил. Будь проклят этот пришелец, этот жалкий комочек слабой плоти, этот ничтожный сгусток слизи!

– Я никогда не встречал ни одного дефа, – тихо молвил он.

– Может быть, у тебя плохо функционирует память? – участливо спросил Слепок.

– Нет, – сказал кирд.

– Тогда, может быть, ты просто не понял, что имеешь дело с дефом? Подумай, кирд, подумай. Ты ведь не хочешь огорчать Создателя, так?

– Так, так! – пылко крикнул Двести семьдесят четвертый.

– Тогда подумай.

Двести семьдесят четвертый начал судорожно проверять свою память. Если бы он действительно вспомнил, как к нему подкатывались тайные дефы. Мозг был бы доволен. Он был бы доволен, что Двести семьдесят четвертый не скрывает от него ничего, что на него можно положиться. Только бы вспомнить. Вращались магнитные кольца его памяти, его мозг считывал с них все, что было запечатлено в них, но он не мог найти того, что искал. Ему страстно хотелось найти тайного дефа. Он передавал результаты исследований пришельца Шестьдесят восьмому и Двадцать второму, которые кодировали их для встройки в новые программы. Это был приказ, и он лишь выполнял его. Но они... Что они? Он так страстно желал найти в них признаки тайных дефов, что почувствовал, как разогревается его мозг. Но они же здесь! Как мог он пропустить в свой мозг заведомый вздор! Они здесь, и странный властный кирд, говоривший от имени Мозга, ни в чем их не подозревает. И если он назовет их дефами, они могут решить, что сам он деф. Они накинутся на него, сухо и страшно защелкают откидываемые запоры, с него сорвут голову, жадно чавкнет пресс. А может быть, их специально позвали сюда, чтобы проверить его. О Создатель всего сущего, научи, подскажи, как поступить...

– Долго же ты думаешь. Двести семьдесят четвертый. Тебя, наверное, действительно завербовали не так давно, даже не научили как следует выдавать себя за благонамеренного кирда, вот ты и прикидываешь, что сказать, как половчее обмануть посланца Мозга, а стало быть, и сам Мозг. Так, кирд? Лучше уж признайся сразу, видно хоть будет, что раскаялся. Если ты, конечно, раскаиваешься.

Двести семьдесят четвертый начал медленно опускаться на колени. Кирды редко становятся на колени, поэтому делал он это неловко и чуть было не потерял равновесие. Он покачнулся и протянул руки в мольбе:

– Я не деф!

– Ты деф, ты тайный деф.

– Нет, я...

– Если ты действительно любишь своего Создателя, ты не должен спорить.

– Но я...

– Молчи, кирд. Кто лучше знает: ты, жалкий кирд с маленьким поврежденным умом, куда проникло предательство, или Мозг, создающий и управляющий всем миром? Отвечай.

Все смешалось в логических схемах Двести семьдесят четвертого. Мысли, которые когда-то текли в его мозгу четким потоком, сбились сейчас в кучу, тяжело ворочались, не в состоянии выбраться из мучительного клубка. Он больше ничего не знал, ничего не понимал.

– Так кто же лучше знает, ты или Создатель?

Мозг, конечно же. Мозг. Создатель потому и Создатель, что создал всех, всех знает, всех понимает, всех любит. Он поймет, он простит.

– Создатель знает все.

– Ну, вот видишь, – довольно кивнул посланец Мозга, – вот ты и признался. – Он посмотрел на Шестьдесят восьмого и Двадцать второго. – Снимите ему голову и как следует проверьте ее, всю обыщите, все перешупайте, не оставьте ни одной мыслишки. Поняли?

– Так точно, – сказал Шестьдесят восьмой.

– Так точно, – вторил ему Двадцать второй.

Они не стали ожидать, пока Двести семьдесят четвертый сам начнет отсоединять свою голову от туловища, как это обычно делают кирды при переналадке, этот деф ни на что не был сейчас годен, стоит на коленях, словно у него совсем пусты аккумуляторы, и раскачивается, того гляди, рухнет на пол, подымай его тогда.

Сухие щелчки откидываемых запоров отсчитывали последние мгновения его бытия. Оно кончалось. Страх уплотнился в нем, загустел, превратился в ужас. Надо было вскочить, бежать, спрятаться, но страх обессилил его. Почему-то он сейчас думал о пришельцах. И не было в нем ненависти к Густову, который удрал из стенда. Ему почему-то вдруг остро захотелось, чтобы рядом были остальные двое, Надеждин и Марков. Когда он стоял тогда, растерянный и нерешительный, он чувствовал, что они жалели его. Странно, что в последние мгновения бытия он думает не о Создателе, а о пришельцах. Он даже не заметил, когда сознание его отключилось.

Шестьдесят восьмой и Двадцать второй не разговаривали между собой, они столько раз проделывали эту операцию, что каждое движение давно уже приобрело законченность и автоматизм. Один за другим подсоединяли они к проверочным клеммам головы Двести семьдесят четвертого различные тестеры. При обычной утренней проверке достаточно одного тестера, который дает или не дает дневной разрешающий штамп. Но на этот раз приказ требовал полной проверки, и они не оставляли непроверенной ни одну мысль, ни один образ, ни одну единицу памяти.

Они работали быстро, не глядя на дисплей, потому что до появления сигналов на дисплее любая подозрительная информация заставляла бы прозвучать звуковую тревогу. Тестеры были умными машинами с емкой памятью и мгновенно сравнивали содержимое проверяемых голов со стандартными образцами, заложенными в них.

Мозг гордился проверочной системой. Когда он создавал ее, он все время думал о вертах с их жалкими мозгами, каждый из которых всю жизнь барахтался под тяжким грузом собственных мыслей, собственных воспоминаний, собственных идей. Это был хаос, и он в конце концов раздавил вертов.

Цивилизация кирдов была несравненно выше. Кирду не нужно было тратить силы и время на создание и хранение индивидуальных мыслей и образов. Это удел низших цивилизаций. Кирд пользовался готовой информацией. Общая информация, которой Мозг наделял каждого из кирдов, лишала их индивидуальности, а потому и слабости. Они были взаимозаменяемы, и Мозг гордился ими.

Постоянная смена образцов, их изменение, корректировка были, конечно, сложной задачей, но Четыреста одиннадцатый, который отвечал за образцы, был опытным работником.

– Ну, что? – спросил нетерпеливо посланец Мозга.

- Сейчас заканчиваем, – сказал Шестьдесят восьмой. – Пока все соответствует норме.
 - Гм... соответствует? Вы все проверили?
 - Так точно, – кивнул Двадцать второй. – Мы закончили, голова чиста.
 - Вы можете воссоздать образы его памяти? – спросил посланец Мозга.
- Шестьдесят восьмой и Двадцать второй одновременно ответили:
- Да, но расход энергии...
 - Вас не спрашивают о расходе энергии. Включите синтезатор образов.

Шестьдесят восьмой взял голову Двести семьдесят четвертого, перенес ее в небольшую машину, стоявшую в стороне от длинного ряда тестеров, зажал в фиксаторах. Послышалось еле слышное низкое гудение, и в полутемном пустом зале проверочного стенда начали возникать фигуры. Вначале вздрогнули, заплясали короткие цветные всполохи, начали сгущаться, замедлили свой танец, налились цветом, приобрели окончательную форму. Несколько мгновений они еще подрагивали, словно никак не могли оправиться от изумления, затем застыли в машинном спокойствии и тупо двинулись по залу – яркие привидения, электронно похищенные из электронных мозгов и электронно воссозданные. Они то шли в медленно молчаливой процессии, неслышно скользя над полом, то замирали, повинаясь знакам посланца Мозга.

- Быстрее, – приказал он, – это не интересно. Я хочу видеть круглый стенд.

Образы, извлеченные фантомной машиной из памяти Двести семьдесят четвертого, испуганно дернулись, помчались стремительной каруселью. Проносились кирды, и движения их, ускоренные машиной, были забавны, но никого они не сместили. Ускоренная речь фантомов превратилась в щебет, но вот, наконец, появились пришельцы.

Мозг уже видел их не раз, но теперь, считанные машиной из памяти Двести семьдесят четвертого, они казались особенно нелепыми и жалкими. «Биологическая стадия развития, – отметил он не в первый раз, – почти животные». Странно было, что ему приходилось обращаться к столь низко организованным существам за новыми идеями.

Мозг не знал понятия «гордиться» хотя бы потому, что никогда ни с кем себя не сравнивал. Ему не с кем было себя сравнивать, он был началом и концом всего сущего, он был творцом своего мира, он был единственной точкой отсчета. И если он брал нечто у этих двуногих животных, то не потому, что они были лучше, не потому, что они обладали большей мудростью, чем он, а наоборот, они были ближе к бессмысленной живой природе, дальше от стройной логики мира кирдов. И введение их примитивных реакций Мозг считал вынужденным шагом назад. Да, кирды были совершенны, но они пока еще не были достойны его сияющего и могучего интеллекта.

Но все равно совет Круса был ценным. Они еще не закончили изучение пришельцев, еще только малая часть их реакций была проанализирована, закодирована и встроена в новые программы кирдов, но мир, его мир, уже сдвинулся с места, усложнился, начал приобретать динамику.

Мозг не испытывал чувства благодарности ни к Крусу, ни тем более к пришельцам. Он не знал этого чувства. Это была просто новая информация, такая же, как сведения о силе ветра, о работе энергоцентра, о напряжении магнитного поля, сфокусированного в луч, который поймал корабль пришельцев, о количестве кирдов, выполнявших в любой момент его приказы или впавших во временное небытие.

Конечно, многое еще придется отлаживать, отсекай лишнее. Целый мир – система необыкновенно сложная, и если даже отдельные кирды иногда дают сбой, то что говорить о целой цивилизации. Главное, чтобы цивилизация была саморегулирующейся, чтобы сама ее организация включала в себя нужные движущие силы.

Мозг сосредоточился на фантомах, создаваемых машиной в полутемном зале проверочного стенда. Вот открывается дверь, в проеме появляется Двести семьдесят четвертый. Один из пришельцев стремительно бросается к двери, нагибает голову и проскакивает под рукой кирда.

- Достаточно, – скомандовал слепок Мозга, фантомы тотчас же исчезли, и темнота

сразу выползла из углов зала.

Они ничего не нашли, хотя перешукали и просмотрели все содержимое памяти Двести семьдесят четвертого. Все соответствовало стандартам: он не был дефом. И не доложил сразу о побеге пришельца только из страха. Что ж, страх – тонкая реакция, они еще не очень хорошо умели ею пользоваться, но реакция, безусловно, необыкновенно полезная. Страх и любовь. Совсем, казалось бы, реакция нелепая, которой нет места в мире логики; немудрено, что он никогда не сумел бы изобрести ее, если бы даже хотел. Нелепая, нелогичная, но в высшей степени плодотворная. Интересно, как этот кирд, твердо зная, что никогда не был дефом, что никогда ни один деф не входил с ним в контакт, уже готов был признаться в обратном? Только ли из-за страха? Или больше движимый любовью к нему, к своему Мозгу, своему Создателю? Прекрасное чувство, очень нужное чувство. Обычный кирд, который раньше был просто четкой машиной, умеющей лишь выполнять приказы, оказывается, теперь способен на гораздо более изощренные действия. Из-за любви к Создателю он готов поверить в то, чего не было, увидеть то, что видеть не мог.

Конечно, думал Мозг, здесь таится и опасность, ибо он, Мозг, может нести на себе бремя целой цивилизации, только получая точную и надежную информацию. Но преимуществ было явно больше.

Мозг никогда не работал из-за благодарности, он был выше любых чувств, он даже не рассматривал мысль о том, что любовь кирдов была ему приятна, он бы тут же отбросил ее как недостойную его интеллекта, он просто отмечал, что любовь эта сулит большую изощренность его миру, а потому чрезвычайно полезна.

В конце концов, думал Мозг, цивилизация – это сумма побудительных мотивов каждого из разумных существ, входящих в нее. Он всегда верил, что разум всеобъемлющ, что он включает в себя все, что потребно цивилизации. Он не отказывался от своих убеждений. Он просто пришел к выводу, что интеллект кирдов оказался слишком слабым для создания подлинного царства логики, мира строгого, четкого, кристально прозрачного в своей предсказуемости, мира, противостоящего черному хаосу слепой живой природы. Перед ним – и он это уже понимал – было два пути. Можно было совершенствовать интеллект кирдов, пока он не сравняется с его интеллектом. Но это был абсурд. Он был началом и концом всего, а мир не может состоять из множества начал и множества концов. Он был воплощением высшей мудрости, а цивилизация не может состоять из множества источников высшей мудрости, ибо высшая мудрость одна. Сделать кирдов носителями высшей мудрости значило уподобить их ему, а это было невозможно хотя бы потому, что они просто-напросто слились бы с ним в единое существо. Оставался второй путь, прямо противоположный, – отдалить кирдов от него, отдалить их от высшей логики, сделать шаг назад и приблизить их к живой природе. Конечно, рассуждал Мозг, это шаг к хаосу, шаг к дефам, и ему придется всячески совершенствовать в кирдах ту нелепую любовь, что машины выудили из жалких мозгов пришельцев. Любовь к нему, к Создателю, и была лучшей защитой от дефов.

Кирды сняли голову Двести семьдесят четвертого с синтезатора образов и молча стояли, ожидая приказаний.

– Поставьте голову на место и включите его, – приказал Слепок.

Было, было нечто в этом Двести семьдесят четвертом, что заслуживало внимания. Страх, любовь и стремление услужить своему Создателю. К тому же он был проверен, прошупан, просвечен, просмотрен, как никто. И это одно уже выделяло его. Ему можно было доверять. В основном изучение пришельцев было закончено, его можно было поручить любому кирду. А вот усилить бдительность, заставить всех стражников яростнее выискивать и уничтожать дефов – это было в тысячу раз важнее. Особенно сейчас, при смене программ, при все усложняющихся стандартах поведения кирдов, когда определить дефа уже не так просто, как было раньше.

На мгновение Мозгу стало жаль того простого и ясного мира, в котором каждый шаг каждого кирда был заранее предсказуем, расчерчен, выверен, в котором не было места

отвратительной неопределенности. Но тот мир зашел в тупик. Нужно было двигаться, ибо цивилизация не может стоять на месте.

Двести семьдесят четвертый вышел из временного небытия и стоял перед Слепком. Горячая благодарность захлестнула его. Он существует. Голова его возвращена ему, а не брошена под пресс. Он совершил страшное преступление, он вовремя не доложил, но его простили! Не столкнули в черную пропасть вечного небытия, а вернули. Они поверили ему! Мозг увидел, как чист он перед ним, как всегда говорил, только правду. Увидел, поверил и простил. Все, все, что угодно, он готов сделать для него. Он вспомнил страх, что клубился в нем, и ему стало стыдно. Как он мог хоть на мгновение усомниться во всеобъемлющей мудрости Создателя? Он испытывал восторг. Никогда раньше ничего подобного он не знал, и чувство было сильным и горячим. Ему казалось, что температура его схем повысилась. Это было новое чувство, реакция взаимодействия любви и страха, из острых когтей которого он только что выскользнул.

– Двести семьдесят четвертый, – торжественно сказал уже не Слепок, а сам Мозг, – я вижу, что ты чист передо мной. Ты совершил ошибку, ты позволил ускользнуть одному из пришельцев, но это была просто ошибка. Ты раскаиваешься в ней, и это хорошо.

Дефы всегда бросали нам вызов, а особенно опасны они становятся сейчас, когда мы меняем программы кирдов. Они чувствуют, что мы скоро расправимся с ними, и потому готовы на все. Они все чаще проникают в город. До сих пор никто не доложил мне о пришельце. Это может значить только одно: он в руках у дефов.

Двести семьдесят четвертый, с этого момента ты становишься главным стражником города. Это значит, что все стражники будут подчиняться тебе. Тебе встроит еще один канал специальной связи, и в любое мгновение ты сможешь связываться с любым стражником, давать приказы и принимать рапорты. Ты согласен?

Двести семьдесят четвертый молчал. Он знал, что должен ответить: нужно сказать всего лишь одно коротенькое слово «да», но благодарность, любовь, гордость бушевали в его логических схемах с такой силой, что он не сразу смог вымолвить это слово. Наконец он сказал:

– Да, Создатель, я хочу впасть в вечное небытие, служа тебе.

– Похвальная готовность, но ты нужнее мне в бытии, пусть в небытие впадают наши враги.

* * *

Стражник Пятьдесят второй С медленно шел по ночным улицам. Ночь – любимое время дефов. Эти порождения хаоса знали, что ночью их заметить труднее. Они ухитрились как-то охлаждать тела, перед тем как пробраться в город, и поэтому их было трудно заметить даже в тепловом диапазоне.

Пятьдесят второй С был опытным стражником, он знал, что в любое мгновение на него могут наброситься дефы. Когда им позарез нужны аккумуляторы, они теряют всякую осторожность. На склады они нападают редко, на производственный центр – еще реже, они знают, что им не совладать с охраной, вот и кидаются с отчаяния на отдельных стражников. Кинутся, вырвут трубку (оружие они любят, эти чудовища), вытащат аккумулятор – и поминай как звали.

Слава Создателю, с ним такого еще не случалось. А Семьдесят первый С попался. Вот так шел в ночном патруле, его и подкараулили. Сам виноват, забыл, что по правилам в ночном патруле нужно идти по самой середине улицы. Потому что прятаться деф может, скорее всего, где-то в здании. Вот и нужно, чтобы ему потребовалось больше времени на атаку. Чтоб стражник успел выстрелить. Поэтому-то и полагается в ночном патруле держать трубку наготове.

И где этот пришелец может быть, один Мозг знает. И Мозг не знает, поправил он себя.

Знал бы – не погнал бы всех стражников на поиски. Даже аккумулятор не успел сменить.

«Станный я сегодня какой-то, – подумал Пятьдесят второй С. – И улицы какие-то другие. И темнее, чем всегда. И кажется, кажется, что в каждом пятне черноты притаился деф, поднимает уже трубку, вот-вот сверкнет луч, вопьется мне в голову. И все. Интересно, – подумал он, – успеешь ли увидеть луч, прежде чем рухнешь наземь?» Он вздрогнул. Глупости какие-то лезут ему сегодня в голову. Это, наверное, новые программы... И это было непривычным: никогда раньше не думал он о новых программах, которые не раз и не два вводили в них. Но Создатель знает, что им лучше.

Подумав о Создателе, стражник почувствовал, что темнота словно бы стала не такой густой, улица раздвинулась и страх нападения уже не придавливал его плечи тяжким грузом. Слава Создателю...

Ночной ветер с воем и визгом катился по пустым улицам, нес пыль и мусор, и Пятьдесят второй С подумал, насколько приятнее было бы стоять сейчас в своем загончике погруженным во временное небытие. Стой себе и стой, пока команда не призовет тебя к активному действию.

Внезапно он услышал голос по главному каналу связи. Голос был незнакомый. Это было странно. Только Создатель мог пользоваться этим каналом, отдавая приказы.

– Вниманию всех стражников, – гремел голос, и Пятьдесят второй поморщился: «Чего он орет?» – С вами говорит ваш начальник Двести семьдесят четвертый. По приказу нашего возлюбленного Создателя отныне вы все подчиняетесь мне, выполняете мои приказы и докладываете мне, пользуясь главным каналом связи. Не хочу вас пугать, стражники, но мы живем в опасное время, дефы поднимают свои отвратительные головы, они постоянно пытаются проникнуть в город. Мы должны уничтожить их, чтобы на планете не осталось этого порождения хаоса. Те, кто будет честно выполнять свой долг, всегда будут чувствовать нашу поддержку, всегда будут иметь свежие аккумуляторы. Но те, кто привык к безделью, кто не хочет думать и искать врага повсюду, пусть готовят свои головы для прессы.

Сейчас ночь, но я держу канал связи открытым, и пусть все стражники, что несут сейчас дежурство, помнят о своем долге и прессе, в который мы будем безжалостно засовывать головы нерадивых.

Напоминаю: главная задача сейчас – поиски пришельца. Последним его видел Пятьсот восемьдесят седьмой у шестьдесят девятого дома. Тот, кто найдет пришельца, больше не будет рядовым стражником, какими вы все были раньше. Наш Создатель особенно ценит и любит стражников с быстрым умом, внимательных и бесстрашных, и лучшие из вас получают второй крест, по десять стражников в свое подчинение и вволю сильных аккумуляторов. Отныне каждый свой приказ я буду кончать словами: «Слава Создателю», и каждый свой доклад вы тоже будете кончать этими же словами. Слава Создателю!

Пятьдесят второй С почему-то вспомнил Семьдесят первого С. Сколько раз дежурили вместе – и на охране склада, и на охране производственного центра. Хороший был стражник, такой основательный, неторопливый. Слова лишнего никогда не скажет, вопроса лишнего не задаст. И вот, пожалуйста, сунули голову под пресс.

Конечно, не каждого дефа сразу различишь. Некоторых – тех сразу видно: слова всякие, вопросы нескладные, задумчивость... А есть такие, говорят, что и рядом не определишь. Вроде все делает правильно, молчит, пока не спросят, а внутри – деф паршивый. Да... Надо ухо держать востро, а то... Иди потом, оправдывайся. Скажут, пособник дефов. И... Говорят, пресс как сожмет, так из головы только блин плоский получается. Прыткий этот новый начальник... Интересно, как это получается? Был просто кирд, даже без индекса С, значит, когда его делали, не имели в виду службу стражника, и вот на тебе: командует ими всеми. А они что, должны по ночам бродить так вот, слушать завывания ветра и следить, как бы каким шальным камнем не повредило глаз, да еще каждое мгновение ожидать, что какой-нибудь деф скакнет из тьмы тебе на плечи, а они... Ладно уж, чего там...

Он оглянулся. Дом шестьдесят семь. Значит, где-то здесь неподалеку в последний раз

видели пришельца. Хорошо бы найти его, показать этому новому начальничку, что кое-что стражники, настоящие стражники, умеют. Как он сказал: получают второй крест, десять стражников в подчинение и вволю аккумуляторов. Это значит, он тоже будет отдавать приказы. Мол, сделай то-то и то-то. Иди туда-то и туда-то. Интересно бы... А что, и он запросто смог бы командовать...

Может быть, нужно проверить окрестные дома. Пройти по ним и посмотреть, кто в них. Может, где и притаился этот пришелец, а то и деф какой-нибудь. Распознать дефа будет нетрудно. Его тестер сразу запищит, если на кирде не будет дневного разрешающего штампа. Тут дело простое: нет штампа – значит, деф. Кирду-то чего бояться проверки. Кирд без проверки быть не должен. На то и штамп. Со штампами хорошо: все ясно. А не было бы проверки и штампов – иди разберись. Раньше, правду сказать, было лучше. Заметил, что кирд остановился, оглядывается, считай – деф. Хорошему кирду задумываться нечего. Теперь позакковыристее, это уж точно. Понапихали новых программ, и не разберешься без штампа, кто кирд, а кто свихнулся.

М-да-а... Хорошо бы, конечно, найти этого пришельца. И сообщить: так, мол, и так, докладывает стражник Пятьдесят второй С, ваше приказание выпол... нет, скажу, воплощено в жизнь, так даже интереснее. Пусть видит, что у стражников схемы не хуже, чем у обычных кирдов, а то, пожалуй, и получше, вон какие обороты он знает.

Но как его отыскать, этого пришельца? Болтался бы он просто на улице, его давно заметили бы. А раз новый начальник говорит «ищите», значит, не нашли. В доме, не иначе, прячется. Хотя, если подумать, это странно. Соседи бы заметили. А может, и не заметили. Ночь ведь уже, большинство стоят себе спокойненько во временном небытии, стоят и ничего не знают, ни о чем не думают, ни о чем не беспокоятся, ничего не боятся. Стоят и стоят – красота. М-да-а...

Странный он какой-то стал, снова подумал о себе Пятьдесят второй С. Раньше и задумываться не стал бы. Раз приказали искать – он бы и искал. Не то что в дом – в логово к дефам забрался бы. И ни одного глаза не выключил бы. А теперь хоть проси кого-нибудь втолкнуть себя в дом, до того не хочется входить в черноту эту. Да и не в темноте дело. Что ему темнота, какая ему разница, в оптическом диапазоне видит он или в тепловом? Страшно. А если деф в доме? Тут и повернуться не успеешь, как он уж на тебя кинется. М-да-а... И под пресс. Раньше никогда об этом прессе, слава Создателю, не думал и не помышлял. А теперь из головы нейдет. И вроде бы, казалось, что страшного? Это, говорят, как временное небытие, только уже больше никогда не призовет тебя команда к действию, больше никогда не увидишь оранжевое светило, не услышишь вой ветра по ночам и шорох камешков. М-да-а-а...

– Внимание стражников в ночном патруле, – внезапно услышал он слова нового начальника. – Приказываю проверять все дома в районе, где в последний раз видели пришельца. Те стражники, кто заметит других стражников, не входящих в дома для проверки, а лишь идущих по улице, должны сразу докладывать мне. Стражник, по-настоящему любящий своего Творца, должен иметь не четыре глаза, а восемь, везде должен видеть нерадивых, не говоря уже о предателях. Тех же, кто будет смотреть в восемь глаз, Мозг заметит и отметит. И хочу вас обрадовать, стражники. Мозг даровал нам право периодически просматривать содержимое ваших голов. Вы все знаете, сколько энергии идет на воссоздание фантомов. Но Создатель так высоко ценит вашу службу, что пошел и на такие энергетические затраты. А это большая честь, стражники, большая честь, когда содержимое ваших голов тщательно изучается. Пусть будничная проверка на стенде останется для рядовых кирдов: раз, два, подключили, проверили, хлоп штамп – иди, кирд, выполняй приказы нашего великого Творца. Ваши же головы мы изучим не торопясь, каждый уголок обыщем, все прощупаем, все перетряхнем. И пусть мысль об этом благодеянии любимого нашего Мозга поможет вам в славной борьбе с гнусными дефами.

«Вот тебе и Двести семьдесят четвертый! – думал Пятьдесят второй С. – Казалось бы, даже без индекса, а все понимает, будто уже у меня в голове копался. Как это только

понимать: смотреть в восемь глаз? У нас ведь их только по четыре. Может, новые головы будут ставить? С восьмью глазами. Да нет, услышал бы... Может, он хочет сказать, чтоб смотрели как следует. Да, наверное, так оно и есть. Сейчас появится какой-нибудь стражник, увидит, как я иду по срединке улицы, приняхается и тут же: «Ага, вон он, Пятьдесят второй С, прохлаждается, гуляет себе...» М-да-а...

Он сделал усилие, прибавил обороты и вошел в дом семьдесят. Не хотелось входить, не хотелось, но нужно. Он медленно двинулся по центральному проходу. Остывавшие стены еле светились, еле светились и погруженные во временное небытие кирды. Ишь как быстро остывают, подумал стражник. Хорошо, утром светает, а то как совсем остынут к утру, так и вообще не различил бы их. Он осторожно шел по проходу и слушал, как щелкает его тестер, считывая магнитные разрешающие штампы. Не щелкнул... Это что еще?.. Он замер, всматриваясь. Да нет, просто пустой загончик, слава Создателю. Стражник дошел до конца прохода, вышел на улицу. После грозной тишины дома свистящее завывание ветра и шуршание камешков успокаивало.

Нет, наверное, улизнули дефы с пришельцем. И хорошо. Нет, поправил себя стражник, странно он думает, чего ж тут хорошего, если какие-нибудь грозные чудовища благополучно унесли из города свои свихнувшиеся головы! Такие мысли надо гнать, гнать и не впускать. А то подсоединят к фантомной машине, тут и выскочит мыслишка, пойдет маршировать по залу: хорошо, мол, что дефы улизнули. Ага, давай, стражник, голову под пресс. М-д-да-а...

Он вошел в дом семьдесят один. Снова защелкал тестер. Да, это они насчет фантомных машин ловко придумали. Следить, следить, что думаешь. Не распускать мысли, чтоб они не бегали, как маленькие туни на нагретых развалинах, а чтоб шли четко, одна за другой, и только нужные, правильные, четкие. Чтоб в любой момент сказать: «Вот я чист перед вами, слава Творцу...»

Что-то привлекло его внимание. Но что? Он сделал несколько шагов назад. Ага, как-то странно щелкнул тестер. То щелкал размеренно: щелк, щелк, щелк, а то – щелк-щелк. Он полностью раскрыл диафрагму глаз, до предела увеличил чувствительность. О Создатель, неужели же ему так повезло? В глубине загончика за двумя кирдами он увидел неясное светящееся облачко, какой-то предмет походил на маленького кирда, да еще сидящего.

Он поднял трубку. Если бы кирд был один, он бы успел нажать на кнопку, он уже видел второй крест на груди, уже видел новых своих подчиненных, ждущих приказов, ЕГО приказов. Но кирдов было двое, и на короткое мгновение стражник замешкался – в кого стрелять сначала? Этого было достаточно, чтобы один из кирдов успел выбить у него из рук трубку. Трубка звякнула о пол. Стражник инстинктивно нагнулся, чтобы поднять ее, он ясно видел алеющий огонек рядом со своей ногой – стражник никогда не должен расставаться со своим оружием, это правило навсегда встроено в его логические схемы, – но в этот момент сильный удар в голову заставил его покачнуться. Алый огонек быстро взмыл с пола, и стражник понял, что его трубка уже в чужой руке. Он хотел было броситься вперед, но его крепко обхватил другой кирд.

– Стреляй же, – прошептал Четыреста одиннадцатый, – не бойся, в меня ты не попадешь. Что ты делаешь, почему не стреляешь, Иней?

Иней одной рукой схватил стражника за шею, другой высоко поднял трубку, прижал ее к темени противника и нажал на кнопку. Выстрел был таким коротким, что они почти не увидели светового всплеска.

– Как ты странно выстрелил, – сказал Четыреста одиннадцатый.

– Я не хотел полностью разрушить его мозг.

– Но ты выстрелил все-таки.

– Мы знаем место, я потом научу тебя, как меня когда-то научил Рассвет. Есть такая точка, если направить на нее луч трубки, кирд остается цел, он лишь теряет оперативную память, она разрушается. Отпусти его, не держи...

– Ты уверен, Иней?

– Не бойся, мне это уже приходилось делать. Отпусти, отпусти, он не упадет.

– Да, но... И он останется стоять?

– Да.

– Здесь?

– Он ничего не будет помнить.

– Все равно его не должны найти здесь.

– Почему? Какая разница? Мы же уйдем.

– Ты уйдешь и заберешь с собой пришельца.

Я останусь.

– Ты останешься?

– Да, Иней. Я понял, что не смогу уйти. Я слишком ненавижу их, чтобы уйти от них.

– Не понимаю.

– Ты добрый, Иней, ты не понимаешь, что такое настоящая ненависть. У меня есть план. К тому же вам – то есть я хотел сказать «нам» – нужен свой деф в городе.

– Да, но...

– Так нужно, Иней, так будет лучше. Но нельзя, чтобы стражники нашли его здесь, около моего загончика. – Четыреста одиннадцатый приблизил свою голову к голове Инея и продолжал: – Ты уверен, что он не запомнит того, что слышит?

– Совершенно уверен.

– Может быть, лучше проплавить ему голову как следует, чтоб не было риска.

– Мы стараемся не убивать, если можно избежать этого. Дай, я его просто выведу на улицу и оставлю у другого дома.

– Нет, Иней, это сделаю я. А у тебя сейчас есть оружие, бери Володю и беги.

– Хорошо, друг.

– Что такое друг?

– Потом. Это хорошее слово... Володя, – позвал он в звуковом диапазоне.

– Наконец-то, – прошептал Густов и вскочил. – Что происходит?

Но он не получил ответа. Один из кирдов схватил его за руку и потащил за собой.

Четыреста одиннадцатый подтолкнул стражника в спину. Конечно, думал он, расплавить ему голову было бы надежнее, но Иней знает, что говорит. И потом, если бы стражник был недвижим, им бы пришлось тащить его, – и тяжело, и опасно. Так, по крайней мере, он сам идет.

Он выглянул на улицу. Ветер начал потихоньку стихать, скоро рассвет. Никого не было видно.

– Иди, иди, – подтолкнул он стражника в спину.

– Куда? – спросил стражник.

Ничего не скажешь. Иней знал, что делает. Если стражник спрашивает тебя, куда идти, это уже не стражник. Он схватил его за руку и потащил к дому шестьдесят семь, втолкнул в дверь.

Он испытывал чувство, похожее на ощущение нового аккумулятора в теле: ощущение силы, готовности действовать, ощущение благополучия. Стражник был частью системы, которую он ненавидел, ее опора. Конечно, от потери одной такой опоры дом не рухнет, не перекосится, но ничего, у него был план...

6

– Коля, – сказал Марков, вставая с пола, – я беру все свои слова о Володьке обратно. Я больше не могу, понимаешь, не могу. Если кто-нибудь откроет дверь, я кинусь в нее так же, как он. Куда угодно. Я схожу с ума от этой круглой камеры.

– Саша, милый, возьми себя в руки.

– Я не могу...

– Ты все можешь. Я даже склонен думать, что ты сейчас несколько кокетничаешь своим состоянием...

– Ты в своем...

– Я в своем. И ты в своем. Что, собственно, произошло? Ты же человек, черт возьми, ты не животное, ты должен уметь думать, ты же космонавт, наконец. Ты сам выбрал опасную профессию и сам готовился к ней. В чем трагедия? Мы живы и невредимы. Мы даже сыты. Наверное, жив и Владимир. Наверное, цела и «Сызрань». Мы решили, что нас изучают. Это соответствует фактам. Это логично. Уничтожить изучаемый объект было бы нелогично.

– Да, но...

– Помолчи. Не думай, что я полон казенного командирского оптимизма. При экипаже в три человека, а на этот момент и в два, казенный оптимизм не проходит. Хотя, впрочем, и при большей аудитории мало кого убеждает, на то он и казенный. Я просто отказываюсь рассматривать то, что случилось с нами, как трагедию. Просто-напросто отказываюсь. Вот если бы «Сызрань» прошел какой-нибудь обломочек, если бы наш корабль превратился в вечный космический склеп с тремя быстро замороженными мумиями на борту, это была бы трагедия. И то не слишком большая, не будем заблуждаться насчет своего места в истории.

Но мы же живы, Сашка, живы и невредимы. Да, чувствовать себя инфузорией на чьем-то предметном стеклышке неприятно. Но почему все должно быть приятно, откуда такое убеждение? Почему мы так уверены, что только мы имеем моральное право совать инфузорий под микроскоп, а не наоборот?

– Господи, командир, я никогда не слышал от тебя такой пылкой тирады.

– Потому что я отвечаю не только тебе, друг Александр. Но и себе. А может, главным образом себе.

– То-то ты так красноречив. Я такой речи явно не заслужил.

– Не буду спорить. Ты уже не стонешь, а пытаешься быть саркастичным. Это прогресс, Сашенька. Когда ты кинешься на меня с кулаками, я буду совсем спокоен.

– Скоро, командир, потерпи.

– А если говорить серьезнее, Александр, живым тварям никогда не следует забывать о мифе старого зоопарка.

– Это еще что такое?

– Как ты знаешь, в старинных зоопарках зверей держали в маленьких клетках или – в лучшем случае – в небольших вольерах.

– Ну?

– И те посетители, которые сами хоть чуточку отличались от животных, хотя, надо думать, таких было не слишком много, смотрели с состраданием, как какой-нибудь тигр вышагивал взад и вперед за толстыми металлическими прутьями клетки, равнодушно поглядывая на зрителей и жмурясь своими желтыми кошачьими глазами.

– Очень образно, но...

– Не перебивай. «Ах, – восклицали девочки и мальчики, – бедненький, как ему должно быть скучно в клетке!» «Ах, – крикали мужчины, – как он должен тосковать без охоты!» «Ах, – вздыхали добрые женщины, – какая однообразная жизнь...» Тигр их не понимал. И хорошо, что не понимал, потому что иначе он бы им ответил: «Не несите окоlescицу, двуногие. Я вовсе не бедненький. Наоборот, мне сказочно повезло: я сыт, а это для нашего братца дело первейшее. На воле о регулярном питании можно только мечтать. К тому же, уважаемые, я в абсолютной безопасности, и это, должен вам заметить, весьма и весьма недурственно. Вам, конечно, не понять, что это значит, когда каждую секунду какие-нибудь двуногие гадины, того и гляди, всадят тебе пулю между глаз, когда любой кусок мяса может быть нафарширован отравой. Не жизнь, а сплошная лотерея. А погода, дамы и господа? Вы мокли когда-нибудь под многонедельными тропическими ливнями, дрожали под пронизывающим ветром? Ну, и вопиющее отсутствие медицинского обслуживания, когда любая дрянная заноза в лапе превращается в пытку и задуплившийся зуб делает из тебя не просто мизантропа, а даже людоеда. Зато здесь, в клетке, неплохая жратва. Причем, заметьте, уважаемые, ее приносят, а на воле за ней, бывает, так набегаяешься, что кусок в горло не полезет. Опасности никакой, разве что обожрешься вашими подачками. Чуть захандришь,

целая комиссия в белых халатах: «Может, витаминчики бедняжке, может, клизму?» А вы говорите – воля. Видал я эту волю в белых тапочках...»

– Коля, друг мой, – захлопал в ладоши Марков, – теперь я знаю, кем ты был в прошлой жизни. Ты был тигром в зоопарке, и на твоём ухе висел инвентарный номерок.

– Ну вот, ты уже говоришь гадости.

– Нет, нет, командир. Никаких гадостей. Наоборот, я благодарен за воссоздание перспективы. Жаль только, что нет зрителей, перед кем можно было бы произнести твой панегирик клетке. А без аудитории трудно вдохновиться.

– А я не аудитория?

– Нет, командир, при всем уважении – нет. Один – это не аудитория.

– А как же я говорил так вдохновенно?

– Ты убеждал себя, а трудности всегда возбуждают.

– Может, ты и прав, друг Александр.

– А вообще-то, если вернуться к твоей поучительной аналогии и если бы нам сюда и пару тигриц...

– Только не внуши эту мысль нашим очаровательным хозяевам. А то вместо тигрицы они пришлют тебе двухметровую железную подружку с четырьмя глазами. А так как ты ей наверняка понравишься («Он такой нервный, так тонко организованный, бедняжка, он так страдает от одиночества!»), она прижмет тебя к железной груди и...

– Эгоист.

– Почему?

– Потому что ты беспокоишься не за меня, а за себя, боишься, что не перед кем будет разглагольствовать о свободе. Но если серьезно, ты прав. Когда мы валялись на полу, прижатые потолком, и, казалось, жизнь уже вот-вот должна была отлететь, и кто-нибудь спросил бы меня: «Хочешь, потолок поднимется, но ты должен остаться в клетке», я бы заревел: «Да, да!» Я бы не сомневался и не торговался. У меня было ощущение, что я на наклонной плоскости, холодной и гладкой, и уже начинаю скользить, и знаю, что внизу пустота, зацепиться не за что, а в сердце ужас холодной смертельной щекоткой, от которой перехватывает дыхание... Ты прав, Коля, нужно быть оптимистом.

* * *

Стало светать, серое небо начало наливаться желтизной, и робот, который то тащил Густова за руку, то нес, прижав к груди, бежал теперь впереди.

Густов любил бег, любил встать совсем рано, когда город еще спит и по улицам тихо ползают уличные автоматы, убирают, подметают, поливают, подстригают газоны, разносят заказы, выйти, поежиться от застоявшейся ночной прохлады и побегать. Тело постепенно просыпается, мышцы разогреваются, можно прибавить шаг, кровь отлично циркулирует в жилах, насос качает ее ровно и сильно, и проблемы, эти вечные неизбывные проблемы остаются позади, потому что они не могут угнаться за тобой. Ты бежишь и чувствуешь, что создан для бега, лоб превращается в радиатор, с которого пот уносит лишнее тепло. В голове ритмично дергаются обрывки какой-нибудь мысли. Ты перепрыгиваешь через газонокосилку и кричишь ей: «Прости». – «Пожалуйста, – важно урчит газонокосилка. – Приходите еще».

Но то было в другом тысячелетии, на другой планете, в другом измерении. А может быть, этого и не было никогда, потому что он всегда бежал так, как сейчас, без начала и без конца, и раскрытый рот судорожно хватал жиденький воздух, и сердце уже не просто колотилось, а бухало о ребра так, что вот-вот должно было проломить их, а скорей всего, уже проломило, и ноги были такими тяжелыми, словно только они одни находились под перегрузкой в стартующей ракете. Все силы были исчерпаны, неприкосновенный их запас тоже был вскрыт и пущен в ход, и он бежал сейчас вопреки всем законам физики и физиологии, некий задыхающийся вечный двигатель на двух подгибающихся ногах. Он даже

не бежал – то, что происходило с ним, даже отдаленно не походило на бег. Это была бесконечная серия мучительных падений, каждый раз прерываемых невесть кем выставленной ногой. Да, да, невесть кем, потому что он переставлять ноги уже давно не мог, у него не было для этого сил.

Надо было выбирать: остановиться или умереть. Выбор был прост, он даже отдал команду ногам: «Стой, хватит!» Команда была бесконечно желанна, а спасительный покой манил. Но, к его удивлению, ноги не слушались.

Они знали, что остановиться нельзя. Нельзя остаться одному под этим нарывным желтым небом, среди серых бесконечных развалин, не зная, от кого он бежит и к кому.

Он останется один, один в хаотическом лабиринте нелепых развалин, сквозь которые прорастали какие-то красноватые побеги, один в чужом мире, под чужим небом, один. И желтое небо придавит его к развалинам. Нет, чепуха, все это чепуха. Зато он сможет рухнуть на камни, он будет лежать, и все тело, каждый мускул, каждая клеточка будут блаженствовать, будут впитывать ангельский покой. Какое это великое счастье – покой. Погибнуть? Что ж, все мы уходим раньше или позже, но зато он уйдет без мук, без этой дьявольской пытки бегом.

Все, больше он не может, не может, не может, повторял он себе, удивляясь, почему никак не рухнет наземь. А может, он уже падал. А может, это желтое небо падало на него, вяло подумал он. Темнело, наступала ночь, но у него не было даже сил удивиться, ведь был рассвет...

Он пришел в себя и судорожно вздохнул, словно не верил, что можно дышать спокойно, без усилий. Он сидел, прислонившись спиной к остаткам стены. Вокруг стояли роботы, множество роботов, и смотрели на него.

– Во-ло-дя, – пропели они хором. Это были такие же роботы, как и их тюремщик, но чем-то они отличались.

Кольцо сжалось, несколько роботов подошли к нему и повторили:

– Во-ло-дя.

Густов встал. Ноги еще подрагивали после марафона, но он стоял.

– Здравствуйте.

Роботы протянули руки, толстые бело-голубые щупальца с массивными клешнями на концах, и Густов непроизвольно сделал шаг назад, прижался спиной к стене.

Казалось, роботы поняли его страх, потому что еще раз повторили его имя, и ему почудилось – а может быть, ему просто хотелось так думать? – что скрипучие их голоса звучали дружелюбно.

Надо было преодолеть страх и подавить недоверие живой плоти к холодному металлу машин. Он протянул обе руки, и три робота коснулись их клешнями. Нежно, осторожно. Один из них, чье туловище было покрыто вмятинами и царапинами, широко раскрыл клешню, распустил ее веером и медленно опустил на голову Густова. Он делал это с такой сосредоточенностью, с такой осторожностью, что Густов уже не боялся. Он ощутил прикосновение клешни к голове, исцарапанное туловище было так близко к нему, что закрывало ему поле зрения, но страха не было. На него нисходило блаженное спокойствие. Он видел боковым зрением, как роботы подходили все ближе, и каждый клал руку на плечо соседа, а один положил руку на плечо того, что стоял перед ним.

Он почувствовал легчайшую щекотку в голове, но не на поверхности скальпа, а глубоко внутри, словно кто-то едва касался его мозга, бесконечно бережно перебирал его содержимое. Он почему-то вспомнил мать. Она обожала перебирать содержимое шкафов и полок. «Ма, – говорил он ей, – я хочу тебе помочь». Но она, казалось, не слышала его. Когда она перебирала шкафы, она священнодействовала. Она была жрицей культа порядка и симметрии, и никто не мог стоять рядом в то время, когда Она служила своему божеству. Конечно, тогда он этого не понимал и не знал этих слов, он был... Сколько ему было?

Не успел он подумать о возрасте мальчугана, как тут же увидел его. Не вспомнил, не представил себя, а увидел. Мальчонка был крошечный, в крошечных красных трусишках,

загорелый и растрепанный. Неужели это он? Неужели он был таким маленьким?

Густов не был самовлюбленным человеком и обычно воспринимал себя, свое «я», скорее в рамках более широкой картины, в рамках товарищей, работы, жены, чем изолированно от мира. Но сейчас этот босоногий, шмыгающий носом мальчик с округлившимися от любопытства глазами наполнил его какой-то сосущей, томящей нежностью. Как стремительна жизнь и как все живое не выдерживает напора реки времени! Только вчера, не раньше, бедная мама отрешенно вышвыривала все из шкафов, а он, тот самый мальчик с выпученным животиком над красными трусиками, крутился у нее под ногами и пытался поймать ее за руку, потому что ее руки всегда были связаны с приятным, будь то еда или объятия, и ему было обидно, что мама не замечала его, но реветь не хотелось. Это было вчера, а сегодня он стоит под чужим желтым небом, и огромный бело-голубой робот держит клешню у него на голове, и он смотрит на двухлетнего мальчика с надутым животиком, а мальчик смотрит не на него, а на роботов. Конечно, роботы ему интереснее, чем он сам через тридцать лет. Ему всего два года, и будущее и прошедшее еще не вычленились в его сознании из настоящего, и ни потомки, ни предки его не интересуют.

Мальчик покачнулся и с трудом удержал равновесие. Густов поймал себя на том, что непроизвольно напряг мышцы, сейчас он бросится, чтобы снять его с наклонно лежащего камня. Смешно. Призраки не падают. Фантомы неуязвимы. Они уже выскользнули из реального мира вещей и тихо уплывали по течению реки времени.

Тридцать лет. Были они? Почему ему кажется порой, что время затаило на него какую-то обиду и несется мимо него с злорадной скоростью, смывая все и унося с собой все. Даже Валентину унесло оно...

На мгновение ему почудилось, что это не он примостился на наклонном камне, а его сын, сын Валентины. Но у них не было детей. Мир все время казался ему раздражающе велик, и ему не терпелось посмотреть, что там, за следующим поворотом. А она не хотела сидеть одна и ждать его. Бедная Валентина, беззащитный воробышек...

Что-то мелькнуло в небе. На плечо робота, что стоял перед ним, садилась птичка. Птичка с лицом Валентины. Ему было смешно и грустно, в нем плыла светлая печаль всего живого, думающего о прошлом. Память, наверное, всегда несет с собой печаль.

Он, казалось, задремал, потому что вдруг сообразил, что пузатого Володьки уже не было, исчезла и птичка с Валиным милым лицом. Робот больше не держал клешню у него на голове. Он отступил на шаг и сказал скрипуче, но вполне членораздельно:

– Здравствуй, Володя. Мы дефы.

Густов почувствовал, как на него нахлынула волна восторга. Слишком долго он задыхался в немом мире взаимного непонимания. С ним говорили. Летел через вязкую немоту спасательный круг разума. В бесконечной и тупой стене абсурда, которая окружала их с того самого момента, когда «Сызрань» вздрогнула от гравитационного аркана, впервые открылась трещина, и сквозь нее ему протягивали руку. Пусть железную, пусть с клешней, но руку. Не все еще потеряно.

– Здравствуйте. Я Володя Густов, – сказал он и расплылся в счастливейшей и глупейшей улыбке.

* * *

Двести семьдесят четвертый сказал стражнику:

– Ну-ка нагни еще раз голову.

Пятьдесят второй С послушно наклонил голову. Почти на самой макушке зияла маленькая дырочка с оплавленными краями.

– Ты знаешь, кто ты? – спросил Двести семьдесят четвертый.

– Так точно. Стражник Пятьдесят второй С.

– Что ты делал вчера?

– Вчера?

– Я тебя спрашиваю, стражник, а не ты меня. Отвечай.

Стражник испуганно смотрел на Двести семьдесят четвертого.

– Я... я не знаю.

– Ты был в ночном патруле?

– Я... не помню.

Двести семьдесят четвертый посмотрел на Шестьдесят восьмого, который молча стоял у проверочного стенда.

– Он действительно не помнит?

– У него повреждена оперативная память.

– Откуда ты знаешь, что это так? Может, он просто скрывает что-то?

– Нет, начальник стражи, мы проверили его на стенде. Мозг цел, он все знает и понимает, но у него повреждена оперативная память. Луч трубки...

– Я понимаю, что это луч трубки... Объясни мне другое, Шестьдесят восьмой: может ли случайный выстрел дать такой эффект?

– Думаю, нет. Во-первых, случайный выстрел, то есть просто выстрел в голову, не может попасть в самую макушку. Разве что в него стреляли сверху. И потом, луч очень точно направлен. Именно здесь находятся магнитные кольца оперативной памяти.

– Значит, стрелявший, скорее всего, хотел вывести из строя именно оперативную память?

– Я думаю, это так.

– Но тогда скажи мне другое: зачем нужно выискивать цель на макушке и выводить из строя оперативную память, если можно просто расплавить голову?

– Я не знаю, начальник стражи.

– Это нелогично.

– Да, начальник стражи, это нелогично.

– Значит, это был деф. Дело рук какого-то проклятого дефа. Шестьдесят восьмой, подключи этого идиота к фантомной машине. Может быть, что-нибудь все-таки в его памяти осталось. Может быть, повреждены не все кольца. И не жалея энергии, кирд, пусть машина воссоздаст всю картину. Скажешь мне, если появится что-нибудь интересное. Мне нужно подумать.

Двести семьдесят четвертый был полон яростного нетерпения. Он должен найти гнездо дефов в городе. Это был вызов их миру, ему, Творцу. Они все хотят уничтожить, эти порождения хаоса. Они хотят уничтожить стройный порядок. Они хотят залить его своей заразой, гнусной неопределенностью, когда каждый уродливый деф живет сам по себе, не получая приказов и не рапортуя, думает сам по себе и никто даже не проверяет, что творится в их жалких, нелепых головах. Это поистине мир хаоса, а потому, строго говоря, не мир, а антимир, отрицание мира. Цивилизация – это отвоеванный у хаоса Вселенной островок порядка. Его нужно защищать любыми средствами.

Он отвечает перед Мозгом. Творец доверил ему, своему недостойному кирду, великую миссию – очистить их мир от скверны дефов. И он выполнит ее.

Как они могли стрелять в этого стражника сверху? Только в доме. На улице это было бы невозможно. Схватка была в доме.

Это не стража, это какие-то ничтожные идиоты. Чтобы пришелец смог проделать путь от круглого стенда к дому шестьдесят девять, где его видели в последний раз, и ни один стражник не задержал его, никто не проверил кирда, который вел его...

– Ну, что у тебя? – спросил Двести семьдесят четвертый Шестьдесят восьмого.

– Посмотрите, начальник стражи, к сожалению...

В проходе зала слегка покачивалась улица, неясно светились по обеим ее сторонам ряды домов.

– Стражник идет по улице, – пояснил Шестьдесят восьмой. – Картина нечеткая, потому что дома уже успели в значительной степени остыть... Это, очевидно, было незадолго перед

рассветом.

– Дальше, дальше.

– К сожалению...

– Меня не интересуют твои сожаления. Почему картина исчезает, удержи ее.

– Не могу. Фантомная машина считывает ее с колец оперативной памяти. Они практически уничтожены.

– Смотри, Шестидесят восьмой, может, и ты заодно с ними?

Шестидесят восьмой жаждал броситься на этого наглого выскочку, потрянуть его так, чтоб выбить из него наглую спесь. Но еще больше он боялся стражников. Они схватят его, сорвут голову, как не раз он сам срывал головы у тех, кто стал дефом. И чавкнет ненасытный пресс. Он-то знает, как он всегда голоден, этот пресс, как жадно разевает пасть и с каким наслаждением плющит все, что в него всовывают.

– Я служу Творцу, – буркнул Шестидесят восьмой.

– Смотри, кирд. А этого, – он кивнул на стражника, – под пресс.

Должно быть, слово «пресс» вывело стражника из оцепенения. Он дернулся и закричал:

– Я не хочу под пресс! – Он рванулся и бросился к выходу из проверочной станции.

– Держи его! – приказал Двести семьдесят четвертый Шестидесят восьмому и бросился вдогонку за стражником.

Сейчас он выскочит, и нужно будет устраивать погоню на виду у всего города, и Мозг спросит: «Что это у тебя происходит такое, Двести семьдесят четвертый? Так-то ты начинаешь новую службу...» Он вдруг сообразил, что у него есть теперь трубка, ему же вчера вручили оружие. Он схватил ее и направил на стражника. Где эта спусковая кнопка, деф бы ее побрал! Ага, вот она. Он нажал на нее, и острый луч голубого света пронзил полутьму зала. Мимо. Он еще раз нажал на спуск, но выстрела не было. Ах, да, проходит ведь какое-то время, пока оружие снова готово к бою.

Стражник уже открывал дверь, когда Двести семьдесят четвертый выстрелил второй раз. На этот раз кончик луча впился в ногу стражника, тот остановился. Раненая нога подогнулась, но он не упал, а стоял на одной ноге, вцепившись руками в дверь.

– Не-ет! – закричал стражник, когда Двести семьдесят четвертый снова поднял трубку. – Не-е-ет!

Выстрел проплавил голову, стражник начал медленно падать, но Двести семьдесят четвертому казалось, что он все еще слышит пронзительный вопль стражника. Задними глазами он видел, как Шестидесят восьмой только сейчас подбежал к нему. Не слишком-то торопился, полудеф разряженный. Потом, потом он еще займется этим типом, сейчас важно было другое.

Он включил канал связи и вызвал одновременно всех стражников. Расход энергии был такой, что он почувствовал, как стремительно начал разряжаться его аккумулятор. Но и это было неважно. Он служил Творцу, боролся с угрозой их миру, и все аккумуляторы мира ничего не значили в этой схватке.

– Стражники, – сказал он, – говорит ваш начальник. Вспомните вчерашний день. Если у кого-нибудь в кольцах памяти запечатлелось что-то необычное, подозрительное, немедленно доложите мне. Я жду.

Он слушал поток рапортов, жалкое, ничего не значащее бормотанье, и его вдруг охватил парализующий страх. Он один противостоит грозному и страшному потоку. Он один стоит на его пути, а грязная жижа с торжествующим бульканьем подхватывает его, несет, крутит, топит, захлестывает сознание. «Наверное, это виноват аккумулятор, – вяло и обреченно подумал он. – Нужно сменить». Бульканье прекратилось, но все равно давило на плечи ощущение тщеты своих усилий. Дефы, кругом дефы...

Внезапно он очнулся.

– Мы шли с напарником мимо круглого стенда, – докладывал стражник, – когда обнаружили кирда без штампа. На вопрос, почему он без штампа, задержанный ответил, что идет на проверку. Но он шел в обратном направлении. Он показался нам подозрительным, и

мы доставили его на проверочную станцию. Слава Создателю!

– Слава Создателю! – сказал Двести семьдесят четвертый.

Кто знает, кто знает... Нормальный кирд не мог идти без штампа.

– Стражник! – рявкнул он и сообразил, что не слышал, кто именно докладывал ему сейчас. – Тот, кто только что докладывал.

– Я, начальник стражи, стражник Семнадцатый С.

– Семнадцатый, номер задержанного.

– Номер?

– Ты меня спрашиваешь, стражник? Номер кирда, который шел без штампа.

– Э... видите ли, начальник, мы...

– Ну!

– Мы решили...

– Что вы решили, деф бы вас побрал!

– Раз мы повели его на проверочную станцию, на стенде...

– Вы не стражники, вы дефы с расплавленными мозгами, вот. кто вы! Кому вы передали его на станции?

– Он давно на проверке работает...

– Номер! – заорал Двести семьдесят четвертый.

– Кажется, Четыреста одиннадцатый.

– Кажется! Смотри, Семнадцатый, если и здесь путаешь, готовь голову для прессы.

– Слава Творцу! – испуганно пробормотал стражник.

* * *

Четыреста одиннадцатый стоял в своем загончике и думал о странном слове «друг», которым назвал его деф. Странное слово с таинственным смыслом, дефье слово, оно снова и снова выпрыгивало из его памяти, как выпрыгивают из травы тарки, охотясь на летающую живность. Но выпрыгивало не совсем, не покидало его даже на время, а, наоборот, заполняло все его сознание, наполняло непривычным оранжевым и теплым отблеском, словно от солнца в зените.

И густая, настоявшаяся ненависть, к которой он привык, была теперь уже не сплошной. Мир теперь состоял из ненависти к миру кирдов и нового неясного чувства, которое он испытывал к Инею, к неведомым дефам, к пришельцу. Ему казалось, что за эту ночь его сознание стремительно выросло, стало огромным, гулким. А может быть, оно и на самом деле расширилось, раз вмещало теперь не одну ненависть, а и новое, непривычное чувство.

Четыреста одиннадцатый нарушал закон. Он должен был стоять в своем загончике в оцепенении временного небытия, ожидая команды Мозга, которая вернула бы его в мир движения и мысли. Даже не ожидая, потому что во временном небытии кирд ничего не ждет. Его просто нет. Он выключен, и только команда возвращает его к бытию. Четыреста же одиннадцатый не просто бодрствовал. Он думал, заставляя свой совершенный мозг работать на полную мощность.

Такой чужой и одновременно притягивающий Иней звал его с собой к дефам. В мир, где, наверное, все понимают значение слова «друг». Это и его мир. Он выстрадал право на принадлежность к нему ненавистью к расчерченному, холодному миру приказов и беспрекословного подчинения, ощущением одиночества, загнанности и постоянной опасности. Он выстрадал право гражданства в мире дефов долгой и жестокой войной с программами, вложенными в его мозг. Пусть вначале был какой-то слепой сбой в его машинном мыслительном процессе, но он, только он бережно выращивал этот сбой, расширял крошечную трещинку, прятал ее ото всех, от проверочной машины, от стражников, пестовал первые росточки своего нового «я». Сколько раз хотелось ему вернуться в спокойное, привычное бездумье, когда ни от кого нечего прятать, когда не

нужно постоянно быть начеку, когда не живешь в вечном страхе, когда не приходится рассчитывать каждый шаг, даже не шаг, а много шагов, ибо каждое мгновение нужно быть на несколько шагов впереди всех. Ведь все следят за всеми, все доносят на всех, кто хоть в чем-то не похож на них.

Соблазн порой был почти невыносимо притягателен. Наверное, не все программы сумел одолеть он в своей безостановочной тайной войне с собой, потому что иногда какая-то дьявольская сила тащила его назад и побежденные уже, казалось, основы основ кирдов нашептывали: «Стань как все, стань опять спокойной машиной, почувствуй себя исправной деталью большого механизма, познай радость похожести на других, вернись к несокрушимому единству посредственности».

В такие мгновения ему хотелось колотиться головой о стенку, колотиться так, чтобы она гудела, чтобы спутавшиеся логические схемы его сознания щелкнули и распрямились и он, кирд Четыреста одиннадцатый, опять стал спокойной бездумной машиной.

Но он устоял. Ему помогала ненависть. Он вытоптал в себе с ее помощью все программы, любовно вставленные в него. Он так и представлял себе эту борьбу: вот они, эти ненавистные программы, что опутывают каждого кирда, вот они под ногами, а он давит их, они трещат, раскалываются на множество осколков, а он все давит, поворачивает ногу, растирает их в пыль.

Как всякий солдат, который одержал нелегкую победу, он гордился собой. Раз он справился с крепкими путами на своем сознании, справится и со стражниками. Ему нужно было справиться, потому что у него был план, его план, который он вынашивал долгими ночами, когда в нарушение всех приказов стоял один в своем загончике и думал о ненавистной цивилизации кирдов.

Поэтому он не ушел с Инеем и маленьким мягким пришельцем. Он должен выполнить свой план.

Четыреста одиннадцатый заставил себя сосредоточиться. Опасность и так всегда бродила неподалеку от него, а сейчас обложила со всех сторон.

Скоро они найдут стражника с дыркой на макушке. Они ничего не добьются от него. Иней поручился за это. Скорее всего, на этом дело и кончится. Но он не имел права рисковать. Даже не собой – планом. А вдруг они решат продолжить охоту? Как? Что они могут сделать? Они могут проверить всех стражников... Четыреста одиннадцатый напрягся. Он чувствовал, как опасность приближается, кольцо сжимается. «Думать, думать», – приказал он себе. Да, еще не поздно, можно попытаться бежать, может быть, ему даже удалось бы выбраться из города и добраться до лагеря дефов, но план...

Он колебался. Он еще не понимал, где именно таится опасность, но остро чувствовал ее приближение. Она несла с собой холодную пустоту. Думать. Спокойно думать, не только за себя, но и за тех, кого он ненавидит. Это его единственное оружие. Они решат, что стрелял в стражника деф. Это очевидно. Значит, сделают они логический вывод, в городе был деф. Раз он деф, значит, у него не было разрешающего дневного штампа...

Опасность окружила его привычным грозным кольцом. Вот в одном месте кольцо дрогнуло, выпятилось, и холодное щупальце потянулось к нему, вот-вот схватит. Конечно же, они могут опросить всех стражников, не задерживали ли они кирда без штампа, потому что первая обязанность стражника – проверка наличия штампа. Вот оно, щупальце. Вот откуда оно протянулось. Эти двое, что привели к нему Иней, скажут: «Да, видели, да, привели на проверочную станцию».

А дальше просто. Кто работал вчера на проверочных машинах? Шестьдесят восьмой, Двадцать второй и Четыреста одиннадцатый. Даже если тупые стражники не смогут указать, к кому именно привели они задержанного кирда, это не поможет. Всех троих подключат к фантомной машине.

И вспыхнут ярким сиянием в полутемном гулком зале образы Инея, пришельца, нападения стражника. «Под пресс!» – раздастся команда. И все.

Нет, не все, поправил он себя горделиво. Не все. Он всегда бежал на несколько шагов

впереди своих преследователей. Много дней назад, еще не зная точно, для чего он это делает, он украл со склада новую пустую голову. Никто, похоже, ее не хватился. Последнее время они меняли столько голов, что на складе, наверное, сбились со счета.

Да, это был его единственный шанс. Голова была спрятана в тайничке – выемке в стене, которую он тщательно замаскировал. Он прислушался. Все было тихо. Была та зыбкая и короткая полоса, когда остывшие здания уже перестали быть видны в тепловых лучах, но еще не были видны в оптическом диапазоне. Он огляделся, быстро вышел из загончика, достал голову и принес к себе.

Нужно было торопиться. Если они еще не нашли бесцельно бродящего стражника с дыркой в голове, это может случиться в любую минуту.

Он еще никогда не заряжал голову без помощи машин. Если это окажется невозможным... Нет, думать некогда, надо попробовать, это его единственный шанс.

Он подсоединил к себе пустую голову и до отказа напряг мозг. Главное – тщательно контролировать каждую мысль, которую он передавал в пустую голову. Спокойно, сказал он себе, выстраивая мысли и образы, разделяя их на две части: те, что можно было влить в новую голову, и те, что попасть туда не должны были ни в коем случае.

Это была тяжелая работа, он, казалось, дрожал от напряжения. То и дело мысли, образы, воспоминания сбивались в кучу и так и норовили проскользнуть сквозь установленный им фильтр. Порой ему удавалось схватить опасную мысль в последнее мгновение, когда она уже готова была юркнуть в новую голову, и он замирал от ужаса.

Когда он почти заканчивал работу, его сознание вдруг пронзила острая, как выстрел трубки, мысль: он же не сможет сделать так, чтобы новая голова знала о его тайне, о смене. А это значит, что он, Четыреста одиннадцатый, станет обычным тупым кирдом. Законопослушной машиной. Хорошо, он пройдет благополучно проверку на фантомной машине, он закончит смену, вернется домой и даже не будет понимать, что это за голова валяется в его загончике. И, как нормальный кирд, тут же доложит о беспорядке.

Что же делать? Кинуться на кого-нибудь, завладеть чьим-то телом? И оружия у него нет, и вся та же дьявольская ежедневная проверка изобличит в нем преступного дефа. Конец один – все тот же ненасытный пресс.

Четыреста одиннадцатому почудилось, что мир разом невероятно расширился, а он, наоборот, сжался, превратился в крохотную пылинку, беспомощную пылинку, самую ничтожную частичку всего сущего. И чувство глубочайшего отчаяния охватило его. Опасность, что так долго и терпеливо подстерегала его, торжествующе и неторопливо улыбалась. Она была похожа на огромного стражника. Крест на его груди изогнулся, и концы показывали на него, Четыреста одиннадцатого: «Смотрите, он думал, что обманет нас, обведет нас, перехитрит. Не-е-ет, пресс не обманешь, он ждет таких умников, все в него попадут, кто хочет быть умнее других».

Бежать, нужно было бежать. Он хотел было опустить голову, которую все еще держал в руках, но услышал на улице шаги стражников. Наверное, за ним.

Страх сразу исчез, осталась тяжелая печаль. Небытие не страшно. В конце концов, он не раз сам себя погружал во временное небытие, а вечное – это то же самое небытие, только длиннее. Длинная, длинная ночь без рассвета. Давило ощущение, что ненавистный мир остается, остается торжествующий мир тупых команд и тупого повиновения.

Шаги стали стихать. На этот раз еще мимо. Но бежать теперь поздно. С таким же успехом можно было просто подойти к первому попавшемуся стражнику и попросить его выстрелить в голову. Или отвести под пресс.

– Четыреста одиннадцатый, – услышал он вдруг команду, – явиться немедленно на проверочную станцию.

– Четыреста одиннадцатый команду принял, направляюсь на проверочную станцию, – автоматически подтвердил он.

Выбора не было. Они все-таки добрались до него, эти тупые и торжествующие твари. Жаль, жаль было снова превращаться в машину. Это будет отличная машина, бездумная и

послушная, похожая на всех бездумных и послушных машин. Он-то это знает. Сам заряжал новую голову.

Машина будет знать, что она – кирд Четыреста одиннадцатый. Но и понятия иметь не будет о бессчетных его сражениях с собой, о завоеванном в этих схватках праве на собственные мысли, о ненависти к городу, к системе.

Жаль, жаль было себя. Себя. Ладно, жалость эту они уничтожат, это он легко представлял себе. Но куда денется ненависть? Она ведь такая огромная, горячая, она порой заполняла весь мир. Неужели и она расплывется вместе с его старой верной головой? С ним. Потому что оставшийся Четыреста одиннадцатый, бездумный и похожий на всех бездумных кирдов, ничего общего с ним иметь не будет.

Жаль, жаль... И пришельца он никогда больше не увидит, и к дефам не придет, не услышит странное слово «друг»...

Он вышел из дома. Небо уже наливалось желтизной.

* * *

Мозг никогда не испытывал такого торжествующего чувства всемогущества, такой жажды деятельности, такой силы. Вялое облачко электронов, что трепыхалось в Вечном хранилище и называлось Крусом, сделало свое дело. Жалкие пришельцы, всего на шаг впереди слепой природы, оказались носителями реакций, которые так удачно оплодотворили его мир. Изменились кирды, менялось на глазах общество, менялся он сам. Да, конечно, менялся. Хотя его никто не перенастраивал, не вводил в него новых программ, ибо он был началом и концом всего, и вне его не существовало никого и ничего, что могло бы изменить его, но он управлял уже изменившимися кирдами, и их новая подвижность, новый динамизм, новая изощренность будоражили и радовали его.

Его новый начальник стражи доложил, что они уже напали на след заговора. Пусть ищет. На то он и сделал его ищейкой. Пусть служит своему Творцу.

Он не боялся заговоров. Они все всегда были обречены на провал, потому что, даже объединив свои жалкие мозги, все кирды вместе не смогли бы даже отдаленно сравниться с его интеллектуальной мощью. Тем более что объединиться они не могли.

Наоборот, в нем зрел план, как раз и навсегда покончить с дефами. Двести семьдесят четвертый полон страха и оправданий. Что ж, пусть трепещет от сознания своей вины, от того, что так плохо служит Мозгу. Пусть думает, что побег одного из пришельцев к дефам – его неудача. Он, Мозг, он. Творец своего мира, знает, что никакая это не неудача, наоборот, удача.

Он уже выделил из пришельцев почти все, что ему было нужно, но они не утратили полезности. Пусть будут приманкой, при помощи которой он сумеет раз и навсегда избавиться от скверны дефов. Он уничтожит их, уничтожит их лагерь, усилит охрану, увеличит число стражников, усовершенствует процедуру проверки голов. Все складывалось как нельзя лучше.

Впервые за долгое-долгое время Мозг не чувствовал тяжести ноши, которую взвалил на свои плечи.

* * *

– Ты Четыреста одиннадцатый? – спросил Двести семьдесят четвертый.

– Так точно.

– Ты дежурил вчера на проверочном стенде?

– Так точно.

– Тебе привели два стражника кирда без штампа?

– Так точно.

– Прекрасно, кирд, прекрасно, – сказал Двести семьдесят четвертый. Он чувствовал возбуждение охотника и старался не торопиться, чтобы вдоволь насладиться им. – Прекрасно, – повторил он, – ты отвечаешь четко и ясно, как и надлежит отвечать настоящему кирду. Итак, стражники привели тебе кирда без штампа. Что ты с ним сделал?

– Проверил.

– И?

– Поставил штамп проверки.

– Ага, поставил штамп проверки. Замечательно. А почему, Четыреста одиннадцатый?

– Потому что он прошел проверку.

– Ага, прошел. Великолепно. – Начальник стражи внимательно посмотрел на кирда. «Интересно, – мелькнула у него ненужная мысль, – понимает ли он, что его ожидает?» Он вдруг крикнул: – И ты думаешь, грязный деф, я тебе верю? Что ты молчишь, тебе нечего сказать, дефье отродье?

– Я не деф.

– Ага, ты не деф. Ты настоящий кирд, ты выполняешь все приказы, голова твоя чиста и в порядке. Так? – Так точно.

А может, вдруг отрезвел Двести семьдесят четвертый, он и действительно не деф. Ведь когда его самого проверяли на фантомной машине, сам Творец... нет, нет, торопливо поправил он себя, великий Мозг не мог не знать его чистоту, он лишь хотел убедиться в его преданности перед таким высоким назначением.

– Подсоедините его к машине, посмотрим, что он скрывает от нас, – кивнул он Шестьдесят восьмому и Двадцать второму, которые молча стояли за ним.

– Пойдем, – сказал Шестьдесят восьмой, и кирд послушно подошел вместе с ним к фантомной машине.

Шестьдесят восьмой ловко подсоединил к машине проверочные клеммы, нажал кнопку. В пыльной полутьме прохода ярко вспыхнули объемные фантомы. Они плыли над полом молчаливой процессией, пока, наконец, не появились два стражника с крестами на груди. Рядом подрагивал кирд, которого они держали за руки.

– Звук! – скомандовал начальник стражи.

Шестьдесят восьмой нажал на еще одну кнопку.

«Вот, – сказал один из стражников, – шел без дневного штампа. Поравнялся с ним, а проверочного сигнала не слышу. Значит, думаю, идет без штампа...»

«Как они тупы и болтливы!» – раздраженно думал начальник стражи, не сводя глаз с фантомов. «... Говорит, собирался идти за ним».

«Деф, может», – пробормотал второй стражник. «Проверим», – кивнул кирд у стенда.

«Да, это Четыреста одиннадцатый, – подумал Двести семьдесят четвертый. – Он. И все делает по правилам. Ни одной преступной мысли, ни одного тайного образа». Он почувствовал, как в нем подымается ярость. Проклятый кирд, тупая, равнодушная машина! Странное дело, ему чудилось, что он ненавидит сейчас кирда именно за то, что он кирд, за то, что он чист и прозрачен. Кажется, окажись он дефом, и то не испытывал бы он к нему такого презрения. «Стоп, – скомандовал он себе. – Это опасный путь. Не успеешь оглянуться – и уже сам деф».

Нужно было докладывать Творцу, пока тот сам не вызвал его. Зачем, зачем он поторопился сообщить, что они уже напали на след заговора... Никогда не знаешь, чего от него ждать. Может, скажет: «Так, так, Двести семьдесят четвертый, значит, напали на след, а теперь потеряли! Не потому ли, что хотелось помочь преступникам?» О великий Творец всего сущего, будь милостив к своему недостойному слуге! Он знал, что нужно докладывать, что Мозг в любое мгновение может сам связаться с Шестьдесят восьмым или Двадцать вторым... И что значит «может», когда вполне вероятно, что он уже сделал это... И пока он нерешительно мусолит все эти «надо бы» и «если», уже выносятся его приговор.

Проклятый кирд со своей честной покорностью, все, видите ли, у него в голове

разложено по полочкам... Всунуть бы его пустую голову под пресс, глядишь, тогда бы что-нибудь и выжали из нее. Ему хотелось броситься на Четыреста одиннадцатого, схватить что-нибудь тяжелое, хотя бы переносной тестер с проверочного стенда, и колотить, колотить по этому неподвижному и равнодушному чудовищу. Чтоб грохот стоял, чтоб брызнули на пол осколки его глаз. О великий Творец...

И этот Шестьдесят восьмой. Торчит у фантомной машины, не пошевелится. Не иначе как уже докладывает самому... Двести семьдесят четвертый стоял, борясь с желанием бежать, спрятаться, забиться куда-нибудь в угол. Надо докладывать, но нельзя открывать главный канал связи, когда в голове такой вихрь, словно ветер ночной воет, гудит. Он сделал усилие, чтобы успокоиться, и включил главный канал. На мгновение возникло знакомое ощущение особой гулкой тишины, и он сказал:

– Творец, докладывает начальник стражи. Мы проверили Четыреста одиннадцатого на фантомной машине.

– И что же? – спросил Мозг.

– К сожалению, он чист...

Двести семьдесят четвертый уже понял, что сделал непозволительную глупость. Новый страх лег на старый и стал теперь многослойным, каким бывает туман в низинках.

– К сожалению? – переспросил Мозг. – Ты жалеешь, стражник, что преданный мне кирд не оказался предателем, так?

– Прости, о Творец всего сущего, – глухо пробормотал Двести семьдесят четвертый, – я хотел сказать...

– Я знаю, что ты хотел сказать, – насмешливо сказал Мозг. – Ты это и сказал. Или, может, твой мозг расстроен и нуждается в коррекции? Хочешь сказать одно, а говоришь другое? Объясни мне. Или ты пытаешься лгать мне, или твой мозг действительно требует настройки.

Двести семьдесят четвертый молчал. «Странно, – пронеслась у него в голове нелепая мысль. – Мир вокруг рушится, раскалывается на тысячи кусочков, а грохота не слышно. Недолго же ему удалось побыть начальником стражи, ничего не успел понять и почувствовать, и вот уже подбирается, подкрадывается вечное небытие».

Молчание все растягивалось и растягивалось, пауза вздувалась зловещим пузырем, вот-вот лопнет с чавканьем пресса. Вон он стоит в тени, со своей разинутой пастью, через которую лежит кратчайший путь к бездонной густой тьме вечного небытия.

– Иди, стражник, иди и ищи дефов, выискивай их денно и ночью, в каждом углу ищи, каждого выворачивай наизнанку. А я посмотрю, о чем ты сожалеешь: что не всех еще моих врагов сунул под пресс или что бедный Четыреста одиннадцатый оказался моим преданным слугой. Сейчас я подключу к нашей милой беседе и кирда, которого ты хотел объявить грязным дефом. Четыреста одиннадцатый, ты хочешь служить мне?

– Так точно, о Творец, – отчеканил Четыреста одиннадцатый.

– Идите оба и занимайтесь своими делами, – сказал Мозг.

7

Оранжевое солнце потускнело, клонясь к закату, начала блекнуть и сереть желтизна неба, тени потеряли густоту и удлинились, расползаясь по жесткой траве и развалинам. Было еще темно, до закатного ветра далеко, но нагретый за день воздух пришел уже в легкое движение.

Густов сидел, привалившись спиной к обломку стены. Обломок источал приятное тепло. Если бы только он мог так греть всю ночь... Счастье еще, что он успел сунуть там, в круглой камере, в карман кое-какую еду. Ощущение сытости придется забыть, но калорий пока хватит. Он очень хотел есть, но это была самая начальная стадия голода. Чувство состояло наполовину из сигналов опустевшего желудка и наполовину из понуканий подкормки: «Не сиди, сделай что-нибудь, смотри, оставишь пузо без жратвы». С этими позывами бороться

еще можно. Хуже, когда включится настоящая система тревоги: «Внимание, организм в опасности, срочно требуется горючее».

– Ты печальный, – сказал Утренний Ветер.

– Я печальный и радостный одновременно. Я беспокоюсь за своих товарищей. Они мои друзья. Я радуюсь, что попал к вам, что вы так быстро освоили наш язык.

– Ты видел, как мы положили друг другу руки на плечи, когда стояли перед тобой?

– Да, Утренний Ветер.

– Это называется... Сейчас я поищу какое-нибудь ваше слово... Не знаю...

– Не старайся, друг. Объясни просто.

– Мы поступаем так очень редко. Это трудно и страшно, это выпивает из нас много энергии. Мы соединяемся особым образом, и все наши головы начинают работать вместе, как одна голова, и то, что не под силу одному дефу, легко решается всеми...

– Одна голова хорошо, а две лучше, – улыбнулся Густов.

– Что это значит? Вы тоже умеете...

– Нет, не так, как вы, хотя мы тоже работаем вместе. Но объясни, почему ты сказал, что это страшно.

– Это... как небытие. Каждый, кто входит в круг, а так, наверное, нужно назвать это на твоём языке, умирает. Не навсегда, на время, но умирает. Погружается в небытие, как мы говорим.

– Но ведь этот ваш круг работает. Да еще как! Освоить наш язык...

– Ты не понимаешь, Володя. Круг не просто работает. Соединенные в круг, мы усиливаемся во много раз. Если в круг соединяется, допустим, десять дефов, то круг мыслит не в десять раз быстрее одного дефа, а, может быть, в сто или тысячу раз.

– И все-таки почему это страшно? Ведь вы знаете, что все равно снова станете собой, так?

– Да, в общем... – Утренний Ветер задумался. – В общем, да, пожалуй. Но круг... Понимаешь, круг – это не просто сумма, скажем, десяти дефов: меня, Рассвета, Инея и других. Это новое существо. Новое и незнакомое. И каждый раз мы не знаем, что решит круг, что станет с нами. Он непредсказуем...

– Мне трудно понять.

– Нам тоже, друг Володя. Потому что мы пытаемся потом анализировать решения круга с нашей точки зрения, с точки зрения отдельных дефов. Но его мудрость столь отлична от нашего разума, что иногда мы не понимаем ее. А то, что не понимаешь, всегда кажется страшным. К тому же мы, дефы, ненавидим терять свою индивидуальность. Даже на время. Мы же объясняли тебе. Мы вышли из мира одинаковых машин, мы завоевывали свою индивидуальность в тяжелой борьбе, и многие гибли в этой борьбе. Поэтому-то мы так редко объединяемся в круг.

– Спасибо, друзья, я и представить не мог, на какие жертвы вы шли, чтобы усвоить мой язык.

– Я думаю, друг Володя, никто из нас не колебался.

– Почему?

– Почти все мы прошли через страшное одиночество. Представь себе: ты кирд, ты машина, ты послушный автомат, ты как все. И вдруг ты замечаешь, что уже неходишь на других. Ты должен скрывать свои мысли, потому что, если ты их выразишь, первый же кирд равнодушно донесет на тебя и такие же равнодушные стражники равнодушно отправят тебя под пресс. Ты идешь на проверку и обмираешь, получишь ли штамп сегодня или тебя отправят под тот же пресс...

– Кирдов так легко уничтожают...

– Они не представляют никакой ценности для системы. Работает производственный центр, автоматы исправно собирают все новые и новые пустые головы, и каждую расплюснутую прессом всегда можно заменить любым количеством новых. Мозг мыслит рационально...

– Мозг?

– Я ж объяснял тебе: центральный управляющий мозг.

– А, да, да. Но я все время думаю о круге. Ты объяснил мне, что вы – дефы. Что вы добры. Я и сам уже вижу это. Что вы высоко цените каждую жизнь и каждое «я». Почему же вы боитесь круга? Пусть вы не сразу понимаете глубокий смысл его решений, но вы ведь знаете, что эти решения построены на ваших принципах, то есть они в основе своей должны быть добры, сострадательны и так далее.

– В том-то и дело, друг Володя, что мы в этом не уверены.

– Почему?

– Понимаешь, та же доброта и сострадание, которые ты упомянул, по самой сути своей, наверное, индивидуальные чувства. Мы вовсе не уверены, что может быть коллективная доброта и коллективное сострадание. Я приведу тебе пример. Как-то к нам попал новый деф. Он был тяжело ранен выстрелом в голову и ничего не понимал. Рассвет – ты же знаешь его, я тебя знакомил – долго возился с ним. Рассвет необыкновенно добр, мягок. Он терпеливее всех нас. У нас, к сожалению, почти нет никаких инструментов, чтобы восстанавливать поврежденные головы, но он умеет выхаживать раненых. Не всех, конечно, не всех. Но иногда он просто творит чудеса. Он как-то угадывает, где именно повреждение, накладывает руки на это место и бесконечно осторожно пытается перелить туда свою энергию. Он очень привязался к тому дефу, да и все мы скорбели, когда видели его неподвижную фигуру и страшную, изуродованную голову. И когда Рассвет понял, что не может помочь, он предложил построить круг. Маленький круг, помню, нас было всего четверо: Рассвет, я, Иней и Звезда. И круг решил: надо погрузить раненого в вечное небытие, ибо он страдает. Наверное, круг был прав. Наверное, его совет был мудр. Но мы... каждый из нас не мог этого сделать.

– И что с ним стало?

– Вскоре он ушел от нас.

– Ушел?

– Умер. И до сих пор мне кажется, что он ушел сам, по своей воле, чтобы не быть нам в тягость. Друг Володя, подымается ветер, тебе холодно.

– Еще нет.

– Не стесняйся, пользуйся грелкой, которую тебе соорудил Рассвет. У нас сейчас много аккумуляторов.

– Спасибо, друг Утренний Ветер. Я все время думаю о том, что ты мне рассказывал о круге. Вы боитесь его и все-таки соорудили его, чтобы выучить мой язык. Для чего? Там, в круглом стенде, нас, наверное, изучали. А вы?

– Нет, мы не думали ни о каком изучении. Мы думали о том, что ты один. Ты как деф в городе. Один. Мы ненавидим одиночество. Это не значит, что мы всегда бродим толпой, но мы ненавидим равнодушие. Одиночество – это сгущенное равнодушие.

– Спасибо, друг Утренний Ветер. А тот деф, у которого мы с Инеем провели ту страшную ночь, он сейчас один?

– Иней звал его с собой. Он не хотел уйти с ним.

– Почему? Он же деф, как я понимаю. Почему он предпочитает одиночество в городе машин?

– Он полон ненависти. Он что-то задумал. Он так ненавидит город, что не может с ним расстаться. Ты понимаешь?

– Мне кажется, да. В нашем мире сейчас почти не осталось ненависти, но когда-то ее было больше, чем нужно. Если она вообще была нужна... Я беспокоюсь за него.

– Я тоже. Он смелый, но каждого дефа подстерегает в городе столько опасностей... Будем надеяться, он благополучно избегнет их. Скоро кто-нибудь из нас попытается установить с ним контакт и узнать что-нибудь о твоих товарищах. Мы сейчас все думаем о том, как освободить их и вернуть вам ваш корабль.

– Нелегкая задачка.

– А у нас, друг Володя, никогда ничего легкого и не было. Стать дефом, вырваться из города, таиться здесь среди развалин, жить в вечном страхе, что кончатся аккумуляторы, идти в город, не зная, вернешься ли... Включи обогреватель, подымается ветер. Спокойной ночи, друг Володя.

– Спокойной ночи, друг Утренний Ветер.

Удивительно, думал Густов, как быстро он преодолел инстинктивную неприязнь живой плоти к металлу. Разговаривая с Утренним Ветром, он ловил себя порой на том, что уже не воспринимает его как робота. Перед ним был брат. И даже не столько по разуму, сколько по чувствам. Родство по разуму может быть таким далеким и таким враждебным, что и родством его называть не хочется. Разум далек от роли общего знаменателя. Чувства понятнее. Они универсальнее, наверное... Сострадание, стремление помочь всегда будут состраданием и стремлением помочь. Каким бы странным ни было существо, наделенное разумом, какой бы странной логикой ни руководствовалось, какие бы странные цели ни ставило перед собой – сострадание и стремление помочь всегда будут нам понятны...

Ветер уже завывал в развалинах, шуршали мелкие камешки, гонимые им. Он включил обогреватель. Как там ребята в их круглой камере... Круг... Вокруг него начал расти круг, но какой-то странный: дефы, люди... «Я не могу быть в круге, – сказала Валентина, – я не умею быть мудрой». «Не то, не то она говорит, – подумал он. – Не то. Она мудрее многих...»

* * *

Четыреста одиннадцатый возвращался в свой загончик. Сегодня впервые в его жизни произошло событие. «Нет, это неправильно», – поправил он себя, потому что любил точность. Какие-то события происходили и раньше, всегда что-то происходило. Но те события как бы проплывали мимо него, проплывали спокойно, безучастно и так же спокойно и безучастно погружались в его память. А сегодня событие не плыло мимо в неспешном потоке времени – оно накатилось прямо на него, ударило, подняло, заставило вдруг остро осознать себя, выделиться из общего однообразного и равнодушного фона. Он, кирд Четыреста одиннадцатый, стал начальником проверочной станции. И теперь у него есть подчиненные. Он может приказывать и Шестидесят восьмому, и Двадцать второму, и всем кирдам, кто работает на проверочных стендах.

Он получил власть и уже потому стал лучше тех, кто этой власти не имел. А став лучше, выделился, поднялся над однородной толпой. Власть заставляла видеть мир как бы сверху, а не снизу, не из толпы. И новый угол зрения делал весь мир новым: он казался больше, ярче, светлее. И горизонт отступил, словно боялся теперь его. Начальник проверочной станции. И Творец стал теперь ближе и как-то осязаемее. Раньше он был далеко, почти абстрактность. А сейчас Мозг выделил его, заметил и уже самим этим действием стал ближе, конкретнее. И жарче стала его любовь к Творцу всего сущего. Хотелось служить ему верно и хорошо. Хотелось заслужить его похвалу.

Сам Мозг, их великий Творец, слава ему, выделил его из всех бесчисленных кирдов и сделал начальником. Слово было непривычно, но хотелось повторять его снова и снова. Ему казалось, что голова его почти пуста, в ней гулко звучит эхо, перекачивается: «Начальник... ник... ник...»

Нет, не пуста, конечно. В мозгу теперь постоянно пульсировала любовь к Творцу. Мудрый Мозг, давший им жизнь и направляющий их, сделал его начальником. Он увидел его верность и преданность, и он, Четыреста одиннадцатый, сделает все, чтобы верно служить великому Творцу.

Мимо него прошел стражник, автоматическим жестом поднес к нему тестер и так же автоматически опустил его. Как мудро все устроил Мозг, какой стройный и замечательный порядок! Правильно сделал стражник. Пусть светило уже садится и кирды возвращаются по домам, все равно нужно проверять штамп у каждого. А то вдруг прокрался в город грязный

деф, затаился, чтобы улучшить момент и наброситься на честных кирдов, которые хотят только верно служить своему Создателю. А им, порождениям хаоса, это отвратительно. Им бы только разрушать все, разъедать, развращать. Проклятое племя...

Вон и еще один стражник. Это хорошо. На улицах должен быть порядок. Город надо защищать. Стражники служат Творцу, они его охрана, его гвардия, и он, Четыреста одиннадцатый, теперь тоже гвардия. Может быть, Творец даст и ему какой-нибудь другой знак – круг, например.

Он вошел в свой загончик и уже приготовился было выключить сознание, чтобы впасть в предписанное законом временное небытие, как вдруг заметил голову, валявшуюся на полу. Он замер на мгновение и уже хотел было доложить о неожиданной находке, но замешкался. Только что Мозг удостоил его высочайшей чести, а он сразу... Творец спросит: «Откуда в твоём загончике вторая голова? Кирду не полагается иметь больше одной головы». – «Я не знаю, – скажет он, – понятия не имею». А Мозг... А вдруг он спросит: «А кто же имеет? Это твой загончик». Нет, нет, он все объяснит, он объяснит, что чист перед ним, что только сегодня его просматривали на фантомной машине. Но... А вдруг Творец рассердится? «Ты что, – скажет, – хочешь, чтобы тебя снова просвечивали? Ты считаешь, что стоишь такого количества энергии? Может, построить тебе отдельную машину, чтоб просвечивать тебя каждый день?»

Что делать? Что делать? Он уже преступник, что б он ни говорил, что б ни объяснял: он не доложил сразу о находке, он стоит в загончике и до сих пор не впадет во временное небытие... И каждое следующее мгновение все утяжеляло и утяжеляло его вину. Он физически ощущал ее, как будто кто-то невидимый быстро накладывал на его плечи огромные камни. Они давили на него, прогибали, причиняли боль. Ему хотелось сбросить груз, столкнуть с себя какое-то дефье оцепенение, напрячься и разорвать липкие и холодные ленты страха, что так плотно спеленали его. Он не хотел, чтоб его проступок превратился в преступление. Он не хотел падать с еще необжитой высоты в низину безвестного равенства.

Но он все стоял и стоял с невыключенным сознанием и никак не мог решиться открыть главный канал связи. Пока он не доложил Творцу, он все еще начальник. А если доложит... Никто не видел его, никто во всей системе не знает про эту проклятую голову, что подбросили ему дефы. «Конечно, дефы, – подумал он. – Только этим тварям и придет в голову такое...»

В голову... Он вдруг решил, что докладывать не будет, и в ту же секунду понял всю нелепость решения. Завтра же, завтра же, когда он подсоединит свою голову, свою, а не этот проклятый шар на полу, к проверочной машине, легкими искорками проскользнут в нее особые импульсы, жадно помчатся по всем логическим схемам его мозга, пока не упрутся в мысль, в образ, в чувство, которые отличаются от заложенного в машину стандарта. И зазвучит сигнал тревоги, вспыхнут контрольные лампы, и кирд с соседнего стенда буркнет, даже не подняв взгляда: «Снимай голову...» И он покорно начнет откидывать защелки, и пресс вздохнет, разинет нетерпеливо пасть в ожидании очередной головы. Его головы. О великий Творец, что же делать, что же делать?.. Он поднял с пола голову. Знать бы, заряжена ли она.

В нем вдруг вспыхнула надежда. Крохотная, как искорка на проверочных клеммах, когда подносишь к ним тестер на стенде. Но другой у него просто не было. Ему остро захотелось прикрыть эту искорку руками, чтобы она не погасла, не оставила его лишь наедине с прессом. Если голова пуста – а она наверняка пуста, откуда может здесь взяться заряженная голова? – если она пуста, он попробует зарядить ее своим сознанием, не пропустив туда эти проклятые сомнения, и тогда сразу же доложит Мозгу. Не будет в голове сомнений, можно идти на проверив.

Теперь надо еще попробовать это сделать. Никогда не приходилось ему еще подсоединять голову к другой голове не на стенде, но почему-то ему казалось, что это получится. Обязательно получится.



Словно повинуюсь какому-то наитию, он плотно прижал одну свою клешню к проверочным клеммам найденной головы, другую – к клеммам своей.

И тотчас же мир взорвался тысячами искр, погас, снова вспыхнул, закрутился, помчался в вихре. Четыреста одиннадцатому показалось, что стены загончика падают на него, вот-вот рухнет с грохотом потолок.

Он сжался, он стал совсем крохотным, и на него несся грозный поток; он подхватил его, начал швырять, с ревом ворвался в сознание. Он нес с собой вихрь образов, мыслей, воспоминаний. Мелькали страшные дефы, скалилось уродливое мягкое существо, с гулом вкатывалась в него ненависть.

«Надо сопротивляться, – вяло подумал он, – надо прервать контакт», – но никак не мог оторвать клешни от клемм, потому что уже не он управлял ими, а кто-то другой.

Какое-то время он еще сохранял самосознание, но оно не могло сопротивляться дьявольскому натиску чужих образов, мыслей и ненависти.

Он все еще пытался барахтаться в заливавшем его потоке, когда услышал:

– Я ведь Четыреста одиннадцатый.

Кто это сказал? Он этого не говорил. Он не мог этого сказать, потому что Четыреста одиннадцатый он, а не тот, кто по-дефы вломился в его сознание.

– Я Четыреста одиннадцатый, – сказал он, но в этот момент два противостоящих сознания совместились наконец в одно.

Деф Четыреста одиннадцатый долго не мог прийти в себя. Этот идиот, его двойник, сравнил надежду с крохотной искоркой. Нелепое сравнение. Она была неизмеримо слабее. Она могла, должна была погаснуть, не принеся с собой ничего, кроме черной пустоты. Но вопреки всему она разгорелась, и вот он стоит в своем загончике, держит в руках голову, и клешни его все еще судорожно прижаты к клеммам.

Он знал, что не дало угаснуть этой заведомо обреченной искорке надежды. Ненависть. Он был так полон ненависти, так она была спрессована в нем, что просто не могла исчезнуть в никуда.

Ладно, пора останавливать карусель в голове и начинать думать всерьез. У него был план, и его нельзя было оставить ни на минуту, он постоянно требовал внимания. План был одновременно прост и сложен. Конечно, он понимал, что при холодном анализе ситуации шансов у него немного. Ведь он был один, а враг был повсюду. Нет, не один, поправил он себя. У него была еще яростная ненависть. Вместе с нею он добьется того, о чем мечтал.

Если бы только план удался... Ненависть туманила мысленный взгляд, и он никак не мог рассмотреть будущее во всех деталях, но он знал, чувствовал, верил, что это хороший

план.

* * *

И у Мозга был план. Но в отличие от дефа Четыреста одиннадцатого ненависть не мешала ему спокойно просчитать все варианты. Снова и снова рассматривал он будущее, каждый раз слегка меняя составные детали плана. Это было увлекательное занятие. Он слегка поворачивал одну детальку и с интересом следил, как она цеплялась за две соседние детальки, поворачивала их. Те в свою очередь – следующие четыре и так далее, пока вся мозаика, из которой сложено будущее, не приходила в движение. Еще одно изменение, еще один вариант – и снова легчайший шорох тысяч поворачивающихся деталек.

План был хороший, и Мозг поймал себя на том, что рассматривает его уже не из-за необходимости улучшить, а потому, что созерцание совершенного своего детища доставляло ему удовольствие.

Пора было действовать. Он давно уже никого не допускал к себе в башню. Строго говоря, он даже не ассоциировал себя с этой башней, за толстыми стенами которой находилась огромная машина, которая и была им. Он не воспринимал себя этой машиной, хотя знал, что она является физическим носителем и хранилищем его разума. Он воспринимал себя в виде множества кирдов, в виде стражников, идущих в ночном патруле по улицам города. Он воспринимал себя одновременно городом, который создал, и духом, который давал ему жизнь и движение.

У него не было одного зрительного образа какого-нибудь места или события. Он воспринимал одновременно множество зрительных образов от кирдов, которые посылали ему информацию, поэтому видел мир во множестве измерений.

Он видел, например, производственный центр одновременно двадцатью глазами пяти стражников, охранявших центр. Видел снаружи, потому что стражники находились вне центра. И в то же время в его сознании в эту мозаику вплетались еще сорок осколочков-образов, которые поступали от десяти кирдов-наладчиков, которые работали внутри центра. Он видел прошлое, потому что оно жило в его огромной памяти. Будущее его раздражало. Он жаждал четкости во всех направлениях и хотел видеть будущее так же ясно, как прошлое или, как пространственные координаты. Иногда ему казалось, что это удастся, что время настолько подвластно ему, что он легко пронизывает будущее мощью своего интеллекта. Но порой будущее туманилось, расплывалось, и чем больше напрягал он свой мысленный взор, тем неяснее оно становилось. Ему казалось, что во всем виноваты дефы. Именно они вносят элемент непредсказуемости и тем самым пытаются отрезать от него будущее, которое он хотел бы заранее рассчитать, взвесить, спланировать и затем уже сделать настоящим.

...Сегодня он вызвал к себе начальника стражи. Не потому, что хотел его лучше рассмотреть или услышать. Один на один он все равно не мог ничего увидеть, так как сам по себе не обладал органами зрения. Просто-напросто он хотел вести разговор на минимальном уровне мощности, даже не пользуясь главным каналом связи. Хотя потоки, которыми он обменивался со своими кирдами, и были надежно изолированы друг от друга, он не хотел ни малейшего риска.

Он не хотел, чтобы в башню кто-нибудь приходил. Как-то он проанализировал причины своей тяги к уединенности и пришел к выводу, что его создатели – верты – вложили, очевидно, в него свой страх перед повреждением мозга. Мозг для них был жизненно важен, они прятали его за толстой костяной коробкой своих голов.

Он не верт, он далеко ушел от жалкого порождения слепой природы. У него множество запасных схем, и выход из строя любой его части ничем не грозит ему. Но все равно стремление оградиться от внешнего мира осталось. К тому же он не мог видеть того, кто был рядом с ним. Он мог видеть только чужими глазами.

Но Двести семьдесят четвертый придет к нему. Да, это неприятно, но необходимо. Да, он придет в башню, но... Если план осуществится, это не страшно.

А вот и он. Мозг уловил трепет его канала.

– О великий Творец, начальник стражи...

– Выключи главный канал связи, перейди на локальную связь.

– Слушаюсь.

– Где сейчас пришельцы?

– Два пришельца по-прежнему в круглом стенде, третий, очевидно, у дефов. Ты знаешь, великий Творец, как мы...

– Знаю, – оборвал Мозг. – В отличие от тебя я знаю все. Но дело не в этом. Я хочу, чтобы ты сегодня же открыл круглый стенд. Пусть пришельцы выйдут в город. Пусть они свободно бродят по улицам, пусть заходят куда угодно. Важно лишь, чтобы они оставались в поле зрения стражников и не делали попыток покинуть город и добраться до своего корабля. Сделай так, чтобы их видели как можно больше кирдов.

– А если...

– Ты хочешь сказать, что их могут увидеть и дефы, скрывающиеся в городе? Так, стражник?

– О великий Творец, мне незачем даже искать форму для своих мыслей, ты видишь их даже неродившимися.

– Однако, Двести семьдесят четвертый, ты полон самомнения, а оно опасно.

– О великий Творец, я не понимаю...

– Ты думаешь, у тебя есть свои мысли? Ты уверен, что они рождаются в твоём мозгу? Я, я один рожаю мысли. Но дело не в этом. Дело в том, что это-то и нужно мне. Пришельцы должны быть замечены, и о том, что они свободно ходят по городу, что их больше не запирают на ночь, должны узнать дефы.

– Это гениальный план, о великий Творец!

– План действительно хорош, но не тебе его оценивать, стражник, потому что ты его еще не знаешь. Ты думаешь, дефы попытаются напасть на город, чтобы захватить их? Сомневаюсь. Дефы чудовищны в своем противоестественном стремлении к хаосу, но они не глупы. Представь себе, что ты деф.....

– Я не могу, о великий Создатель всего сущего...

– Можешь. Если я приказываю, ты можешь сделать даже то, чего не можешь. Итак, ты деф. Ты прячешься в развалинах, вскормленный ненавистью к красоте порядка, ненавистью ко мне, создателю и двигателю нашего мира. Приходит лазутчик и доносит, что два пришельца свободно ходят по городу и даже ночью их не запирают. Что ты решишь, стражник? Но помни: ты деф, я приказал тебе быть дефом. Думай.

«Он хочет от меня настоящего ответа, – лихорадочно соображал Двести семьдесят четвертый. – Если я начну поносить дефов, он может рассердиться, и тогда... Но что действительно решат эти проклятые исчадия ада? Напасть?» И вдруг он понял, что имел в виду Творец.

– Они не нападут.

– Правильно. Но почему?

– Они решат, что это западня, а пришельцы лишь приманка.

– Я, кажется, выбрал неплохого начальника для моей стражи...

– Благодарю, о великий Творец.

– Но это не все. Дефы все-таки должны напасть.

– Да, но...

– Слушай внимательно. Два или три дня – лучше, пожалуй, три – они должны бродить по городу. В один из дней – я дам команду, когда именно, – их отведут в проверочный центр, как будто мы продолжаем их изучение. К тому времени дефы, очевидно, уже будут знать, что мы ждем их нападения. Но нападать они не будут, боясь западни. Их лазутчики будут скрываться где-то неподалеку от города. Ты должен приготовить пять надежных

стражников. В указанную мною ночь ты прикажешь двум стражникам вывести пришельцев тайно из города. Мол, так решил Творец, пусть убираются к дефам. Два других стражника должны поджидать их у выхода из города. Они должны иметь твой приказ во что бы то ни стало уничтожить стражников-предателей, которые продались дефам, но не трогать пришельцев. Таким образом, у выхода вспыхнет бой. В этот момент пятый стражник должен вывести пришельцев из города и скрыться.

Такой возможностью дефы уже не смогут не воспользоваться. И вот тогда-то спрятанный заранее отряд стражников должен уничтожить и дефов, которые придут на помощь пришельцам, и самих пришельцев. Ты понял, Двести семьдесят четвертый?

– Да, о Дарующий все сущее!

– Ты ведь немножко знаешь язык пришельцев?

– Так точно.

– Объясни им, что мы не пускаем их на корабль, потому что 'ищем третьего пришельца. Как только его найдут, их тут же отправят на их корабль.

– Изумительный план, о Творец!

– Действуй, стражник.

* * *

Двести семьдесят четвертый шел к круглому стенду. Он шел медленно, машинально отвечая на приветствия стражников. Когда они видели его, они вытягивали вперед правую руку. Это был его приказ, и он гордился придуманным приветственным жестом, жестом, похожим на приготовление к выстрелу.

Он все еще был полон трепета, все еще не мог прийти в себя. Впервые Источник силы, Источник мудрости допустил его к себе, и он видел всю мощь несравненного интеллекта в действии. И от того, что соприкоснулся с этой мощью, почувствовал, что и сам стал сильнее, взлетел выше, слава Творцу. Да, страх еще не улетучился из него, но то был сладостный страх.

Он открыл дверь круглого стенда. Пришельцы вскочили и уставились на него. Он долго составлял в уме фразу. Какой нелепый вид связи... А потом нужно еще превратить фразу в звуки...

– Можно, – проскрипел наконец Двести семьдесят четвертый, – выйти.

– Ну, наконец-то, – пробормотал Марков.

– Мы можем попасть на наш корабль? спросил Надеждин.

– Нет.

– Но почему?

– Скоро.

– Когда?

– Мы ищем.

– Густова?

– Да.

– А где он? Он жив?

– Наверное. Мы думаем, его... похищать...

– Кто?

– Дефы.

– Дефы?

– Дефы... плохо. Мы... искать...

Двести семьдесят четвертый повернулся и вышел, оставив дверь открытой. Свет на улице казался ослепительным, и космонавты непроизвольно зажмурились. Можно было выбраться наконец из этой вонючей круглой камеры, но они несколько мгновений стояли в нерешительности.

– Пойдем, Саша, – сказал Надеждин и вдруг улыбнулся.
– Ты чего?
– Говорят, если птица долго сидит в клетке, она теряет желание выбраться из нее.
– Почему только птицы? У маминой приятельницы живет кошка, которая категорически отказывается выходить из дому. Разве что за пазухой хозяйки.
– Боюсь, за пазуху нас никто не посадит. Идем, Сашок.
– А я смогу? Ты думаешь, ноги еще не атрофировались?
– Идем, идем.

Они вышли из круглого здания. Ноги, конечно, не атрофировались, думал Надеждин, но слегка подрагивали. Желтое небо и оранжевое солнце излучали тепло. Пахло нагретым камнем и пылью. Мимо брели роботы, но теперь уже не столь равнодушные: некоторые поглядывали на них, замедляли шаг.

Нереальность всего происшедшего с ними вдруг с повой остротой нахлынула на Надеждина. Он увидел себя со стороны: командир «Сызрани» стоит на нетвердых ногах и смотрит на бело-голубых огромных роботов. Лилипут у Гулливеров. Железных Гулливеров. Этого просто не может быть. Странность может ощущаться странностью лишь постольку, поскольку отличается от нормы. Окружавшая его картина даже не была странной, она просто не укладывалась в сознание. Но, похоже, обходилась и без его сознания, потому что явно существовала.

– О чем ты думаешь, командир? – спросил Марков.
– Пытаюсь привыкнуть к этой планете.
– А мне так и привыкать не хочется... Ты думаешь, они найдут Володьку?
– Думать я ничего не могу, я просто не знаю. Но надеюсь. Я просто не хочу верить, что с ним что-то случилось. Импульсивный неврастеник...
– Здесь, оказывается, есть и какие-то дефы. Уж они-то, надо думать, живые существа...
– Во всяком случае, наши хозяева считают их плохими. Если бы только знать, кто здесь есть кто... Куда пойдем?
– Какая разница? Достопримечательностей я что-то не вижу. Одни коробки без окон. Их счастье, что они, похоже, не очень рассчитывают на туристов. Турист здесь может просто сойти с ума.

– Да, не слишком живописное местечко...
– Коля, – вдруг спросил Марков и пристально посмотрел на Надеждина, – ты думаешь... надеешься, что мы выберемся отсюда? Только честно. Без штатного командирского оптимизма.

Надеждин пожал плечами:
– По-моему, они уже с нами познакомились. Ничего интересного, видимо, не нашли. И слава богу. Для чего мы им? Я думаю, отпустят с богом. Если бы Володька не удрал, может быть, мы бы уже были на корабле.

– И черт его дернул... Как хочется тебе верить, друг Коля. А то, если честно, там, в камере, я уже начал терять надежду.

– Быстро, однако.
– Не в этом дело. Я где-то читал, не помню где, что больше всего заключенные страдали от надежды.

– Заключенные?
– Да, обитатели всех тех острогов, каторг, галер, тюрем и лагерей, к которым наши далекие предки имели какое-то болезненное пристрастие.

– Но как можно страдать от надежды? Мне кажется, наоборот...
– А я понимаю. Надежда может помогать, когда она мало-мальски реальна, когда в нее веришь. А когда знаешь, что надеяться не на что, что надежды быть не может, но продолжаешь цепляться за нее, она может убить. Она... как тебе объяснить... она не дает примириться с заточенном. Другими словами, мешает существовать. На уровне узника, но существовать. Мне моментами казалось там, – он махнул в сторону круглого стенда, – что

мы уже никогда не выберемся на волю. Прошлое смазалось, поблекло, потеряло реальность. Реальностью была наша круглая тюрьма, могильное безмолвие. Эта реальность тянулась и в будущее. И знаешь, от чего я больше всего страдал? Не от вони, не от бездействия и неподвижности, а от нелепой надежды, что вот сейчас дверь откроется, войдет некто и скажет: «Простите, вышла небольшая неувязка, вы свободны, ваша «Сызрань» ждет вас». Но дверь не открывалась. «Ничего, – говорил я себе, – сейчас откроется». А она опять не открывалась. И так с ритмичностью метронома. Пока, наконец, надежда не то чтобы совсем покинула меня, по куда-то отошла по своим делам. И сразу стало легче. А потом и ты со своей апологией клетки в зоопарке помог. «А что? – сказал я себе. – В общем-то и не так плохо, бока только устают от валяния». Чего ты смеешься?

– Я не над тобой. Ты про кошку-домоседку рассказывал, а я сейчас вдруг вспомнил одного знакомого. Попугайчики у него живут. Кажется, они называются волнистые или что-то вроде этого. Он их выпускает из клетки, и они летают по всему дому. Я спрашиваю: «А как ты загоняешь их обратно?» А он отвечает: «Да никак. Полетают немного и сами возвращаются в дом родной». Все та же, как ты выразился, апология клетки.

– Как я понимаю, тебя уже тянет обратно в наш вонючий хлев. Давай побродим еще. Тем более что роботы, похоже, уже не такие невозмутимые, как в первый раз. А это еще что за тип?

Навстречу шел робот с голубым крестом на груди. В руке у него было нечто похожее не то на кеглю, не то на гимнастическую булаву, словно указывал кому-то на землян. Он замер, посмотрел на них, на булаву, опустил ее, еще раз поднял, постоял несколько секунд в нерешительности и двинулся дальше.

– Что за крестоносец с палицей? – спросил Надеждин. – Я уже приготовился к нападению.

– Не знаю, командир, как ты готовился, но я бы на тебя в такой схватке не поставил... А обратно мы дорогу найдем? Я не вижу ни одной примет.

– Мы поворачивали только направо. Думаю, найдем. А что, мой маленький волнистый попугайчик, ты уже налетался? Хочется в клеточку?

– А что ты думаешь? Небольшое пространство легче обжить. Там, в нашей конурке, все привычно, даже вонь. А здесь, среди этих безмолвных железных людей, я никак не могу отделаться от впечатления сна. Даже не сна, а какого-то тягостного кошмара...

– Ну, давай еще немножко побудем в кошмаре, а потом вернемся домой.

* * *

Владимир Густов медленно брел по жесткой, красноватой траве, время от времени оглядываясь, чтобы не потерять из виду ориентир – полуразрушенное здание без крыши, в котором жили дефы.

Ему хотелось побыть одному, хотя бы немножко привести мысли в порядок. У него было ощущение, что он полностью утратил способность что-либо решать. Все случалось как-то само собой. Само собой какой-то дурацкий импульс заставил его удрать из камеры. Само собой он очутился в темном загоне с двумя роботами. Бежал куда-то, задыхаясь. Очутился среди дефов. Но дальше, дальше что? Дефы надеются, что сумеют освободить ребят, но он не очень-то верил в реальность этих планов. К тому же от рациона, который он успел сунуть себе в карман, оставались уже жалкие крохи. А ничего съестного у дефов нет. Максимум, что они могут ему дать, – это заряженный аккумулятор. Они не сразу даже поняли, что ему нужна пища, а не аккумулятор. «Как туню?» – недоверчиво спросил Утренний Ветер. Наверное, зверь какой-нибудь местный. Но если тупи что-то и едят, то он не тунь. Еще несколько дней он выдержит, а потом силы начнут иссякать. Хоть отправляйся обратно в тюрьму. Мол, простите, дорогие тюремщики, виноват, возьмите обратно, есть хочется... Там хоть рационы их.

Боже, сколько здесь развалин! Камни, камни, пустые коробки, треснувшие стены, лежащие набоку, какое-то царство руин. Вчера Утренний Ветер долго беседовал с ним, рассказывал о туннеле, в котором нет света, из которого нет выхода. Вполне понятный образ. Жить только презрением к этим... кирдам, только в заботах о своих аккумуляторах маловато, пожалуй. Тут не только себя в туннеле представишь – взвоешь...

Дорогу ему преградила невысокая стена, вернее, остатки ее с неровным, словно обломанным, краем. Он пошел вдоль нее, пока не увидел пролом. Надо было, конечно, повернуть обратно; все эти развалины похожи одна на другую, абсолютно ничего интересного. Он уже хотел было идти назад, но увидел небольшого зверька, смутно похожего на толстую ящерицу. Ящерица грелась на солнце. Густов хотел получше рассмотреть ее, но она вдруг подпрыгнула высоко вверх, щелкнула на лету челюстями и снова опустилась на свой камень. «Забавная тварь», подумал Густов и подошел к прыгуну, но тот юркнул в пролом в стене и исчез. Может, это и есть тот тунь, о котором говорили дефы? В отличие от него зверек явно чувствовал себя на своем месте и не задумывался о будущем. Густов нагнул голову, заглянул во влажную темноту. За стеной торчали остатки перекрытий, а между ними темнело прямоугольное отверстие. Отверстие было правильной формы и, наверное, именно поэтому привлекало к себе внимание в этом лабиринте обломков. А может быть, вспоминал впоследствии Густов, в подкорке его запечатлелся образ темного туннеля, о котором неясно рассказывал Утренний Ветер.

Он пролез через пролом в стене и подошел ближе к темнеющему прямоугольнику. Теперь он видел, что перед ним был какой-то вход, вход в некое подземелье, потому что почва шла под уклон.

Всю жизнь он делал не то, что хотел. Нет, поправил он себя, это кокетство. Он делал как раз то, что хотел. И не обращал при этом внимания на здравый смысл. Вот и сейчас здравый смысл подсказывал ему, что лезть в темное подземелье незачем, что это опасно, наконец, что, стоит ему провалиться куда-нибудь, это будет обозначать верный конец, потому что никто не придет ему на помощь. Даже если бы дефы начали его искать, они бы не смогли облазить все дыры. Все было так. Нечего даже было взвешивать, одна чашка весов была пуста, на другой – тысячи опасностей. «Надо возвращаться к дефам», – решил Густов и осторожно ступил в подземелье.

У самого входа тоже валялись камни, но дальше идти было легко. «Сделаю десяток-другой шагов; пока еще видно, что под ногами, и вернусь», – сказал себе Густов.

Спуск был пологим, пол ровным, стены, насколько он мог различить в свете, еще проникавшем сюда, гладкими. Он шел маленькими шажками, нащупывая перед собой дорогу. Стало уже почти совсем темно, нужно было поворачивать в третий раз за эту прогулку, но как раз в этот момент стены вдруг вспыхнули ровным неярким светом. Ламп не было, свет рождался в глубине самих стен, точно так же, как в круглой камере, из которой он удрал.

Свет заставил его замереть. «Кто зажег его?» – подумал он. Кто-то, кто увидел его. Туннель уходил вниз и поворачивал в сторону. Свет сочился из стен, они словно исчезали в нем, и Густову почудилось, что он в гигантском аквариуме. Теперь он не боялся, что ступит в пустоту, провалится в какой-нибудь колодец. Зато ему казалось, что кто-то, кто зажег эти стены, пристально следит за ним. Он почти физически ощущал чье-то присутствие.

– Надо вернуться, надо вернуться, дурак, – громко сказал он, и слабое эхо повторило: «...ак, ак...»

Он прошел несколько десятков шагов до поворота и замер, неожиданно пораженный простой мыслью: если он пойдет и дальше по этому подземному лабиринту и свет вдруг погаснет, сможет ли он выбраться, на поверхность? Нет, проход был прямым, и слово «лабиринт» он употребил скорее для красоты.

Проход расширился, он вошел в зал и замер. Перед ним стояли какие-то контейнеры с прозрачными крышками. Он подошел к ближайшему, заглянул в него и непроизвольно отшатнулся: из-под прозрачной крышки на него глядело нелепое существо, лежавшее на

спине. У него была вытянутая голова с двумя парами глаз, небольшим клювом на месте носа и длинной щелью рта. Существо было голое. По обе стороны туловища аккуратно вытянулись две руки. Третья, росшая из груди, была короче и лежала на животе. Но Густов смотрел на глаза. Они были открыты и, казалось, следили за ним. Он сделал шаг в сторону, покачал головой. Трехрукий не реагировал. Конечно, он не был живым, но даже в его неподвижности ему вдруг почудился немой укор: «Зачем ты пришел сюда?..»

Он почти не испытывал страха. «Наверное, – подумал он, – для страха тоже нужна точка отсчета. Вот здесь спокойно и безопасно, а дальше начинается минное поле». На этой чертовой планете неясно было, где этот островок безопасности и есть ли он вообще. И хотя его не покидало ощущение, что кто-то включил свет в стенах, следит за ним, этот некто не казался страшнее, чем все остальное.



«Мумия, – подумал было Густов, но тут же поправил себя: – Нет, не мумия. Мумии высохшие, а у клювастого кожа гладкая, без единой морщинки». Он подошел к другому саркофагу – еще один трехрукий. В каждом саркофаге лежали нагие трехрукие существа.

Он вдруг вспомнил аппараты для гипотермического сна на больших космолетах, «берлоги» – на жаргоне космонавтов. Нет, и эта аналогия не подходила. В берлогах лежали живые люди. Пусть погруженные в глубочайший сон, в холод, который почти полностью останавливал все физиологические процессы, но живые, разные. Это же напоминало скорее фабрику. Фабрику кукол.

Он осторожно прикоснулся к контейнеру. Да, похоже, он был прав, никакого холода под прозрачным колпаком не чувствовалось. При любой теплоизоляции на внутренней поверхности колпака намерзало бы дыхание, если трехрукие пусть замедленно, но хоть как-то дышали.

Он еще раз осторожно качнул контейнер. Саркофаг, казалось, висел в каком-то поле. Он легко поддался, но, качнувшись, принял прежнее положение. Фабрика кукол.

Ему вдруг почудилось, что свет начал гаснуть, и он стремглав бросился по туннелю. Какое счастье, что это был не лабиринт и ему не нужно было думать о том, куда бежать. Сердце колотилось. Эхо шагов металось между стенами. Наконец-то! Он увидел небо. Чужое желтое небо казалось родным. Стены погасли, но он уже видел естественный свет. Что значит древние инстинкты. Только что ему казалось, что бояться нечего, но стоило ему подумать, что сейчас он окажется в темноте, как ноги сами вынесли его к выходу.

Когда он выбрался на поверхность, первое, что он увидел, была ящерица. Она внимательно смотрела на Густова и вдруг подпрыгнула. На лбу Густова высыхала испарина. «Спокойно, спокойно, Володя, – подумал он. – Ну, фабрика кукол, ну, прыгающие ящерицы, никаких оснований для паники. Пора домой, Утренний Ветер будет беспокоиться».

8

Четыреста одиннадцатый увидел пришельцев, когда торопился на проверочную станцию. Они шли, разговаривая друг с другом. Он сразу понял, что они обмениваются информацией, потому что щели на их головах открывались и закрывались. Точно так же, как у третьего пришельца, когда он был тогда ночью в его загончике.

Стражников видно не было. Они шли неторопливо, иногда останавливались, и Четыреста одиннадцатый понял, что они не убежали, что они идут, не боясь стражников. Значит, их освободили.

Это была важная информация. Нужно было сообразить, как ее использовать. Хорошо, если к нему придет лазутчик от дефов. Дефы должны знать, что пришельцы на свободе. Может быть, они попытаются вывести их из города. Это было бы замечательно. Пусть Мозг, великий, несравненный Мозг попрыгал бы, узнав, что пришельцев больше в городе нет.

Сегодня был хороший день. Он подозвал Шестьдесят восьмого. Двадцать второго и остальных кирдов, работавших на проверочной станции.

– Кирды, – сказал он, – наш Творец, да будет славно его имя, приказал мне быть вашим начальником.

– Что такое начальник? – спросил Девяносто девятый. На его голове не было ни царапинки, и Четыреста одиннадцатый подумал, что его, должно быть, только недавно собрали.

– Начальник, – объяснил он, – это тот, кто дает приказы.

– Приказы дает Творец, – недоверчиво сказал Девяносто девятый.

– Конечно, приказы исходят из Источника всей мудрости. Вот он и приказал МР – следить за вами, за вашей работой. Отныне вы будете выполнять мои приказы. Понятно?

– А как же приказы Творца?

– Его приказы самые главные. Когда вы не выполняете его приказы, вы будете подчиняться мне.

– Но тогда... – начал было Девяносто девятый, но Четыреста одиннадцатый оборвал его:

– Тогда ты сунешь свою голову, в которой слишком много глупых вопросов, в пасть прессы. Теперь ты понял, кирд?

Кирды угрюмо молчали, и Четыреста одиннадцатый подумал, что этот новенький, без единой царапины. Девяносто девятый ему нравится. Потом, потом он подумает, что с ним сделать. Может быть, даже заменить ему голову...

Сегодня был хороший день. Он взял со склада три новых головы, сказал, что хочет их как следует проверить, а то поставишь и не знаешь что.

Кирд, работавший на складе, молча вынес ему головы.

– Что-то многовато развелось ныне дефов, – сказал Четыреста одиннадцатый и внимательно посмотрел на кладовщика. Тот промолчал, и он добавил: – Чего молчишь? Или ты так не считаешь?

Когда он их всех выстроил, этот кладовщик, Шестьсот пятьдесят шестой, даже не смотрел на него. Стоит, как будто его ничто не касается. И о нем нужно будет подумать.

– Отныне, – сказал он, – вы будете работать не так, как раньше. В городе появляется слишком много дефов. Наши тестеры слишком грубы и плохо отрегулированы. Мы проверяем кирда, тестер регистрирует сбой, и мы тут же сеем голову под пресс, как будто имеем дело со старым дефом. Надо различать злонамеренных дефов, врагов Творца и порядка, и вполне законопослушных кирдов, страдающих от небольших сбоев...

«Наде заранее оправдать копание в головах», – думал Четыреста одиннадцатый, держа речь перед подчиненными. Они стояли молча, и нельзя было понять по их виду, слушают они его или впали в оцепенение. Жалкие машины! Но они же не виноваты. Машина не может быть виновата, что она машина, что она часть системы. Но он... Не нужно жалеть их. Жалость расслабляет. Нужно ненавидеть.

– Работайте, – приказал он, и кирды молча двинулись к своим местам.

Начинать нужно было со стражников. Надо приказать, чтобы все стражники проходили проверку на его стенде, и он потихоньку будет менять им голову – делать из них дефов. А когда таких наберется достаточно много, он взорвет этот проклятый город изнутри. Все остановится в вызванном им хаосе. Дефы будут хватать благонамеренных кирдов и тащить сюда, где и они сменят свои тупые головы на дефы. И разрешающие штампы в конце концов они будут ставить дефам, а не тупым кирдам, и система остановится со скрипом. И надменный Мозг будет бомбардировать всех приказами, а его подданные не обратят на них никакого внимания. Его даже не нужно будет уничтожать, этого Творца, как он себя называет, он сам уничтожит себя в бессильной ярости.

Видения были сладостные, они наполняли его нетерпением. Хотелось вцепиться в них, упереться как следует ногами и тащить, тащить их к себе, втащить их в реальность, заставить их стать реальностью. Его снедало нетерпение. Оно, казалось, раздувало его. Если не дать ему выхода, оно взорвет его. «Спокойно, – привычно одернул он себя. – Сохранять осторожность». Город еще не его, правит еще Мозг, и никто не должен догадываться, что замышляет новый начальник проверочной станции.

В тот день он неплохо поработал: превратил двух стражников в дефов. И ночь была удачной. К нему приходил Иней, и он сообщил ему, что пришельцы на свободе.

Когда они разговаривали, Иней вдруг внимательно посмотрел на него и сказал:

– Ты полон нетерпения и ненависти...

– Ты хочешь, чтобы я смотрел на город равнодушно, как правоверный кирд?

– Нет, но...

– Вы, дефы, слишком кротки.

– А ты разве не деф?

– Деф, но я не хочу быть кротким. Я ненавижу и хочу ненавидеть...

Иней долго смотрел на него, но ничего не возразил. Да и что он мог возразить?

* * *

В лагере дефов шел военный совет.

– Мы просто не можем не попытаться освободить твоих товарищей, – сказал Иней. – Другого такого случая может не представиться.

– Я согласен, – сказал Звезда.

– А я не уверен, – возразил Рассвет.

– Почему? – удивился Иней.

– Мозг неглуп...

– Он давит на все и всех! – крикнул Иней. – Он воплощение тупой системы города...

– Подожди, речь ведь идет не об этом.

– Рассвет прав, – кивнул Утренний Ветер, – надо все как следует взвесить. Объясни нам, Рассвет, что тебя смущает.

– Мозг неглуп. Он умеет рассчитывать ходы и никогда не делает ничего, что бы не было ему полезно. Что бы не укрепляло его систему. С этим, надеюсь, спорить вы не будете? Нет? Тем лучше. Наш друг в городе сообщил Инею, что пришельцы на свободе. Зачем Мозг освободил их, спрашиваю я себя.

– А почему бы ему не освободить их? – сказал Иней. – Чем они могут угрожать ему?

– Ты прав, друг Иней, два пришельца не могут причинить Мозгу вреда. Но что больше

всего любит Мозг?

- Он ничего и никого не любит, кроме себя.
- Согласен. Но город – это его создание. Он как бы продолжение его. Любя себя, он не может не любить город. Так?
- Так, – согласился Иней.
- Город – это система. Система – его порядок.



В глазах Мозга порядок – высшая мудрость. Все движется по раз заведенному порядку. Кирд идет быстро значит, выполняет приказ. Кирд идет медленно – значит, возвращается в свой загончик. День начинается с проверки. Прошел проверку – получи разрешающий штамп. Получил штамп, выполняй приказ. Не получил приказа – стой во временном небытии. Все четко, ясно, предсказуемо, никакой неопределенности.

- Ты говоришь так, как будто восхищаешься городом, – буркнул Иней.
- Чтобы победить врага, надо понимать его. От того, что мы будем в тысячный раз повторять, как тупа и же стока система кирдов, лучше ее мы не поймем.
- Друг Рассвет говорит мудро, – сказал Утренний Ветер. – Я думаю, нам нужно не возражать ему, а прислушаться. Продолжай.
- Я напомнил вам о Мозге и его любви к ясной четкости именно потому, что меня настораживает освобождение пришельцев.
- Я не понимаю, – пробормотал Звезда.
- Пришельцы не получают приказов, не проходят проверки, не торопятся выполнять их. Четыреста одиннадцатый рассказал Инею, а Иней – нам, что они просто бродят по городу. Кирды никогда не бродят без цели. Зрелище двух существ – пусть даже они не кирды, а пришельцы, – зрелище двух бродящих без дела существ смущает кирдов. Они вносят хаос в строгий чертеж города. А больше всего Мозг и кирды ненавидят хаос. Не случайно они называют нас порождением хаоса. Я не могу поверить, что Мозг выпустил пришельцев без цели. Если, конечно, он на самом деле их выпустил.
- Что ты хочешь этим сказать? – спросил Иней
- Я не знаю... Ты ведь сам не видел пришельцев?
- Нет, я был в городе ночью.

– Тебе рассказал Четыреста одиннадцатый?

– Да.

– Он мог рассказать о том, чего не было...

– Он... – начал было Иней, но Рассвет остановил его движением руки:

– Я не утверждаю, что он обманул тебя. Он мог ошибиться. Ему могли сказать другие...

– Кто?

– Хотя бы сам Мозг... Ты уверен, друг Иней, что он настоящий деф?

– Он спас меня. Я рассказывал об этом.

– Да, да, конечно. Ты прав, мои подозрения беспочвенны. Ваша встреча была случайной, ее нельзя было предусмотреть и рассчитать заранее, а Мозг силен только в том, что может рассчитать заранее.

– Вот видишь, – сказал Звезда, – твои сомнения не имеют основания.

– Я еще не кончил. Вы помните эти чудовищные машины на проверочной станции, которые обшаривают каждый уголок памяти? Вот так и я сейчас обшариваю свой мозг. Только я ищу другое. Я ищу тайный смысл в действиях большого Мозга. Будем исходить из того, что он действительно выпустил пришельцев. Я вижу в этом только одну цель.

– Какую? – спросил Звезда.

– Он хотел, чтобы мы узнали об этом. Чего он и добился.

– Это нелепо, – возразил Иней.

– Это вовсе не нелепо. Это довольно умно. Мы узнаем о том, что пришельцы на свободе. Что, с точки зрения Мозга, сделают дефы? Один пришелец уже у них. Ну конечно же, они попытаются захватить их. Знание будущих ходов врага утраивает силы. Если Мозг уверен, что мы нападём, он приготовит лучших своих стражников, и многие из нас не вернутся домой.

Дефы задумчиво молчали. Утренний Ветер посмотрел на Густова.

– Володя, мы хотим знать твое мнение.

– Мне кажется, Рассвет говорит мудро.

– Спасибо, – сказал Рассвет.

– Значит, пусть пришельцы томятся в городе, – сказал печально Иней.

– Я еще не кончил. Я не хочу считать Мозг глупее меня. Если я так легко догадался о западне, Мозг почти наверняка мог предположить, что у нас возникнут подозрения.

– На что же тогда он рассчитывает?

– Я не знаю. Я знаю лишь, что нельзя идти в город...

– Но что-то же он задумал, – пробормотал Утренний Ветер.

– Главное – быть начеку, – сказал Рассвет. – Выждать.

– Здесь? У нас в лагере? – воскликнул Иней. – Мы только и делаем, что выжидаем. И что мы узнаем здесь?

– Я не сказал, что выжидать нужно в лагере. Пошлем отряд ближе к городу и будем наблюдать.

– Это умно, – кивнул Иней. – Я напрасно погорячился. Я знаю место, дальше которого стражники не пойдут, потому что перестают принимать на таком расстоянии приказы Мозга, а без его приказов они и шагу ступить не умеют.

– Ну что ж, – сказал Утренний Ветер, – я рад, что мы больше не спорим. Давайте подумаем, кого мы пошлем в это место...

* * *

Сколько он помнил себя, а он никогда ничего не забывал, Мозг никогда не работал так четко, никогда не чувствовал такого удовлетворения от сознания своей интеллектуальной мощи. Мысли текли одна за другой, в строгом порядке, не обгоняя друг друга и не отставая.

Они впитывали всю информацию, перерабатывали ее, сортировали, выбрасывали ненужное, перестраивались и шли дальше.

У него ничего не было, кроме мысли. Он и был мыслью.

Он не знал морали хотя бы потому, что для морали нужен образец, точка отсчета, а ему не с кем было себя сравнивать. Он был един, он был целым миром, он был началом и концом всего разумного. Он не знал закона, потому что и для закона нужны вехи – что можно и что нельзя, а вехи устанавливал он сам. Для других. Для себя вехи ему были не нужны. Он был выше закона, он воплощал его в себе.

Он никогда не сомневался в своем праве управлять кирдами, хотя они не просили его об этом, не выбирали своим правителем. Он создал город, систему, и кирды были просто деталями этой системы.

Город был его детищем. Он отвечал за него. Не перед кем-нибудь, а перед самим собой. Он отвечал только перед самим собой.

Он никогда не злоупотреблял своей абсолютной властью, ибо злоупотребление предусматривает наличие закона и стремление к собственной выгоде за счет других. Как мы уже сказали, Мозг не знал закона, а собственную выгоду не отличал от выгоды системы. Что было хорошо для него, то было хорошо и для системы. И наоборот.

Он мыслил только двумя категориями, которые в его сознании сливались в единое целое: он и город. Отдельные кирды не интересовали его. Они были просто деталями системы. Он переставлял их, если нужно было переставить, приказывал сделать то-то и то-то, если нужно было это сделать, но не воспринимал в виде отдельных существ. Да, он наделил их мозгом, но только для того, чтобы они лучше выполняли его приказы. Если вдруг они сами начинали решать, что делать, а что – нет, это значило, что они вышли из строя, превратились в дефов. Если кирды начинали думать самостоятельно, это значило, что головы их немедленно подлежали замене. Самостоятельность означала индивидуальность, индивидуальность – хаос, противопоставление порядку.

Система могла и должна была развиваться, но только в направлении, которое он выбирал для нее. Она могла усложняться, но только не превращаться в хаос.

Реакции, которые он взял у пришельцев, обогатили систему, но требовали особого контроля. Даже любовь к нему требовала неусыпного наблюдения. Ослабь его – и кирд начнет направлять любовь к другим кирдам, к дефам, а это уже хаос.

Пришельцы сделали свое дело и теперь не были нужны ему, хотя завтра, послезавтра или через тысячу дней он мог захотеть еще раз проанализировать их странные реакции, которые столь сложно взаимосвязаны.

Но оставить их в городе он не мог. В городе не должно было быть чужих. Никто и ничто не должно было нарушать четкость и порядок, никто и ничто не должно было смущать кирдов.

Когда он обдумывал эту проблему, какое-то время она казалась неразрешимой. Одно условие противоречило другому. Но время это было малым. Мозг не терпел препятствий. Они лишь удваивали его энергию. И он выработал план, который сразу же уничтожил противоречия.

Пора было действовать, и он снова вызвал к себе Двести семьдесят четвертого, чтобы исключить даже ничтожнейший риск утечки информации. Он будет разговаривать с главой стражников на самом низком энергетическом уровне, так, чтобы излучение, которое несло его приказы, не покидало пределы башни.

Он почувствовал приближение кирда.

– Я явился по твоему приказу, о великий Творец, – доложил Двести семьдесят четвертый.

– Слушай внимательно. Где сейчас пришельцы?

– Я видел их, когда шел к тебе. Они направлялись к круглому стенду. Они, наверное, устали. Усталость это состояние, сходное с разрядкой аккумуляторов.

– Хорошо. Ты отправишься к ним и произведешь полный анализ их голов.

– Слушаюсь.
– Не торопись. Ты запишешь результаты анализа на магнитные кольца и принесешь их ко мне.

– А пришьельцы?
– Ты не скопируешь содержимое их голов, а заберешь его у них, оставишь им лишь элементарные основы. После анализа они должны уметь лишь двигаться, чувствовать боль, потребность в источниках энергии. Ты понял, стражник?

– Я понял, о великий Творец.
– Ты знаешь, для чего я это делаю?
– Кирд не может познать мудрость Творца.
– Хороший ответ, я доволен тобой. Двести семьдесят четвертый.
– Слава великому Творцу!
– Выполняй приказ.
– Слушаюсь.

Он начал выполнять свой план. Побуждаемое его волей, его разумом, повернулось первое колесико. Оно вошло в зацепление со вторым, тоже повернув его, то в свою очередь с третьим и так далее.

Мозг испытывал глубокое удовлетворение и спокойствие: это был хороший план и взаимодействие всех его деталей было рассчитано им с величайшей точностью.

* * *

– О чем ты сейчас думаешь? – спросил Марков Надеждина. – У тебя необыкновенно сосредоточенный вид. Надеждин сидел на полу, прислонившись к стене.

– О том, как плохо предавать детские мечты. Когда я был совсем маленьким, я мечтал стать аквапастухом. О большем счастье я не мечтал: болтаться целыми месяцами где-нибудь в океане, пасти рыбы стада... Господи, может ли быть что-либо лучше, чем зеленая подвижная упругость волны, запах влаги, неслышное кружение солнца, рыбье бормотание в глубине, бесконечные споры с дельфинами...

– Ты рассказываешь так, будто проработал морским пастухом всю жизнь.

– Нет, Сашок, я пробыл в океане всего месяц, когда меня взял с собой дядя. Он был тогда старшим аквапастухом в Карибском море. Дядя был мудр и строг. Помню, когда я первый раз разговаривал с дельфинами – я сидел на приборном плотике, а они описывали круг за кругом, и я крутился, чтобы видеть их, – я сказал дяде, что они глупые.

«Ты в этом уверен?» – спросил дядя. У него была почти совсем седая борода и черные волосы на голове, и я никак не мог понять, почему так.

«Конечно, – сказал я. – Они глупые».

«Почему?»

«Они говорят, что они умнее нас. А я спрашиваю: «Как же вы умнее, если у вас ничего нет, плаваете себе и плаваете?»

«И что они ответили тебе?» – спросил дядя.

«Они сказали: «А ты уверен, мальчик, что для счастья обязательно нужно что-нибудь иметь?» Глупые дельфины».

«Запомни, Николай, – сказал дядя, и оттого, что он назвал меня Николаем, а не Колькой, как обычно, я понял, что он сердится. – Никогда не считай глупее себя того, кого ты не понимаешь».

«Но, дядя, – возразил я, – они говорят, что счастливы. Как можно быть счастливым, если вокруг все время одно и то же?»

«Запомни, племянник, истинная мудрость часто бывает так проста, что кажется глупостью... Когда-то в глубокой древности были пророки...»

«Кто это?»

«Это были мудрецы, которые пытались открыть людям глаза».

«На что?»

«На то, что мудрость и счастье в сущности очень близки...»

«Их слушали?»

«Нот, почти никогда не слушали».

«Почему, дядя?»

«Именно потому, что они были мудры. А людям они казались жалкими безумцами, и они смеялись над ними, показывали на них своим детям, чтобы и дети посмеялись над их худыми, протянутыми руками, торчащими из лохмотьев, и над их горящими глазами, а главное – над глупыми словами...»

Больше тогда дядя объяснять мне не стал, и только теперь я, кажется, начинаю понимать, что он был прав.

– К чему ты это?

– Как я тебе сказал, мальчонкой я мечтал стать аквапастухом. Потом решил, что это все же скучно: одно и то же. И стал космонавтом. К сожалению. Теперь бы я не смеялся над дельфинами. Я бы сказал им: «Вы свободны, вы выбрали ваш путь, мы – наш, и в разнообразии путей высшая гармония мира...»

Надеждин не успел кончить, потому что дверь отворилась и в камеру вошел робот.

– Мне кажется, – пробормотал Марков, – это наш знакомый. Здравствуйте, – кивнул он роботу.

– Здравствуйте, – проскрипел робот. – Будем... изучать.

При этих словах часть потолка опустилась, вогнулась, образовав нечто вроде огромной круглой шляпы.

– Стоять, – сказал робот, – тут... – Он сделал жест рукой Маркову, приглашая его стать под шляпой.

– Изучать так изучать, что с вами делать, – пробормотал Марков и стал под шляпу.

Послышалось низкое басовитое гудение, и Марков почувствовал легкую сонливость. «Не хватало еще заснуть стоя, как лошадь», – подумал он. Нет, пожалуй, это не было похоже на сон. Похоже и не похоже. В голове образовалась какая-то щекотная легкость, которая напоминала ему... Странно, только что он знал, что именно напоминала эта... Что это? Он почувствовал головокружение. Все вокруг вращалось, а может, это его голова вращалась? Вот этот, перед ним... Фигура человека, смотрящего на него, казалась бесконечно знакомой. Ну конечно же, это... Он не мог сообразить, кто это. Это было странно. Какой он забывчивый сегодня, наверное, это связано с тем, что... только что, совсем только что он угадывал связь своей нелепой забывчивости с чем-то, видел эту связь. Но как только обратил на нее внимание, связь эта лопнула с легким шорохом, и оборванные концы ее шелкнули, как... И это он не помнил уже. Как что? На него нахлынуло какое-то неприятное чувство, но он никак не мог вспомнить, как оно называется, и потому не мог определить его. Что-то он плохо соображает... Карусель остановилась, но все вокруг начало наступать на него, стены сжимались, мир уменьшался, и он уменьшался вместе с ним. Он, наверное, уже не похож на себя, подумал тягостно он. Он... И опять послышался легкий шорох. В его мысленном взоре змеились концы оборванных логических связей. Он знал, что это плохо, но что именно – не понимал. «Я...» Он вдруг понял, что не знает, кто он. Его «я» разорвало стропы и теперь взмыло куда-то, больше ни с чем не связанное и потому неосознаваемое...

– Ну как? – спросил Надеждин.

Марков ничего не ответил.

– Ты что, не слышишь?

«Может быть, он действительно не слышит», – подумал Надеждин и повторил громче:

– Ты меня слышишь?

Марков все-таки услышал, потому что повернул голову и посмотрел на него. Слава богу. Но почему он все-таки не отвечает? И тут он увидел глаза товарища. Они были совершенно пусты.

– Сашка! – крикнул он, бросаясь к товарищу.

Марков тупо смотрел на него. Рот полуоткрыт, на лице не то страх, не то изумление.

– Сашок, милый, что с тобой?

Марков не отвечал. Из уголка полуоткрытого рта вытекла тоненькая струйка слюны. Надеждин хотел схватить товарища, прижать к себе, потрясти, чтобы вытряхнуть из него и заодно из себя это страшное наваждение, но Марков что-то испуганно замычал и отскочил в сторону.

Сволочи, это их гнусный колпак, что мухомором торчит из потолка, все он. Что они сделали с Сашкой...

– Что это значит? – заорал он, повернувшись к роботу.

Тот показал рукой на место под колпаком.

– Тут, – проскрипел робот.

– Что тут?

– Стать.

– Чтобы я стал?

– Да.

– Это вы... сделали это?

– Да.

– Верните все назад!

– Стать, – повторил робот.

– Что стать, что ты повторяешь! Приведи Маркова в порядок, слышишь, гад?

Он никогда не думал, что в каких-то запасниках его души таится такая горячая, густая ярость. Он знал, что нельзя терять голову, что глупо было кричать на робота, а тем более кидаться с кулаками на это огромное металлическое существо, но ничего не мог с собой поделать. Ярость была сильнее тормозов разума. Она подняла его, бросила вперед. Острая боль пронзила руку, и он понял, что ударил кулаком в голубой крест на бело-голубой груди. Он был крупным человеком, и кулаки у него были тяжелые, но природа создавала их без расчета на массивные металлические поверхности.

В следующее мгновение он почувствовал, как робот защелкнул клешню на его запястье. Он непроизвольно попытался выдернуть руку, но его рывки лишь отзывались острой болью – края клешни врезались в кожу. Робот сделал шаг, и Надеждин понял, что он тащит его под колпак, туда, где стоял бедный Сашка. Это что? И его тоже они хотят превратить в идиота, пускающего слюни? Нет, не выйдет! Он уперся обеими ногами, откинулся назад, но робот продолжал молча тащить его. Вся тяжесть его тела давила сейчас на запястье. Еще мгновение – и рука выскочит из плечевого сустава. Боль помутила его разум, сама заставила переступить, только ослабить давление, снять раскаленную боль.

Он снова попытался упереться ногами в пол, но робот тащил его с силой и равнодушием тягача. Он был уже под колпаком, слышал низкое гудение. Сейчас они и с его головой сделают что-то. Он дернулся, но почувствовал, как клешня на его запястье сжалась. Сквозь всплеск нестерпимой боли ему показалось, что он слышит хруст раздавливаемых костей. Он потерял сознание.

* * *

Двести семьдесят четвертый снова стоял в башне.

– Твое приказание выполнено, пришельцы разряжены, о великий Творец всего сущего, – доложил он.

Мозг приблизил его, Мозг доверил ему важное поручение, он был уже не рядовым кирдом, бездумно снующим по городу. Кирды были внизу, маленькие смешные кирды. Он был наверху, рядом с самим Творцом.

– На что они похожи теперь? – спросил Мозг.

– Они как животные, как маленькие туни, например. Протяни руку, и они испуганно отпрыгивают в сторону.

– Они ничего не понимают?

– Ничего, о великий Творец.

– Хорошо. Теперь они могут отправляться к дефам. Теперь они вполне дополняют друг друга, безумные дефы со свихнувшимися головами и бездумные пришельцы. Отличный союз.

План был хорош, он составил его, он запустил его, и ничто теперь не могло помешать его выполнению.

– Я доволен тобой. Двести семьдесят четвертый. Где магнитные кольца с записью?

– Я держу их в руках, о великий Творец.

– Хорошо. Подключи их к терминалу, который ты видишь перед собой.

– Слушаюсь.

Мозг подождал, пока Двести семьдесят четвертый загонял содержимое магнитных колец в Хранилище, которое верты когда-то называли Временным, но которое давно уже стало вечным. Отличное место для двух пришельцев. Всегда у него под рукой. Их нет, и они есть. А пустые оболочки могут теперь отправляться к дефам.

Двести семьдесят четвертый хорошо выполнил поручение. И начальником стражи он оказался неплохим. Жаль было расставаться с ним, но риск должен был быть сведен до минимума. Он знает то, что знать должен только он, Творец мира и Хранитель порядка. Думая о себе, он редко употреблял эти слова, но сейчас он был так горд собой, что они сами по себе вынырнули на поверхность.

– Хорошо, начальник стражи, я доволен тобой. Приготовил ты стражников, которые должны вывести пришельцев и инсценировать бой у выхода из города?

– Так точно, о великий Творец.

– Кто выводит их?

– Пятьдесят четвертый С и Сто семнадцатый С.

– Кто нападает на них?

– Триста пятидесятый С и Семьсот сорок четвертый С.

– Кто должен отвести их после боя подальше от города?

– Пятьсот семидесятый С.

– Хорошо, начальник стражи. Ты ведь сегодня не проходил проверку?

– Нет, о Творец. Ты приказал мне торопиться.

– Да, я спешил. Но ни у кого не должно возникать никаких подозрений. Только ты и я знаем, где теперь истинные пришельцы. Поэтому, чтобы все казалось обычным, ты отправишься сейчас на проверочную станцию, обратишься к Четыреста одиннадцатому – ты начальник стражи, он начальник проверочной станции, – и он сделает вид, что проверяет тебя, и поставит тебе дневной разрешающий штамп. Пусть все кирды видят, что порядок в городе непоколебим, и все без исключения следуют этому порядку. Ты понял?

– Так точно, о великий Творец.

– Иди.

Одна деталь приводила в движение следующую – план выполнялся. Мозг вызвал начальника проверочной станции.

– Четыреста одиннадцатый, – сказал он, – скоро на станцию придет Двести семьдесят четвертый. Когда я сделал его начальником стражи, я думал, что он будет верно служить мне и городу. Может быть, тогда он и был чист передо мной, ведь фантомные машины не ошибаются. Но он все-таки стал дефом. Зараза отравила и его мозг: и он примкнул к предателям, и он сеет семена хаоса. Его нужно разрядить. Ты понял приказ?

– Так точно, о великий Творец всего сущего, – четко ответил Четыреста одиннадцатый.

– Повтори приказ.

– Разрядить Двести семьдесят четвертого, о Создатель мира.

– Хорошо. Доложишь об исполнении.

* * *

Двести семьдесят четвертый быстро шел к проверочной станции. Он выполнял приказ, и ему бы в голову никогда не пришло хоть на мгновение остановиться, замедлить шаг или зайти по дороге куда-нибудь еще. Приказы были священны, и кирды для того-то и появлялись на свет, чтобы выполнять приказы. Это дефы с их спутанными жалкими мозгами не знают радости подчинения, глубокого удовлетворения от растворения в чужой воле. Немудрено, что они прячутся где-то в развалинах, как какие-нибудь туни. Им чужда идея порядка, четкости и гармонии.

Он, как и все кирды, был создан для выполнения приказов Мозга, но теперь его еще и переполняла любовь к Творцу всего сущего. Творец велик и мудр. Творец всегда отмечает и награждает тех, кто чист перед ним и кто верно служит ему. Ведь сколько кирдов в городе, а он все-таки отметил его, приблизил к себе. В том-то и проявляется его мудрость, что он знает, кто по-настоящему чист перед ним, а кто только делает вид. «Слава Творцу! Слава Творцу!» – прокричать-то каждый сможет, а ты попробуй добейся того, чтобы все твои логические схемки сияли чистотой, чтоб весь мозг был полон преданности Создателю, тогда никакая дефья зараза не разьет голову. Она ведь отравляет слабых, нетвердых, нечистых в мыслях.

И как предан сам великий Мозг порядку! Ведь знает, что он, как начальник стражи, может идти и без разрешающего штампа, стражники-то все знают его. Но нет, главное – порядок. Полагается кирду каждодневно получать разрешение на дальнейшее существование, значит, из правила не должно быть исключений. Для него, начальника стражи, ничего унижительного здесь нет. Пусть все видят, что и кирд с двумя крестами на груди тоже идет на проверку.

Впереди показалось здание проверочной станции.

* * *

Четыреста одиннадцатый не знал понятия «злорадство», но именно это чувство он испытал после получения приказа Мозга. Ага, трещит, трещит проклятый город, на глазах распадается, взрывается изнутри. Если уж сам начальник стражи стал дефом, если даже два голубых креста на груди не защитили его от наступления свободной мысли, значит, не долго осталось Мозгу дергать за веревочки, управляя своими машинами. Еще немножко, и город остановится, проклятая система рухнет, и жалкий Мозг будет сам себе давать приказы и сам себе рапортовать об их выполнении. О, они даже не станут уничтожать его, разве что ограничат потребление энергии. Пусть живет себе и работает потихоньку вхолостую, чтобы кирды смогли приходить иногда в башню посмотреть на него. И старые дефы со шрамами и вмятинами от схваток со стражниками будут рассказывать только что собранным братьям:

«Вот он. Этот Мозг когда-то повелевал всем городом и приказывал отправлять под пресс все головы, в которых рождались свободные мысли...»

А новенькие, без единой царапинки, дефы будут удивленно смотреть на Мозг и недоверчиво спрашивать:

«Как же так? Он ведь один, а кирдов много. И потом, он не умеет двигаться».

Старые дефы будут терпеливы:

«Понимаете, когда-то кирды были машинами...»

«Но они умели же думать».

«Уметь-то, может быть, и умели, но не думали».

«Почему?»

«У них не было своей воли. Они жили чужой волей. Вот этого Мозга».

«Но ведь появлялись же дефы. Вы сами рассказывали...»

«Да, появлялись. Потому что даже среди тупых и покорных иногда зарождается свободная мысль...»

«Но почему же эти первые дефы не повели за собой кирдов? Почему не уничтожили Мозг? Разве кирды не хотели быть свободными?»

«Это не так просто. Рабство, бездумность, привычка к слепому повиновению удобны. Свобода пугала их. Они сами доносили Мозгу о дефах».

«Как все странно», – скажут в замешательстве новенькие дефы, не знающие, что такое приказ и трубка стражника, откуда вырывается голубой луч, вспыхивает на мгновение крошечным пятном на поверхности головы и вгрызается внутрь, оплавливая и разрушая цепи мозга.

Картина была такой живой, что Четыреста одиннадцатый вздрогнул, когда в музее будущего вдруг появился начальник стражи и сразу вернул его в настоящее.

– Проверка и штамп? – для чего-то спросил Четыреста одиннадцатый, хотя прекрасно знал, для чего пожаловал Двести семьдесят четвертый.

– Да, начальник станции, проверь и поставь штамп. Порядок превыше всего.

«Бедный кирд, – подумал Четыреста одиннадцатый, – он ведь знает, чувствует, догадывается, что стал на путь дефа. Знает, что сейчас замигают лампы на контрольном стенде, завоет сигнал, оплакивая конец его пути. Знает, бедняга, оцепенел, наверное, от близости вечного небытия, но держится молодцом. Ведь в его глазах я палач, палач презренного Мозга. Как же он должен ненавидеть меня, чтобы ненависть дала ему эти последние силы. Ничего, брат, держись, я не суну твою голову под пресс. Ты не один в этом проклятом, расчерченном на квадраты городе... Но нужно быть осторожным, вон Шестьдесят восьмой посматривает на него задними глазами, Девяносто девятый прошел лишний раз, не каждый день увидишь здесь начальника стражи с двумя крестами на груди».

– Нагнись, – приказал он нарочито сурово, – голову сюда.

Пусть все видят и слышат, как он работает. Кирд или стражник, рядовой или начальник – здесь, на станции, все равны.

Он включил проверочную машину. Странно. И контрольные лампы не мигают, и звуковой сигнал молчит. Плохой, очевидно, контакт. Нельзя быть таким рассеянным. Думал о музее будущего, а сам даже не смог как следует подсоединить клеммы. Не расслабляться, эдак не долго он продержится на этом вулкане, а он только в самом начале пути, который выбрал для себя.

Он снова включил машину. И снова не вспыхнули контрольные лампы, и снова молчал звуковой сигнал. Он взглянул па шкалу. Стрелка даже не шевельнулась, а цифровой индикатор отклонения от нормы лениво перемигивался: то ноль, то единица. Что за чудеса? Перед ним был не только что не деф – он давно не видел такого образцового кирда. Ни малейшего сбоя, ни малейшей неположенной мысли.

Четыреста одиннадцатый добавил мощности своему мозгу, нужно было попытаться понять, что это все значило. Приказ Мозга был ясен: деф, нужно разрядить его. А он не деф, никогда дефом не был. Мозг не может этого не знать... Выходит, это проверка. Ну, конечно. Мозг заподозрил его, Четыреста одиннадцатого. Не иначе как этот Шестьдесят восьмой донес. Хоть одним глазом, но все время следит за ним, доносчик.

Он мгновенно окинул мысленным взором все свои поступки. Как будто нигде он не оступился, ничем себя не выдал. Если бы кто-то донес, что он общался с Инеем, его бы не проверяли таким образом. Луч в голову, голову под пресс, тут разговор короткий.

Нет, тут просто подозрения, не больше. Кто-то донес Мозгу, но ничего определенного сказать не мог, вот он и решил проверить. Но такой ценой... Странно, странно... Сунуть голову начальника стражи под пресс только для того, чтобы убедиться, насколько четко работает Четыреста одиннадцатый. Конечно, надо бы получше обдумать ситуацию, но Мозг не случайно приказал ему доложить о выполнении. Тянуть нельзя.

– Все в порядке, – сказал он начальнику стражи, – но, раз ты уже здесь, проверим

заодно и контакты головы, а то из-за них-то и бывает большинство сбоев, упаси нас Мозг.

– Упаси нас Мозг.

– Помоги мне.

Двести семьдесят четвертый начал отщелкивать запоры, а Четыреста одиннадцатый взял двумя руками голову начальника стражи и рывком снял ее с туловища. Наступил самый важный момент. Хорошо, что этого Шестьдесят восьмого не было в зале, пошел, наверное, в склад. Он швырнул голову в ящик, где лежали новенькие головы, а одну новенькую голову сунул в разинутую пасть пресса, нажал кнопку. Пасть чавкнула, хрустнула и выплюнула плоский блин.

Четыреста одиннадцатый включил главный канал связи:

– Твое приказание выполнено, о великий Творец, голова дефа побывала в прессе.

– Хорошо, начальник станции. Ты проверял его на проверочной машине?

Ага, вот она, проверка!

– Прости, о Создатель всего сущего, но я не подумал об этом. Ты сказал мне, что презренный деф...

– Значит, ты не проверял его?

– Прости, о Творец.

– Ты выполнял приказ, и тебя не в чем винить. Я доволен тобой, Четыреста одиннадцатый.

Ну, что ж, кажется, он все сделал правильно. Он нагнулся над ящиком и положил голову начальника стражи так, чтобы ее прикрывали новенькие, еще не бывшие в употреблении головы. Наверное, нужно было действительно расплющить эту гнусную в рабской преданности Мозгу голову и не рисковать, еще не поздно, но чудилась, чудилась Четыреста одиннадцатому какая-то нелепость во всем этом деле. Мозг не мог не знать, что Двести семьдесят четвертый чист перед ним. В нем ничего не было, кроме рабской преданности. И все же послал его в вечное небытие. Только ли чтоб проверить начальника станции? Ведь, если бы Мозг захотел, есть столько способов проверить его чистоту, упаси от них Творец. Просит Творца уберечь его от Творца. Никак не вытравит из себя остатки машинной зависимости. Даже в мыслях, в надеждах, в мечтах полагается взывать к Мозгу, будь он пятикратно проклят...

* * *

– Послушай, Иней, я хотел рассказать тебе о том, что вчера случайно нашел, – сказал Густов.

Он никак не мог привыкнуть к неподвижности своих собеседников. Но то, что он принимал за равнодушие, было на самом деле стремлением экономить энергию. Когда иногда платишь за новые аккумуляторы жизнью, поневоле научишься беречь энергию.

– Что же ты нашел?

– Я бродил в окрестностях лагеря и наткнулся на вход в подземелье.

– Ты прошел через пролом в стене?

– Да. Значит, ты тоже спускался вниз?

– Нет.

– Но откуда же ты знаешь про вход?

– Я видел его.

– Видел и не спустился? Ты боялся?

– Нет.

– Но почему же ты не спустился?

– А почему я должен был спуститься?

– Как почему? Разве тебе не было интересно, что там?

– Интересно?

– Ну... Тебе не хотелось узнать, что там внизу?

– Для чего?

– Это трудно объяснить, но ты мог подумать, что там под землей что-то, чего ты не видел.

– Я этого не думал, но даже если бы такие мысли и пришли мне в голову, я бы все равно не стал бы спускаться туда.

– Почему?

– Для чего? Для чего тратить энергию впустую? Если бы я мог предположить, что там спрятаны заряженные аккумуляторы, я бы, конечно, кинулся туда.

– Мы просто устроены по-разному, Иней. У нас очень развито любопытство.

– Что это?

– Нам все время хочется узнать, что там, за поворотом.

– За поворотом?

– Это просто образ. Нас волнует, будоражит все то, чего мы не знаем.

– Какое странное чувство...

– Порой мне кажется, что это наше наследство, полученное нами от косматых предков. Для них все незнакомое таило или могло таить смертельную угрозу: там мог прятаться враг, оттуда мог скатиться на голову камень, там могло произрастать ядовитое растение, оттуда могла прийти вода и затопить становище. Они все должны были исследовать, во всем убедиться. Мы развили эту привычку. Наверное, без нее у нас не было бы прогресса.

– Прогресс?

– Это движение вперед.

– Зачем двигаться вперед?

– Если ты думаешь, что впереди лучше, ты идешь вперед. Если вы думаете, что впереди не будет этого страшного Мозга и все кирды станут свободными, вы ведь пойдете вперед?

– Конечно.

– Вот видишь, Иней, никуда вам не деться от стремления к прогрессу. Я не философ...

– Что такое философ?

– Мудрец.

– Как Рассвет?

– Да. Я не мудрец, но мне кажется, что ни одна цивилизация не может развиваться, если нет стремления к прогрессу. А стремления к прогрессу не может быть без любознательности. А ты не хотел даже спуститься в подземелье. Знаешь, что я видел там?

– Нет, конечно, Володя. Как я мог видеть, если не был там?

– Я видел там трехрукие куклы.

– Что такое куклы?

– О господи... Это предмет, похожий па живое существо, но без жизни.

– А, понимаю. Когда на производственном центре машины собирают нового кирда, но мозг его еще не заряжен, это кукла?

– Приблизительно. Но кто эти трехрукие?

– Я не знаю.

– Кирды не изготавливали трехруких кукол?

– Нет.

– И живых трехруких?

– Ты непонятливый, Володя. Как я мог видеть живых трехруких, если у нас нет кукол, как ты их называешь?

– Конечно, ты прав. Я подумал, может, вы помните... Нет, Володя. Прости, мне нужно идти.

это произошло, о чем вспоминал, что видел мысленным взором, ему никак не удавалось это сделать. В конце концов он решил, что, скорее всего, ни о чем не думал, ничего не вспоминал, ничего не видел. Просто сознание его слегка теплилось на зыбкой границе между временным и вечным небытием. Оно еле пульсировало в огромных магнитных кольцах хранилища, слишком слабое, чтобы думать, слишком сильное, чтобы впасть в вечное небытие. Такое случалось с ним в последнее время все чаще и чаще. Он понимал, что тихо скользит к концу. Конец не пугал, он манил. Жизнь осталась далеко позади, так далеко, что ее уже почти полностью скрыла дымка, непроницаемая для памяти. Когда он умирал, дух его рвался из обреченного тела, он готов был на что угодно, только бы избежать холодной пустоты вечного небытия. И он согласился на Временное хранилище, куда попадало сознание тех вертов, кто хотел ждать второй жизни.

О, их мудрецы так долго обещали им вторую жизнь, что мало кто верил в нее. Но кое-кто и верил. Кто знает может, и впрямь им удастся создавать новые тела, и тогда их сознание, вернувшись в реальный мир, сможет начать новую жизнь в новых здоровых телах.

Верил ли он? Нет, пожалуй, не верил. Слишком много раз говорили они, что вот-вот разгадают тайну жизни. Но почему-то дух его так страшился вечного небытия, в таком ужасе шарахался от края черной пропасти, что он был готов на все. Даже на Временное хранилище. Хотя и во Временное хранилище он тоже не очень верил. Уходили туда многие, но никто никогда не возвращался. А может, и не было никакого Временного хранилища, и мудрецы придумали его, чтобы легче было совладать со смертным томлением духа перед концом.

Какой восторг испытал он тогда, когда сознание его словно всплыло над умершим телом, понеслось по туннелю, в конце которого сиял свет! Он был свободен, он парил. Немошное тело, изъеденное болезнью, сила тяжести, свет, тьма – ничто не сковывало больше его сознание. Освободившись от пут и груза плоти, оно плавало в бесконечных магнитных кольцах Временного хранилища, не зная, где верх, где низ, где одна сторона, где другая.

Он был не один в этом бесплотном царстве свободы. Там были и другие верты – вернее, их тени. Они были тихи и печальны. Они давно уже растеряли восторг, который Крус все еще испытывал. Потом и он стал таким же, как они. Да, он избег вечного небытия, но не совсем. Да, они жили, но жили только в прошлом, только в воспоминаниях. Да, мысль его была жива, она текла широко и свободно, но она не получала новой пищи. Она питалась лишь воспоминаниями, она снова и снова пережевывала их, пока они не поблекли, не потеряли объем, не стали такими же тенями, как и он сам.

Мудрецы все-таки обманули их. Это была не жизнь. Их сознание тихо угасало, они все реже беседовали друг с другом, потому что все, что они могли сказать друг другу, они уже сказали множество раз, все, что можно было вспомнить, вспомнили, все, что можно было представить, представили.

Они тихо мерцали, эти тени теней, и тихо мечтали теперь уже о вечном небытии. Будучи всего-навсего облачком электронов, они по инерции пользовались словами и образами прошлой жизни, и Крус как-то подумал с улыбкой, хотя не мог улыбаться, потому что улыбаться ему было нечем: «Какая ирония – стремиться во Временное хранилище, чтобы избежать вечного небытия, а избегнув – снова мечтать о нем».

Но и это было давно. Теперь у него не было воли ни мысленно улыбаться, ни мысленно хмуриться, ни думать вообще.

Немудрено, что Крус потом никак не мог вспомнить, о чем он все-таки думал, когда это случилось. Первое, что он почувствовал, было ощущение огромной яростной волны. Она с ревом ворвалась в их тихий мир едва качающихся теней, оглушила их, подняла, швырнула вниз, отступила, чтобы с новой неистовостью кинуться на них.

Конечно, сравнение с волной пришло ему на ум позже. Тогда же он просто понял, что что-то произошло, чего никогда прежде не случалось в их тихом мерцающем мире. Разом, мгновенно исчез покой, привычное оцепенение. Какая-то сила толкала их, раскачивала, обрушивала на них грохочущий водопад странных образов и забытых эмоций.

Потом, много времени спустя, Касир, его старинный товарищ по двум жизням там, внизу, и в Хранилище, скажет ему, что это было похоже вовсе не на громадную волну, внезапно ударившую в тихую лагуну, а скорее на диких парусей, попавших в западню. А Галинта, один из первых обитателей Хранилища, сравнит случившееся с внезапным извержением вулкана.

Но все согласятся, что в их сравнениях было и нечто общее: ощущение мятущейся яростной силы.

Крус не испугался, когда на него обрушился этот водоворот. В Хранилище не было места для страха. Страх всегда производное от угрозы потери, будь то потеря какого-нибудь предмета, свободы или жизни. В Хранилище терять им было нечего, они уже давно все потеряли, кроме мерцания своего разума, потери которого они не только не боялись, они, скорее, даже мечтали о ней.

Было лишь безграничное изумление. Оно, это изумление, соединилось с чьим-то kloкочущим бешенством и мгновенно вырвало Круса из привычного полузабытья. Какое-то время мысли его, отвыкшие от движения, смятенно топтались на месте, но, получив еще с дюжину толчков, дернулись, двинулись, потекли. Он понял, что в Хранилище появились новые обитатели. Они не раз встречали новых переселенцев в магнитные кольца Хранилища, но никогда никто не являлся к ним с таким гневом, таким ужасом, таким нежеланием смириться. Конечно, переселенцы из той, реальной жизни внизу бывали разные: одни приходили с восторгом избавления от вечного небытия, другие – с кроткой печалью. Но все тихо и покорно скользили в магнитных дисках. У них, у вертов, и внизу-то, в реальной жизни, давно уже не осталось сил и воли для гнева, для восстания против судьбы. Но самое главное – все верты поднимались сюда по своей воле. Это были те, кто страшился бездонной пропасти и готов был ждать обещанных мудрецами новых тел. Позади было умершее тело, и каким бы ни был верт при жизни, он знал, что отправляется в мир временный, где будет храниться лишь его сознание.

Крус сразу понял, что новые обитатели Хранилища не готовились к нему, не жаждали спасения в нем, а были как бы силой ввергнуты в него.

Это были не верты, и сознание этого лишь уплотняло изумление. Мало того, что в Хранилище давно уже никто не являлся, меньше всего они могли ждать каких-то чужеземцев, которые метались по Хранилищу, будили дремавшие тени вертов, толкали их, ослепляли яркостью неведомых образов, оглушали яростью неведомых чувств.

И возвращалось толчками, казалось, прочно забытое любопытство: кто они? Сострадание: как они мечутся! Волнение: что это может значить?..

* * *

Надеждин проснулся разом, мгновенно, с ощущением еще не осознанного ужаса, и открыл глаза. Нужно было немедленно увидеть опасность, чтобы противостоять ей, а не дать ей толкнуть себя в спину. Он открыл глаза, но кошмар приснившегося не исчез, наоборот, он как бы хлынул из сновидения в пробудившееся сознание. Он открыл глаза, но ничего не увидел. Он уже чувствовал недавно нечто подобное, мелькнула у него мысль, которая – он догадывался, надеялся – должна была принести успокоение. Да, конечно, когда «Сызрань» попала в гравитационную ловушку и он приходил в себя, лежа на полу. Там тоже он никак не мог выбраться на поверхность сознания, там тоже был удушающий ужас, из которого любой ценой нужно было вынырнуть на поверхность, чтобы не захлебнуться им. Да, конечно, нужно только набраться терпения на несколько мгновений, и он выплывет. Сейчас тьма просветлеет, зазеленеет, взорвется светом, брызгами, теплом солнца, он лениво перевернется на спину, и поплывет неспешно к берегу, и будет смотреть в голубое небо, побледневшее от истомы полуденного зноя, на чаек, и крики ребят на берегу сольются с обрывками музыки с прогулочного корабля, и над ним совсем низко пролетит на велолете девчонка с длинными,

развевающимися на ветру рыжими волосами, и она засмеется, глядя на него, и высунет язык, а у него дрогнет почему-то маленькое сердечко, тронутое неясной, словно предчувствие, печалью...

Сейчас, сейчас, нужно только подождать, пока не всплывешь на поверхность. Как, однако же, глубоко он нырнул! Он все подымается и подымается – он чувствовал, знал, что он в воде, в невесомости, – а темнота никак не просветляется.

Ладно, может, он действительно нырнул глубже, чем обычно, а может, солнце зашло за тучку – и сразу все потемнело. Нужно только помочь подъему: несколько взмахов руками, помощнее сделать ногами ножницы. Он послал приказ рукам и ногам двигаться, но они не ответили, словно приказ не дошел до них, затерялся где-то по пути.

Все ясно, это был сон. Сон во сне. Матрешки спрятанных друг в друге разновеликих кошмаров. «Спокойно, Коля, – сказал он себе. – Тебе только кажется, что ты проснулся, на самом деле ты спишь и тебя мучают кошмары».

Мысль эта успокоила его, но лишь на малое мгновение, потому что в этот момент он разом вспомнил круглую камеру, пустые, страшные глаза Сашки, тянущего его робота, острую боль в руке, ярость, что бушевала в нем.

Нужно было просыпаться, любой ценой открыть глаза, потому что нельзя бороться с этим железным чудовищем с закрытыми глазами. Он крепко зажмурился и сразу приподнял веки.

Время потеряло привычный масштаб. Он знал, что акт открытия глаз требует ничтожной доли секунды – отсюда, наверное, выражение «в мгновение ока», – но сейчас почему-то он поднимал веки бесконечно долго, но все равно никак не мог поднять их. «Поднимите мне веки...» Так, только так нужно думать, потому что крошечным раскаленным буравчиком сознание сверлило нелепое подозрение: «Тебе только кажется, что ты не поднял веки, на самом деле ты поднял их, просто ты ничего не видишь, ты ослеп, что-то они сделали с твоими глазами, что-то еще худшее, чем с глазами Сашки, из которых они откачали все, оставили только пустоту».

Господи, да что это с ним? Совсем потерял от паники голову! Надо же просто поднять руку и коснуться пальцами век – и сразу все станет ясным.

Он попытался поднять руку, и новый взрыв паники парализовал его: он не мог поднять руку. Он попытался сжать кулак, но не мог, он даже не ощущал руки, у него не было кулака.

«Встать, вскочить, бежать, спрятаться...» – билось в сознании короткими болезненными толчками, но не было нервов, чтобы послать приказ, не было мускулов, чтобы сократиться, не было сухожилий, чтобы потянуть за кости скелета. У него ничего не было, кроме липкого, холодного ужаса. Весь мир, вся Вселенная состояла из плотного ужаса, который давил, душил, не давал вздохнуть, путал и останавливал мысли. «Я умираю», – пронеслась в меркнушем сознании Надеждина коротенькая мысль, но он почти не обратил на нее внимания: ужас и без того был слишком плотным, чтобы что-либо еще вместить в себя. «Конец, – вяло подумал он. – Вот так все кончается...» Мысль почти не испугала его, в пей чудилось даже избавление от невыносимого кошмара.

Наверное, на какое-то время он выключился, потому что ужас и ярость куда-то отступили, оставили лишь бесконечную печаль. Но ненадолго. Ужас и ярость передохнули и снова нахлынули на него, закрутили, швырнули, понесли куда-то. И снова отступили.

«Может, я все-таки сплю?» – как-то равнодушно подумал он, но никак не мог уцепиться за эту спасительную мысль: то ли она ускользала от него, то ли у него не было сил и воли к спасению.

Он не помнил, сколько времени душил его ужас, сколько раз вспенивалась в нем ярость, редела, бросала его, спадала, но пришел момент, когда все стихло, и в бесконечной тьме, лишенной измерений, без надежды, он понял, что это и есть конец. Он просто-напросто умер. То, что подсознательно существует только в применении к другим, случилось с ним. Его нет. Остались лишь какие-то судороги ушедшего сознания. Вздор, вздор, что будто в эти мгновения проносится перед тобой вся жизнь. Ничего перед ним не пронеслось, только

метался, тщился выскочить из липких объятий кошмара его разум. Но костлявая держала его крепко, из ее объятий не вырвешься. «Что ж, – пытался призвать он все смирение, на которое был способен, – не было еще человека, которому не удалось бы умереть». Но странно, странно как-то он умер, даже старинные афоризмы припоминает.

Неужели же были правы тысячи поколений его предков, которые верили, надеялись, что дух не умирает с телом? И этот вопрос был бесплотным, вялым, словно его, Надеждина, он совершенно не касался.

И именно в этот момент – он хорошо это запомнил – он почувствовал прикосновение. Не физическое, ибо у него не было чем почувствовать прикосновение, но тем не менее реальное: мысль коснулась мысли. И та, что приблизилась к нему, прошептала неуверенно:

– Коля...

– Саша, – ответил он. Не. словами, ибо ему нечем было артикулировать звуки, а встречным трепетом мысли.

Какое-то время они молчали. Они не сговаривались, но одновременно почувствовали, что надо помолчать, потому что опять поднялся вихрь, опять ринулись, завертелись мысли.

«Что это? – билось в голове Надеждина. – Как это может быть? Пусть я умер, но Сашка... Мы умерли вместе... А может, мы не умерли...» Мысль эта не принесла облегчения, скорее, наоборот, потому что смерть означала укрытие от душившего ужаса, который снова надвигался на него. Да, умереть было бы в тысячу раз легче, чем сопротивляться черному кошмару, когда и сопротивляться ему нечем.

Скорей всего, он бы и умер – слишком страстно в эти загустевшие секунды он звал на помощь костлявую с косой, но спасательный круг бросила все-таки не она.

* * *

В изумлении и смятении наблюдал Крус яростное борение двух новых обитателей Хранилища, словно зачарованный следил он за вспышками гнева. И неожиданная печаль нахлынула на него, когда он увидел, что пришельцы теряют силы в бессмысленной, но почему-то так волновавшей его борьбе, что сознание их начинает мерцать, вот-вот отлетит, не выдержит, не справится с покоем Хранилища.

Казалось бы, что ему, уже раз умершему и снова умиравшему, до этих конвульсий. Они только мешали ему тихо пульсировать в памяти Хранилища. Он давно расстался с надеждой, он даже не помнил ее слабого голоса, а без нее все потеряло смысл. И если уж что-то ему снова следовало испытать при виде двух мятущихся сознаний, то, скорее, недовольство. Когда второй раз в жизни готовишься уйти в вечное небытие – на этот раз уже наверняка в вечное, – ничто не должно мешать. Если не очень удалась жизнь, пусть по крайней мере уход будет лишен суеты. Но что-то все-таки вдруг заставило Круса приблизиться к путникам из забытого мира. Это было странно. Забыв надежду, он, казалось, остался в сухом, равнодушном одиночестве. Она, надежда, увела с собой все его чувства, даже память о них, и теперь он должен был спокойно смотреть на мерцание душ пришельцев. Или не смотреть. Какая, в сущности, разница...

Но где-то, в каких-то дальних уголках того упорядоченного облачка электронов, пульсация которого и составляла его сознание, оставалось, очевидно, и то, что казалось ему безвозвратно потерянным. Выплывшая откуда-то жалость и подтолкнула Круса к пришельцам.

Верты, когда они жили в том невозможном мире, что имел три измерения – непредставимую теперь реальность, умели помогать страждущим братьям. Крус вдруг вспомнил, как он, совсем еще маленьким, тяжело болел. Он страдал и позвал на помощь своих трех родителей. Они пришли и сказали, чтобы он закрыл все глаза. Он послушался их и почувствовал, как кто-то – нет, не кто-то, а они – нежно перебирает содержимое его головы. Прикосновение их пальцев приносило успокоение, оно было сладостно, и он заснул. А когда

проснулся, родителей уже не было, маленькие верты встречались с родителями толь ко тогда, когда действительно нуждались в их помощи.

Это древнее умение как бы само собой сосредоточилось сейчас в тонких щупальцах, которые Крус выпустил из себя. Они легко вошли в чужие облачка. Крус не пытался что-то делать. Им двигали какие-то древние инстинкты, какие-то умения, о которых он не подозревал.

Какие не похожие на их собственное сознание были облачка путников извне! Но у него не было ни времени, ни желания думать, в чем же состоит разница. Облачка путников мерцали, слабели. Частицы, что складывали их и в чьей мозаике закодировано было их «я», вот-вот готовы были разбрестись, и тогда никто и никогда не смог бы помочь им, потому что только сама мозаика индивидуальна, частицы, из которых она сложена, безлики.

Его щупальца коснулись двух облачков.

* * *

Потом Надеждин будет вспоминать:

– Понимаете, несмотря на все успехи науки, мы, земляне, наверное, все-таки еще очень примитивны. О многих вещах нам легче думать сравнениями. Так вот тогда мне вдруг почудилось, что в крошечной без проблеска тьме, в безбрежном, без конца и начала океане ужаса и отчаяния, в котором я тонул, я почувствовал прикосновение спасательного круга. Я даже не обрадовался. Я был слишком обессилен неравной схваткой с ужасом, я уже смирился со смертью, даже звал ее. Помню, что мелькнула нелепая мысль: «А как же я ухвачусь за спасательный круг, если я не умею управлять своим телом? Если его вообще у меня нет?»

Но кто-то помог мне перевалиться на круг, почувствовать опору. И этот кто-то – я ясно ощущал его присутствие и даже близость – начал... как бы это выразить... Ага, знаю. Одно из самых счастливых и томительно-сладостных воспоминаний моей жизни: мы с Леной сидим на берегу канала, где я родился и вырос. Теплый летний день. Я положил голову ей на колени, так, чтобы не надавить на ее раздутый живот, где доживал в заточении последние недели Алешка. Конечно, мы знали, что она родит мальчика, догадывались, что он будет Алешкой, но еще не были в этом уверены. Но не в этом дело. Алешка присутствовал тогда как бы незримо, отделенный от нас Лениным животом. Были она и я и мир вокруг. И солнце. И скрипучие крики чаек вовсе не казались скрипучими.

Я спросил: «Тебе удобно сидеть?»

Она промолчала. Я знал, почему она молчит. Счастье сделало меня проникательным. Ей было слишком хорошо, чтобы отвечать. Она не раз говорила мне, что никогда не нужно пытаться определить счастье. Оно слишком хрупко, мимолетно и не выносит классификаций и рубрикаций. Подобно тому как в физике нельзя точно определить местонахождение отдельной частицы – само измерение уже влияет на нее, – так и попытка измерить счастье убивает его.

Она лишь протянула руку и начала перебирать мне волосы. И прикосновения ее пальцев были невыразимо, даже тягостно сладостны. Ее пальцы пахли солнцем и влагой. Я перестал дышать. Время остановилось, и я слышал лишь биение двух сердец, Лениного и моего. А может, и маленького третьего, Алешкиного. Дышать было нельзя, потому что счастье было так огромно, так невозможно, что я чувствовал: любые движения, любое слово может спугнуть его.

Вот так же невыразимо ласково, осторожно и терпеливо кто-то касался моей головы в этой проклятой тьме. В ней не было ни нагретых камней берега, ни Лениных коленей, ни голубого неба, ни сварливых криков чаек. Была лишь противоестественная тьма. Она не исчезла, не исчезло ни отчаяние, ни ужас, ни душасший кошмар. Но был спасательный круг и некто, кто нежно перебирал содержимое моей несуществующей головы. И невозможная

успокоенность, поистине невообразимая, потому что слову «спокойствие», казалось, просто не было места в этой чудовищной фантазмагории, нисходила, нисходила на меня.

Я не знал, кто спасал меня, кто протянул мне спасательный круг, но я доверился ему. Никогда больше не буду я бездумно повторять старое клише «братья по разуму». Разум еще не критерий для братства, слишком часто он бывает таким, что не располагает к братству. Скорее наоборот. Ведь разум может быть и жестоким, и коварным, и равнодушным. Сострадание вот критерий. Оно неизмеримо ближе нам, чем просто разум, потому что всегда имеет один знак – плюс... Разум в нравственном отношении нейтрален, сострадание же всегда высоконравственно.

Вот так Крус – конечно, тогда я еще не знал, что это именно он пришел нам на помощь, – спас нас в самые страшные первые часы заключения в Хранилище.

* * *

Отрядом командовал Утренний Ветер. Их было восемь. Восемь самых сильных дефов, снабженных лучшими трубками и самыми свежими аккумуляторами.

Они шли уже давно и теперь, приближаясь к городу, соблюдали особую осторожность. В любых развалинах могли таиться стражники. Они уже вступали в зону действия приказов Мозга, здесь все грозило опасностью.

Они шли осторожно, включив глаза на полную мощность. Было темно, и они видели все вокруг в инфракрасных лучах. Нагретые камни излучали тепло, и над ними дрожали еще яркие облачка. К утру они остынут, облачка потускнеют, исчезнут, но тогда уже можно будет перейти на оптический диапазон.

Странное дело, думал Утренний Ветер, они идут, каждое мгновение ожидая, что откуда-нибудь выскользнет луч, мгновенно прочертив темноту яркой смертельной линией, и вопьется в чью-нибудь голову, а он думает вовсе не о вечном бытии, а о том туннеле с непроницаемым мраком, образ которого не раз уже смущал его покой. Должно ведь, должно было быть нечто большее, более важное, чем вечная забота об аккумуляторах и ненависть к городу. Они ведь не кирды, которые пробуждаются и засыпают по приказу, не маленькие туни, которые сидят на камнях и подпрыгивают, чтобы схватить челюстями пролетающую мелкую живность.

Может быть, пришельцы знают тайну, которая прячется в черном туннеле. Они мудры, они видели множество миров, они странствуют в межзвездном пространстве в огромном корабле, они должны знать отгадку.

Конечно, он должен был поговорить с Володей, но Рассвет посоветовал ему не торопиться. Рассвет, как всегда, прав. «Ты хочешь от них высшей мудрости, – сказал Рассвет, – потому что нет большей тайны в мире, чем смысл существования разума, пытающегося понять смысл своего существования. Но высшая мудрость нуждается в покое. Дай Володе прийти в себя, оглядеться, и тогда ты спросишь его о своем туннеле».

Послышался испуганный писк, и два аня тяжело вылетели из развалин в быстром трепете крыльев – два теплых, трепещущих облачка на фоне черного неба. Аням не нужно думать о смысле жизни, им не приходится платить эту цену за разум...

Внезапно Звезда, который шел впереди, остановился. Утренний Ветер огляделся. Задние глаза не зарегистрировали ничего, кроме остывающих камней и остывающей земли, зато передние заметили какое-то движение. Вдалеке, почти у самого города, двигались еле различимые пятнышки. Они находились на пределе видимости, и нельзя было даже различить, сколько их.

Утренний Ветер весь превратился во внимание. Скорее всего, это были пришельцы, которые улучили момент, чтобы уйти из города. Кирды ведь по ночам, как правило, не выходят из своих загончиков. Идти им навстречу? Но неизвестно, они ли это. А может быть, это как раз засада, о которой говорил Рассвет? Надо выждать.

– Будем ждать здесь, – прошептал он.

Внезапно вспыхнули и погасли два лучика, движение пятнышек смешалось. Что-то там происходило, у города. Еще несколько вспышек.

– Я думаю, самый момент для нас атаковать, – прошептал Звезда. – Они не заметят нашего приближения, и мы сможем подкрасться незаметно.

– А ты уверен, что они не устроили это представление специально для нас?

– Откуда они знают, что мы здесь?

– Конечно, они не могут знать этого точно, но они могут предположить. Мозг грозный враг...

– «Грозный, грозный»... Чего мы сами себя запугиваем?..

– Ты слышал, что говорил Рассвет?

– Ну, слышал.

– Ты ему не веришь?

– При чем тут веришь или не веришь? Да, голова у него хорошая, но не может же он все знать. Я одно вижу: что-то там происходит. И самое время ударить по ним.

– Надо выждать.

– «Выждать, выждать»... Стражники нас ждать не будут. Чьи-то головы они уже, наверное, проплавили, сейчас вызовут тележки, швырнут на них свои жертвы, и все. А мы все будем выжидать здесь. Мы и без того ни на что не можем решиться: болтаемся в этих развалинах и все ждем чего-то. Ждем, пока не кончатся аккумуляторы, а потом все равно идем в город и гибнем там. Нет, я ждать бессмысленно не хочу. Когда-то нужно и действовать.

– А ты уверен, что мы не причиним вреда пришельцам?

– А я и не хочу быть уверенным или неуверенным. Я даже не знаю, там ли они. Зато я знаю, что там есть и трубки, и аккумуляторы.

– Звезда, друг, ты ведь давно знаешь меня...

– Ну?

– Ты знаешь, что я не боюсь трубок стражников?

– Ну?

– Я говорю: нам нужно выждать. Рассвет объяснил...

– Да что вы все «Рассвет» да «Рассвет»? Смотри!

Три пятнышка отделились от других и теперь быстро двигались от города. Они становились ярче и четче, и теперь уже можно было видеть, что два были ярче, а одно более тусклым.

– Может, это пришельцы? – прошептал Иней.

– Да, но пришельцев двое, – сказал Утренний Ветер, – а бегут трое...

– Я думаю, это Четыреста одиннадцатый, деф, о котором я вам рассказывал. Им нужно помочь.

– Может быть, но...

– Ты можешь ждать! – крикнул Иней. – Я иду.

– И я, – поддержал его Звезда.

Они помчались вперед, навстречу трем светлым облачкам, которые приближались к ним.

– Может быть, и мы... – неуверенно пробормотал кто-то.

Утренний Ветер не ответил. Ему самому хотелось броситься вперед, бежать, на ходу готовя трубку. Если это действительно два пришельца и деф, им нужно помочь. Стражники могут их перехватить, вон уже от города кто-то мчится за ними. Наверное, Звезда и Иней все-таки правы, больше ждать нельзя. Рассвет не мог всего предусмотреть.

Он уже приготовился было прибавить обороты своих двигателей и дать команду остальным следовать за ним, как вдруг увидел два луча. Они прорезали темноту, на мгновение ярко вспыхнули, ударившись о головы Инея и Звезды.

Он было кинулся вперед, чтобы помочь товарищам, но заставил себя остановиться.

Рассвет был прав: это была за сада. Почему, почему он не задержал их? Почему разрешил попасть в ловушку, подстроенную проклятым Мозгом? Если они бросятся на помощь, они погибнут все. Надо ждать. Видеть лежащих на земле товарищей и ждать. Будь проклят этот нелепый смысл жизни, поисками которого он занимался! Не о нем нужно было ему думать, а о своем отряде, любой ценой остановить Звезду и Инея.

Тяжкое горе, казалось, не умещалось в нем и рвалось наружу. Если бы только можно было не стоять в этих камнях, а мчаться в ночи туда, к погибшим или погибающим товарищам, тогда ярость и ненависть к стражникам потеснила бы горе. Нет, нужно ждать. Они только этого и ждут, проклятые стражники, притаились в своем укрытии, приготовили трубки. А потом доложат: приказ выполнен, дефы уничтожены.

– Друзья, – сказал он. И хотя голос его дрожал, он говорил твердо. – Мы скорбим о наших товарищах, но мы не имеем права прийти им сейчас на помощь. Мы не знаем, сколько там стражников. Я знаю лишь, что мы все попадем под лучи их трубок.

Они смогли подойти к телам Инея и Звезды только утром, когда рассвело. Стражников не было. Очевидно, они ушли в то время, когда остывшие тела уже не видны в тепловом диапазоне и еще неразличимы в диапазоне оптическом.

Иней лежал на камнях, страшно подогнув в падении ногу. Стреляли, очевидно, с близкого расстояния, потому что дырка в голове была большой, края оплавлены и две тонкие струйки металла скорбно застыли на бело-голубом шаре. Два глаза были разбиты, и белесые осколки линз поблескивали на камнях, а два смотрели в желтеющее небо. Он был мертв. Мертв был и Звезда.

– Друзья, – сказал Утренний Ветер, и слова были тяжелыми, он с трудом выдавливал их из себя. – Я знаю, что должен был удержать их, и знание это всегда пребудет со мной... Они были хорошими дефами, храбрыми и добрыми, и не могли не броситься в бой... – Он помолчал, потом добавил: – Мы не сможем унести их тела. Возьмем лишь их головы и вынем аккумуляторы.

Они уже собрались идти, когда услышали слабый шорох. Из-за стены показался пришелец. Увидев их, он вскрикнул и закрыл лицо рукой.

Недалеко они нашли и его товарища. Он лежал на камнях, подрагивал и не хотел вставать.

– Коля, – позвал Утренний Ветер. – Саша. – Он знал их имена от Володи.

Пришельцы не отвечали. Они стояли молча, тупо уставившись на землю, и глаза их были пусты, как глаза кирда, когда он погружается во временное небытие. Это было необъяснимо. Пусть у пришельцев было по два глаза, но, разговаривая с Володей, он видел, как постоянно меняется их выражение, словно они отражают все, что думают их владельцы.

– Что с вами... случилось? – спросил он.

Пришельцы не отвечали, как будто не понимали ни своего языка, ни то, что он обращался к ним.

Это было непонятно. Может быть, они просто напутаны? Ну конечно же, напуганы, как он сразу не сообразил! Ночь, побег, вспышки трубок, темнота...

– Пойдемте, – как можно ласковее сказал он и протянул руку тому, кто был выше. Он знал, что это Надеждин, командир их корабля.

Надеждин что-то промычал, отскочил в сторону. Крупная дрожь била его.

– Не бойтесь, – сказал Утренний Ветер. – Мы ваши друзья. Скоро вы увидите вашего товарища. Пойдемте.

Он сделал приглашающий жест, глядя теперь на Маркова. Но и Марков ничего не ответил, только тупо уставился на него.

Странно, странно, не так он представлял эту встречу. Как они могут так отличаться, Володя и они? Может, только Володя разумный пришелец, а эти двое как кирды? Но они и на кирдов не были похожи, и Володя рассказал бы об этом.

– Пойдемте, – еще раз сказал он и потянул осторожно Надеждина за руку, но тот с криком вырвался и бросился бежать.

Они довольно быстро догнали его. Когда они шли в лагерь, Утренний Ветер был полон печали. Они потеряли двух товарищей, и с пришельцами тоже что-то случилось...

* * *

Четыреста одиннадцатый быстро шел по пустым ночным улицам. Он шел не посередине, как ходят стражники в ночном патруле, а прижимался к стенам. Если уж и встретится ему стражник, так меньше риска, что его заметят. Конечно, у него есть дневной штамп, он скажет, что идет на проверочную станцию подготовить стенды, но кто его знает, стражник может оказаться дотошным. Упрется, что кирдам не положено ходить ночью. А то надумает связаться с Мозгом, дал ли Мозг приказ, и так далее. Тогда конец. Это было маловероятно, но не невозможно. Поэтому лучше не привлекать их внимания.

Два раза он слышал их шаги и замирал, прижимаясь к стенам, а один раз, когда стражник шел прямо на него, успел юркнуть в здание.

Конечно, думал он, неподвижно затаившись в темном проходе между загончиками, не нужно ему было так рисковать. В конце концов, дело даже не в нем, не в кирде Четыреста одиннадцатом, давно уже ставшем дефом и назначенном теперь начальником станции. Ползает он по городу или впадет в вечное небытие – не так уж, в сущности, и важно. Но у него был план, и он чувствовал себя ответственным за этот план. Если он впадет в вечное небытие, погибнет и план. А этого случиться не должно, он твердо знал это.

Шаги приблизились ко входу. Если стражник заглянет, он сможет различить, что один кирд стоит не в загончике, а в проходе. И тогда... Он не успел решить, что именно случится тогда, потому что шаги начали удаляться.

Он благополучно добрался до станции. Он прикрыл за собой дверь. Центральный зал с проверочными машинами казался в темноте огромным. Он не решился включить освещение – а вдруг кто-нибудь заметит? – и различал лишь ряды проверочных машин, которые тянулись по обе стороны прохода. Машины едва светились. Они неплохо потрудились накануне и сейчас излучали последние порции тепла, что скопили за день.

А вот и его стенд. Он вдруг сообразил, что не сможет найти на ощупь голову Двести семьдесят четвертого. И новенькие головы, и голова начальника стражи были совершенно холодны и поэтому не видны в инфракрасных лучах.

Не нужно было все это, все это было глупым вздором. Приказано ему было сунуть голову под пресс – значит, нужно было так и сделать, а не рисковать планом. На мгновение в нем возникло убеждение, что ничего из его плана не получится, что проклятый город как стоял, так и будет стоять в вечной своей тупости и бездумной покорности. Как может он всерьез думать, что он, жалкий одинокий деф, сможет уничтожить эту непоколебимую твердыню? Это убеждение заставило его замереть, как будто кто-то выдернул из него аккумулятор. Так оно в сущности и было. Ненависть к Мозгу, к системе и была аккумулятором, который давал ему энергию. Но леденящее сомнение исчезло. Он стоял в темноте, все еще напуганный, все еще скованный. Надо успокоиться. Да, город страшен и могуч. Тысячи бездумных кирдов в любое мгновение бросятся выполнять любой приказ своего повелителя. Но и он не один. Иней, который провел у него вместе с пришельцем ночь, рассказывал ему о лагере, о дефах. «И ты, – сказал он, – можешь выбрать себе имя. Не номер, а имя». Нет, не будет он сейчас выбирать себе имя, он так решил. Сначала он претворит в жизнь свой план. Так все сделает, что план сам начнет работать, так подкопает основание системы, что город рухнет. Вот тогда-то он выберет себе имя. То, о котором мечтал и на которое пока не имеет права.

А может быть, все-таки не зажигать свет? Выбрать на ощупь одну голову, поставить на фантомную машину. Если эта пустая, новенькая голова, еще не бывшая в употреблении, взять другую. Нет, так он может не успеть. Начнется день, придут работники. Он нагнулся над ящиком. Как он и думал, головы не светились. «Спокойно, сказал он себе. – Попробуй

различить их на ощупь». Днем он засунул голову начальника стражи в дальний конец ящика. Он сконцентрировал все внимание на своих руках, придал клешням максимум чувствительности, начал медленно поглаживать холодные шары. Как будто новая, и эта новая. А эта... Он еще раз осторожно прошел зажимами клешни по голове. Что это, не крошечная ли вмятинка? Может быть... Стоит попробовать.

Он поднял голову и медленно двинулся по проходу к фантомной машине. Вот уж где ему не нужен был свет! Столько раз копался он в чужих мозгах по приказу Творца, что и без глаз сумел бы подсоединить к машине любую голову.

Он вдруг замер. Как же плохо в последнее время он стал рассчитывать свои действия! Он так боялся включить свет, а ведь все равно фантомы светятся. Ладно, теперь все равно отступать было поздно.

Он подключил голову и нажал на кнопку. Сейчас он узнает, действительно ли это голова начальника стражи или он ошибся. Если голова новая, фантомы не появятся, машине просто нечего считывать в мозгу.

Он впервые включил машину в полной темноте, и видно было, как возникают фантомы. Казалось, еле слышное низкое гудение машины превратилось вначале в почти неразличимое мерцание. Это еще был не свет, это были разные оттенки черноты. Но вот пробежали первые неуверенные всполохи, задрожали, начали медленно наливаться светом, крепнуть и вдруг вспыхнули, приобрели форму. Да, он не ошибся, это была голова начальника стражи.

По темному проходу проплывали, не касаясь пола, стражники. «Вот уж кому света не нужно», – подумал Четыреста одиннадцатый. Еще стражники. Неужели же ничего больше в голове нет? И все его подозрения бессмысленны? И бессмысленна вся эта рискованная затея?

Вдруг он замер. Из потолка выпячивался вырост, а начальник стражи показывал жестом пришельцу, что ему нужно стать под него. Так, так, так... Он уже потянулся, чтобы ускорить работу машины, но решил не торопиться. Надо внимательно наблюдать. Не зря же Мозг поторопился прислать Двести семьдесят четвертого для уничтожения. Теперь он уже точно знал, что дело было не в его, начальника станции, проверке. Мозг хотел сохранить в тайне то, что он видел сейчас в тишине огромного зала проверочной станции... Пожертвовал даже для этого преданным кирдом.

Двести семьдесят четвертый тащил другого пришельца. Пришелец упирался, лицо его исказилось. Что за выступ? Жаль, что он никогда не работал на круглом стенде, но похоже, что это своего рода разрядная машина... Ну конечно, это разрядная машина, только колпак поменьше. У них на проверочной станции разрядные машины больше. Так, так, так...

Второй пришелец, которого начальник стражи подтащил к выступу, похоже, впал в небытие, потому что ноги его подогнулись, он опустился на пол.

Теперь он видел массивный куб. Ничего похожего он никогда не видел, хотя, казалось, не было в городе места, где бы он не был. Разве что... Он включил звук и, замороженный, услышал голос Творца. Так и есть, башня. Башня Мозга, где никто никогда не был. Он смотрел, как начальник стражи нагнулся над клеммами и слушал слова Мозга.

...Начальник стражи шел на проверочную станцию. Это было уже не интересно. Это он знал. Так, так, так... Хорошо бы Иней побыстрее прокрался к нему, чтобы он мог рассказать, что случилось с пришельцами и где теперь их сознание.

Идти теперь домой было бессмысленно, скоро светает. Он протянул руку и выключил машину. Фантомы исчезли, и после их яркого шествия темнота казалась особенно плотной. Ему показалось, что кто-то пошевелился у него за спиной. Он напряг задние глаза. В зале кто-то был. Неясное пятно остывающего тела осторожно двигалось к лестнице.

Раздумывать было некогда. Выбора не было. Они все-таки выследили его, сейчас сверкнет луч трубки... Что ж, лучше пусть расплавит его голову, чем самого заставят ее снимать с туловища, чтобы сунуть под пресс.

Он бросился к пятну. Стражник, наверное, заметил его движение, потому что пятно

метнулось к лестнице и исчезло. Странно, почему он не стреляет. Наверное, боится промахнуться в темноте. Куда ж он исчез? Спрятаться там не за что... Разве что спустился по лестнице, которая вела на склад.

Он добежал до лестницы. Понятно, на что он рассчитывает. Как начнет спускаться, тут он ему и влепит весь заряд трубки, на лестнице не промахнешься. Но кое-чего стражник, скорее всего, не знал. В склад-то вел еще и пандус, по которому спускались и поднимались тележки, когда доставляли новые тела и головы.

Он спустился по пандусу. Если у него и был какой-то шанс, то он заключался в неожиданности. Стражник ждет, пока он начнет спускаться по лестнице, а он кинется на него совсем с другой стороны. Небольшой шанс, но лучше, чем никакого. Он осторожно заглянул за угол и замер. Стражника на площадке не было. Куда же он девался? Тут, кроме склада, и спрятаться негде. Но какой был ему смысл забираться в склад? Это было нелепо со всех точек зрения.

Он осторожно прокрался вдоль стены, нащупал дверь склада, рванул ее на себя и отскочил, чтобы не оказаться в простреливаемом пространстве. Да, кто-то там был, но даже не сделал попытки выстрелить. Он сообразил, что мог нажать на кнопку освещения у входа. Склад осветится, а он останется в темноте.

Вспыхнул свет, и между стеллажами он увидел кладовщика. Шестьсот пятьдесят шестой стоял и молча смотрел на него. Руки его были пусты.

Четыреста одиннадцатый почувствовал, что не в состоянии двинуться, словно у него сел аккумулятор. Наконец он спросил:

– Это ты следил за мной наверху?

Кладовщик не ответил.

– Ты?

Шестьсот пятьдесят шестой угрюмо кивнул.

– Кто тебе дал приказ?

– Никто.

– Что значит никто?

– Никто.

– Я сейчас вызову стражников.

– Вызывай.

– Ты не боишься?

– Нет.

– Почему?

– А что ты им скажешь? Что я был ночью на станции?

– Хотя бы...

– А ты что здесь делал? Ты получил приказ? Кладовщик был прав.

– Ладно. Но для чего ты все-таки следил за мной?

– Не знаю... Так...

– Тебе было просто интересно?

– Наверное...

– Ты знаешь, что кирду интересно только то, что ему приказывают?

– Знаю.

– Так кто ж тебе приказывал шпионить за мной?

– А кто тебе приказывал включать ночью фантомную машину?

– Мозг.

– Ах, Мозг. Поэтому-то ты крался, как деф...

– Хорошо, я крался, как деф, а ты?

Кладовщик замолчал.

– А может, ты деф?

Шестьсот пятьдесят шестой посмотрел на него и кивнул.

– И ты не боишься, что я вызову стражников?

- Нет.
- Почему?
- Потому что ты деф, Четыреста одиннадцатый.
- Ну что ж, деф, давай поговорим...

10

–Коля, Саша, родненькие, что с вами? – в десятый раз тоскливо спрашивал Густов, глядя на товарищей.

Они не отвечали. Они даже не смотрели на него. У них были пустые глаза, движения их были неуверенны. Надеждин сидел у стены, уставившись на свои ноги, а Марков лежал на спине. В его широко открытых глазах отражалось желтое небо, и Густову казалось, что они горят каким-то зловещим светом.

«Все», – подумал Густов. Его запас оптимизма кончился. Надеяться больше было не на что. Если бы даже случилось чудо из чудес и он смог бы добраться до корабля, имел бы он моральное право увезти с собой двух кротких животных, которые еще совсем недавно были людьми, его товарищами? Даже не животных, а растения? Что смогут с ними сделать врачи на Земле? Это же не заболевание, не психическое расстройство, это какая-то полнейшая и противоестественная потеря разума. И сомневаться не приходится, что это дело рук роботов. Раз они умеют копаться в чужих мозгах, как они делали тогда в круглой их тюрьме, наверняка они умеют и выкрадывать их содержимое...

Да, не зря у него все время было ощущение щепки, несомой неведомо куда неведомым потоком. Как только они утратили власть над событиями, с того самого рокового толчка, что заставил содрогнуться их «Сызрань», они были обречены. Человек не может, не должен быть игрушкой в чьих-то руках, кому бы эти руки ни принадлежали.

«Но зачем, зачем?» – снова и снова спрашивал он себя и знал, что ответа нет. Вчера он доел последние крошки, оставшиеся от рациона, а теперь у него на руках еще и они. Ладно, с водой положение еще туда-сюда. Приспособился собирать по утрам иней, но еда... Бедные ребята. Мозги у них, похоже, выкрадены, но желудки остались. Чем их кормить? Они будут мычать от голода, а что он сможет сделать? Одолжить у кого-нибудь трубку и прикончить их? Он знал, что и этого сделать никогда не сумеет.

На что надеяться? Кто сумеет помочь? Какой восторг они испытали, когда пришли в себя над поверхностью планеты... Если бы только они могли представить себе, что их ждет под этим гнойным желтым небом...

Господи, неужели же было невероятное время, когда они были экипажем «Сызрани», когда корабль спокойно буравил космическое пространство, когда Коля и Саша играли в свои бесконечные шахматы под ритуальные заклинания? Пешки не орешки... Вот тебе и пешки, вот тебе и орешки. Да что говорить о родной «Сызрани»! Даже круглая ловушка с мертвенно светящимися стенами уже казалась ему невыразимо прекрасной. Конечно, это была ловушка, но они были вместе, они были живы, а раз они были вместе и были живы, ничего не было потеряно; их оптимизм, как бы он ни был перегружен обстоятельствами, держался на плаву: можно было надеяться.

Он посмотрел на товарищей. Тяжкое, свинцовое отчаяние прессом лежало на сердце. Понтон оптимизма больше не поддерживал его на поверхности. Он перевернулся и затонул. Не было ни надежды, ни веры, ни опоры. Было лишь отчаяние, которое все уплотнялось, тяжелело, холодело. Даже страх оно выдавливало из него.

Он подумал, что, если бы «Сызрань» потерпела настоящую катастрофу, если бы ее прошел какой-нибудь осколочек, они бы не мучались. Они бы даже не успели понять, что произошло. Они бы даже не знали, что умерли и что их корабль превратился в вечный замороженный саркофаг...

Но смотреть на то, что осталось от командира и Сашки, видеть их противоестественно пустые глаза, слышать их жалобное мычание...

Утренний Ветер спрашивал его о смысле существования. Нашел кого спрашивать. Кого и когда.

Он встал и отошел. Он не мог больше смотреть на товарищей, видеть печальные взгляды дефов. Он вышел из лагеря. Куда угодно идти, только не быть здесь.

Он медленно брел среди развалин, один под чужим желтым небом. Он физически ощущал свою бесконечную малость, свою беспомощность, никчемность. Можно было в тысячный раз проклинать судьбу, но кому до него и до его товарищей дело? Печальным дефам, думающим среди этих камней о смысле жизни? Ходячим железным манекенам среди однообразных бараков города? Этому нарывному небу?

Впервые в жизни он понял, что такое самоубийство. Он никогда не мог понять, как кто-то лишает себя жизни, сам, своими руками сталкивает себя в бездонную пропасть. Это казалось противоестественным. Самоубийство могло быть решением только больного, смятенного ума. Так думал он всегда, но теперь он вдруг остро почувствовал, что смерть может быть желанна.

Да, самому шагнуть в никуда страшно. Но еще страшнее представить себе медленную голодную агонию товарищей, которые даже не смогут понять, от чего умирают, которые даже не будут понимать, что умирают. И он ничего не сможет сделать. Он – крохотная элементарная частичка, движущаяся по какой-то дьявольской траектории, не знающая, кто или что запустило его на нее, зато знающая, что оборотов осталось немного.

Ему было тяжело. Тяжело даже всасывать в себя реденький воздух, который, казалось, не хотел иметь с ним дело.

Он не заметил, как оказался подле стены, которая показалась ему знакомой. А, да, он же уже пролезал через этот пролом, когда спускался на фабрику трехруких кукол.

У входа на плоском камне сидела все та же ящерица и смотрела на него маленькими блестящими глазками. Внезапно она подпрыгнула, на долю мгновения повисла в воздухе, сверкнула острыми зубами и шмякнулась точно на то место, где сидела. «Ей хорошо, – подумал Густов. Она не обременена памятью, и ее не мучают мысли о будущем. Подлинное дитя природы, которое вовсе не планировало появление разума, осознающего себя, а стало быть, и все горе, несчастья и опасности, которые обкладывают этот разум со всех сторон, чтобы побыстрее погасить нелепую, противоестественную искорку. Был бы он ящерицей, все было бы проще. Сиди себе на камне и добывай пропитание».

– Прыгаешь? – спросил Густов, чтобы услышать хотя бы свой голос.

Ящерица внимательно посмотрела на него, и ему показалось, что она коротко кивнула. Он машинально направился ко входу в туннель. Как и в прошлый раз, в стенах вспыхнул свет.

Он прошел знакомой уже дорогой. А вот и куклы под прозрачными крышками. И эти тоже смотрят на него пустыми глазами. Все смотрят на него пустыми глазами. Весь мир смотрит на него пустыми глазами.

– Ну, что? – спросил он куклу, но она не ответила. Ее лицо с вытянутым клювом, узкой щелью рта и четырьмя глазами было исполнено вечного спокойствия.

«В чем-то ей можно позавидовать», – подумал он. Он, впрочем, уже завидует всем, от прыгающей на камне ящерицы до кукол под прозрачными крышками. По пищеводу подымалось едкое, как изжога, раздражение. Раздражение вызывал этот нелепый склад, эти нераспроданные игрушки. Ему было не до игрушек. Он сам был дурацкой игрушкой в чьих-то дурацких руках. Игрушкой для страшных игр. Он качнул саркофаг, висевший в воздухе без видимой опоры. «Интересно, – зачем-то подумал он, – что его поддерживает? Какое-то силовое поле? Но что создает его? «

Он сделал несколько шагов вдоль висевших один за другим контейнеров. А вот и последний. Он легонько толкнул его, и контейнер послушно скользнул вдоль стены туннеля, бесшумно проплыл несколько метров и резко остановился, словно уперся в невидимую преграду.

Только что он думал, что ему не до игрушек. Конечно, ему не до игрушек, но хоть на

несколько минут они отвлекли его от тяжких мыслей. Спасибо и за это, уродцы.

– Давай обратно, трехрукий, – сказал он.

Был Густов человеком по натуре аккуратным, и если контейнерам с куклами полагалось быть вместе, пусть будут вместе.

Он подтолкнул саркофаг, но тот, казалось, заклинился. Он нажал посильнее, и контейнер сдвинулся, опять скользнул легко. «Защелка в этом месте, что ли, такая – фиксатор?» – подумал Густов, старательно оберегая искорку любопытства. Что угодно, только не оставаться опять наедине со страшными мыслями. Он толкнул контейнер назад, и тот снова остановился в том же месте.

Сейчас только Густов заметил какой-то металлический выступ в стене. Именно под ним контейнер и фиксировался.

«Странное какое-то устройство», – подумал Густов, рассматривая выступ. Рядом с ним виднелась кнопка.

Когда человек доведен до отчаяния, мысль его уже работает по каким-то особым правилам. Он смотрел на кнопку с напряженным вниманием, как будто этот плоский кружочек на подземной фабрике игрушек мог сыграть в его жизни какую-то роль. Не мог, конечно. Но все равно он смотрел и смотрел на кнопку, словно замороженный. Так давно он не делал ничего по своей воле, так своевольно и сурово несла его судьба в неведомом направлении, что кнопка, которую он мог нажать, а мог и не нажимать, приобретала в его подсознании некую мистическую значимость. Как будто она могла превратить его из беспомощного пассажира, мчащегося в водоворот плота, в рулевого.

Может быть, в другом положении он бы и не нажал ее. Скорей всего, конечно, ничего не случилось бы в этом заброшенном подземелье, но могло и случиться. Мог погаснуть свет, могли закрыться двери, да мало ли что могла привести в действие неведомая кнопка! Он был сыном высокоразвитой в техническом отношении цивилизации, он был, наконец, космонавтом, и каждая клетка его тела знала, какие огромные силы могут быть приведены в действие простым нажатием кнопки. Инстинкт был силен и однозначен: никогда не включай то устройство, с которым ты не знаком. Но теперь ему равным счетом нечем было рисковать.

Ему нечего было терять. И если бы даже двери захлопнулись и он оказался замурованным среди трехруких кукол, ничто, в сущности, не изменилось бы – и наверху и здесь его ждал один конец. С другой стороны...

Он вздохнул и нажал кнопку. Вначале ему показалось, что ничего не произошло, и он испытал острое разочарование, но потом услышал тихое низкое гудение. Что-то все-таки кнопка привела в действие. Но что – он не понимал. Жаль, конечно, но ничего не случилось. Еле слышное гудение было не тем, чего он ждал, хотя, чего он ждал, он не знал. Нужно было идти. При всем желании больше здесь делать было нечего. Он в последний раз взглянул на куклу и вздрогнул. Ему показалось, что веко над одним из глаз затрепетало. Этого, конечно, не могло быть. Просто ему не хотелось уходить отсюда, возвращаться к пустым глазам Коли и Саши, к мучительным мыслям.

Он почувствовал, что сердце его резко притормозило и тут же бросилось вперед. Теперь уже веко и над вторым глазом явственно дернулось. Вот тебе и игрушка...

Он не помнил, сколько времени простоял возле прозрачного контейнера, он как будто впал в оцепенение, но в какой-то момент кукла повернула голову и посмотрела на него. Всего этого, конечно, быть не могло, срабатывали какие-то защитные механизмы, выключавшие его здравый смысл, погружавшие его в какие-то галлюцинации, но трехрукий тем не менее шевелился.

Добыла Густова третья рука. Если бы кукла просто подергала руками, открыла или закрыла рот, он был уже готов принять это как подтверждение своей галлюцинации. Но лежавший под прозрачной крышкой поднял третью руку, которая росла у него из груди, уперся ею в крышку, и та с недовольным чавканьем откинулась. Сам же контейнер плавно опустился на пол.

Трехрукий завозился, задергался, сел. «Боже, какая чушь лезет в голову! – подумал

Густов. – Зачем он крутит головой, когда у него четыре глаза? И так, наверное, поле зрения составляет все триста шестьдесят градусов «.

Он стоял и смотрел на трехрукое существо с клювом вместо носа. Он, конечно, видел куклы, которые открывают и закрывают глаза, бормочут «папа» или «мама», хнычут, смеются или танцуют брейк, в зависимости от того, какая программа вложена в игрушку. Но эта... Клювастый посмотрел на него и вдруг протянул ему все ту же третью руку. «Это что, приветствие или он хочет, чтобы я помог ему встать?» – подумал Густов. На всякий случай протянул руку и почувствовал прикосновение маленькой, но крепкой ладошки. Он дотянул, и трехрукий встал, покачиваясь на коротких ножках. Он стоял и смотрел на Густова, потом поклонился.

– М-да, – сказал Густов, – кажется, еще один иждивенец появился...

Конечно, это было чепухой, и сказал он про иждивенца просто так. Он даже не знал, что перед ним: что-то вроде заводной игрушки или живое существо? По крайней мере, клювастый не был металлическим. Прикосновение его ладошки напоминало живую плоть.

Клювастый открыл рот и издал серию щелкающих звуков.

– Ну что, давай знакомиться, – сказал Густов. Он ткнул себя в грудь и сказал: – Во-ло-дя.

Трехрукий посмотрел на него, кивнул и прощелкал:

– Во-ло-дя.

– Молодец.

Клювастый изогнул третью руку, показал на себя и произнес по слогам:

– Га-лин-та.

То ли нервы у него начали сдавать от всех напастей, то ли так потрясло его появление трехрукого гномика, но он почувствовал, как в горле у него защипало. Конечно, помощи от новорожденного гномика ждать не приходилось, но все равно он вызывал в нем какие-то теплые чувства.

– Пойдем, Галинта, – сказал он и протянул руку.

Гномик крепко схватился за нее, и они пошли по туннелю к выходу.

* * *

– Значит, ты деф, кладовщик? – спросил Четыреста одиннадцатый...

– Да.

– А как же со штампом? Ты же проходил проверку?

– Да.

– И как же тебе удавалось получить штамп?

– Я научился управлять мыслями. Перед проверкой у меня в голове не оставалось ни одной лишней мысли.

– А куда ж ты их девал?

– Я... не умею объяснить... Когда я подходил к проверочному стенду, я был не деф. Сам Мозг мог проверять меня и ничего бы не нашел: все мысли правильные, каждая на своем месте. Ни одной больше, чем положено, ни одной меньше.

– А после проверки?

– Я сразу же становился собою.

– Интересно, брат.

Четыреста одиннадцатый даже не заметил, как употребил слово «брат», которому его научил Иней. Странно это было: только что его раздражала ненависть к угрюмому кладовщику, а теперь он назвал его коротким словом «брат». Да нет, пожалуй, не странно. Разве все дефы не братья?

– Потом ты все-таки попытаешься научить меня, а сейчас побеседуем-ка с этим Двести семьдесят четвертым.

- Ты ведь его подсоединял к фантомной машине?
- Да. Я хочу поговорить с ним. Я думаю, у нас еще есть время.
- Они поднялись в зал, и кладовщик спросил:
- Тебе нужно для него туловище?
- Нет, я просто подсоединю его к питанию. Так будет спокойнее.
- Почему?

– По крайней мере, он не сможет кинуться на нас.

– Да, ты прав, брат.

Они подсоединили клеммы Двести семьдесят четвертого к источнику энергии.

– Ты проверил клеммы, начальник станции? – нетерпеливо спросил Двести семьдесят четвертый. – Я должен торопиться.

«Ну конечно, – подумал Четыреста одиннадцатый. – Он ведь еще ничего не знает. Он помнит, что ему хотели проверить клеммы, и больше ничего. Он еще полон важности, преданности своему Творцу и нетерпения. Он торопится. Ему кажется, что он столп порядка и гроза дефов. Не долго же тебе осталось пыжиться, тупоумный палач. Ты уже не палач, ты уже жертва». Четыреста одиннадцатый все растягивал и растягивал паузу, ему жаль было расставаться с предвкушением удара, который он сейчас нанесет.

– Долго ты будешь стоять? – еще нетерпеливее крикнул Двести семьдесят четвертый. – Или ты хочешь...

– Обожди. Ты знаешь, для чего пришел сюда?

– Ты задаешь странные вопросы. Разумеется, знаю, но поторопись. Великий Творец...

– Я получил приказ от Творца...

– Меня не интересуют твои приказы, ты держишь мою голову на стенде, и я буду жаловаться на тебя Мозгу. Я начальник стражи, на моей груди...

– Приказ, который я получил, касается тебя, Двести семьдесят четвертый.

– Что ты хочешь сказать?

– То, что ты слышишь. Мозг приказал скормить твою голову прессу.

– Что-о?

– То, что ты слышишь.

– Этого не может быть, кирд, твои мозги нуждаются в коррекции, ты просто-напросто превратился в безумного дефа, и не меня, а тебя ждет пресс.

– Ты разрядил пришельцев по приказу Мозга и загнал их сознание в память Хранилища...

– Как ты смел копаться в моей голове? Может, ты даже подсоединял меня к фантомной машине?

– Да.

– Как ты смел?

– Это хороший вопрос, бывший начальник стражи.

– Бывший?

– Да, конечно. Бывший Я действительно совершил преступление, но не то, что ты думаешь. Главное мое преступление перед Мозгом – это то, что твоя голова до сих пор не под прессом.

– Что ты несешь?

– То, что ты слышишь.

– Ты деф, твои мозги свихнулись, ты ничтожный уродец, ты монстр, сейчас появятся стражники, и им-то ты уже не сможешь...

– Слушай, Двести семьдесят четвертый. Ты не веришь мне, и это понятно. На туловище, которым ты только что пользовался, два креста. Когда ты включал свой канал связи, стражники увеличивали обороты двигателей, готовые к выполнению твоих команд...

– Хватит, деф, если ты сейчас вернешь мне тело, я готов забыть о твоём преступлении.

– Я дам тебе возможность уйти из города к... другим дефам. Только после этого я доложу Творцу.

– Я понимаю тебя. Так не хочется расставаться с фантомами.
– При чем тут фантомы?
– Ты в сущности фантом, такой же фантом, как те, которые создает машина. Тебя нет. Я уже доложил Мозгу, что ты под прессом. Мозг был доволен.

– Ты лжешь.
– Я понимаю, ты не хочешь верить мне. Но ты можешь открыть канал связи стражников. Может быть, новый начальник как раз сейчас отдает приказы...

– А если я призову на помощь?
– Не призовешь.
– Почему?
– Потому что я сохраню тебе сознание. При определенных условиях, конечно, а они-то уже наверняка су нут твою голову под пресс.

– При каких условиях?
– Первые разумные слова. Я дам тебе тело. Не твое старое туловище, само собой разумеется. На нем два креста. Обычное тело.

– Но...
– Я знаю, что ты хочешь спросить. У тебя не будет номера, и Мозг не будет знать о твоём существовании. Он никогда ничего не будет тебе приказывать, потому что в нем не будет никакого отражения твоего бытия. Ты будешь существовать вне Мозга, а значит, ты будешь свободен.

– Хватит, деф, ты все лжешь. Пусть моя голова на стенде и лишена туловища, но фантом не я, а ты! Это все ложь, порождения свихнувшегося разума жалкого дефа. Великий Творец не мог послать меня в вечное небытие.

Он доверял мне самые ответственные задания, он видел мою чистоту перед ним и мою преданность. Он сам проверял меня на фантомной машине, он приблизил меня к себе! Я один был допущен в его башню. Ты знаешь кого-нибудь, ты слышал о ком-нибудь, кто был бы хоть раз в башне?

– Хватит, – махнул рукой Четыреста одиннадцатый, – ты утомляешь меня. Брат, – позвал он кладовщика, – включись вместе с этой болтливой головой в связь стражников. Только недолго, у нас нет времени. Сейчас наступит рассвет.

Бывший начальник стражи молча смотрел, как Шестьсот пятьдесят шестой подключился к его проверочным клеммам. Он был в смятении. Мозг его получал нужное питание, все глаза работали, но мир потерял четкость и стройность. Он не хотел верить этому проклятому дефу, он пытался сопротивляться невообразимому, но оно, это невообразимое, одну за другой крушило линии обороны, которые он торопливо воздвигал на его пути. Он пришел на станцию вчера. А уже кончается ночь. Деф сказал, что скоро рассвет. Творец не мог не вызывать его столько времени. С момента, когда он стал начальником стражи, он то и дело связывался с ним, отдавал приказ за приказом, требовал отчетов. Еще бы, только он защищал город и систему от дефов. Если бы Мозг вызвал его и не получил ответа, он бы поставил на ноги всех стражников, его искали бы...

Двести семьдесят четвертый не хотел включать канал связи стражников. Пока еще оставалась надежда, что его обманывают, что все кончится хорошо, что он доложит Творцу обо всем, и великий Создатель похвалит его... Крохотная, но надежда. Невозможная, но надежда. И страшно, страшно было расстаться с ней.

– Ну, – грубо сказал кирд, подсоединившийся к его голове, – давай, долго ждать...
Он включил канал связи и почти сразу услышал в привычной гулкой тишине канала слова:

– Стражники, великий Творец всего сущего приказал нам усилить бдительность, потому что враги не складывают оружие. Да, мы одержали замечательную победу под стенами города, но...

Двести семьдесят четвертый выключил связь, но страшное эхо все гуляло и гуляло в его вдруг ставшей пустой голове: «...ами... да... но...»

Мир рухнул. Города больше нет, одни развалины. И не в его голове, а среди развалин бродит эхо. Как же так? Великий Творец, выходит, хвалил его, а сам отдал приказ сунуть его голову под пресс? Под пресс. Отправил его в вечное небытие. Как же так?.. Его привычная любовь и преданность Мозгу превращалась в тягостное недоумение, обиду и наконец загустела пугающей ненавистью. Но ненависть помогала, она давала ему силы.

– Ты прав, – глухо сказал он начальнику проверочной станции. – Мне жаль, что я не сразу поверил тебе.

– Тебя можно понять, – кивнул Четыреста одиннадцатый. – Но вернемся к нашим условиям. Итак, ты получишь тело, но у тебя не будет номера. Мозг не будет знать о твоём существовании. Ничего не скажешь, ты был примерным кирдом. Но приучайся, теперь тебе придется обходиться без приказов.

– Как это без приказов? Разве можно существовать без приказов?

– Можно. И даже нужно. Будешь думать сам.

– Но что думать? Как я буду знать, что именно должен думать? Мне странно, что ты не понимаешь меня. – Бывший начальник стражи помолчал, потом добавил: – Ты говоришь: «Думай сам». Но как? Мыслей-то может быть много, а что выбрать? И для чего думать? Должен же кто-то приказать мне, как именно и для чего я должен думать...

– Научись. Кое-чему ты уже, мне кажется, научился. Сдается мне, что ты не испытываешь больше особой любви к своему хозяину. Так?

– Да...

– Ты ненавидишь его?

Слова были противоестественны, уродливы. Ненавидеть Мозг, Творца всего сущего... На мгновение ему захотелось привычно вызвать стражников. Но нет, это теперь его ненависть. Густая, темная, она, казалось, была горячее.

– Да, – сказал Двести семьдесят четвертый после паузы. – Я его ненавижу.

– Вот видишь, ты уже думаешь без подсказки. Конечно, быть тупым кирдом удобнее. Приказали – сделал. Приказали – сделал. А теперь придется думать. Тем более что думать нужно о том, как отомстить Мозгу.

«Он прав, – думал Двести семьдесят четвертый, – надо привыкать к свободе».

Свобода пугала. Она представлялась ему огромным пустым пространством, где самому нужно выбирать направление. Пространство так не похоже на привычные загончики, в которых они бездвижно замирали в ожидании приказов Мозга.

Двести семьдесят четвертому на мгновение захотелось, чтоб его голову действительно сунули под пресс. Погрузиться в вечное небытие, где ничто тебя не страшит и ни о чем не нужно думать. Но тут же волна горячее ненависти подняла его, качнула, помогла уцепиться за это новое, непривычное, страшное и одинокое бытие. Будь проклят Мозг!

* * *

Если Двести семьдесят четвертый все время думал о Мозге, то Мозг о нем и не вспоминал. Он приказал отправить его голову под пресс, выслушал рапорт начальника станции о выполнении приказа, и с этого момента бывший начальник стражи просто перестал существовать для него. Он мешал, а поэтому должен был исчезнуть.

Понятия «жалость», «сострадание» были чужды Мозгу. Они просто не существовали в его мире. А мир и без них изменялся, усложнялся, становился более гибким и требовал его постоянного внимания. Вот это-то и занимало сейчас его мысли.

Раньше, до появления пришельцев и до перенастройки программ кирдов, город, вся система были чересчур неподвижными. Да, была четкость, была прозрачность совершенного чертежа, но системе не хватало способности к самосовершенствованию. Теперь, после введения в программы всех этих новых реакций, система сдвинулась с места. Реакции обогатили кирдов, они, эти реакции, взаимодействовали друг с другом, образуя все новые и

новые комбинации, которые влияли на поведение кирдов.

Страх сделал их более, отзывчивыми на опасность, добавил стремления выполнять приказ как можно лучше, но он же принес кирдам неведомую раньше осторожность и расчетливость. Любовь к нему, к Творцу, была, безусловно, благотворна, но были уже случаи, когда в попытках сделать ему приятное кирды сознательно искажали информацию, что было опасно. Возросшая ненависть к дефам сделала кирдов подозрительными, и, случалось, кирды докладывали о превращении в дефов тех, кто был совершенно чист.

Все это требовало теперь его постоянного внимания. Чем сложнее становился мир, тем труднее было управлять им. Там, где раньше достаточно было одного приказа, приходилось давать пять или десять приказов. Там, где хватало одного рапорта, приходилось выслушивать теперь по пять или десять отчетов. Такова была цена, которую нужно было платить за развитие.

Может быть, думал Мозг, он чересчур увлекся введением новых программ. Может быть, не следовало так торопиться. Может быть... Наверное, стоило побеседовать с пришельцами самому, узнать, как справляется Творец их системы с проблемой приказов и контроля. Хорошо, что он, как всегда, был предусмотрительным и отправил их сознание в Хранилище. Помнится, Крус рассказывал ему, как сложно сознанию приспособиться к бесплотному существованию в недрах машины. Интересно, освоились ли пришельцы, или нужно дать им больше времени. Беседовать со смятанным духом бессмысленно.

Он вызвал Круса, и тот покорно коснулся его сознания.

– Ты знаешь, что пришельцы теперь в Хранилище? – спросил Мозг.

– Да, конечно.

– Они... спокойны?

– Нет.

– Почему?

– Они никак не могут примириться с новой формой существования.

– Но ты же спокоен?

– Нас нельзя сравнивать.

– Почему?

– Когда я был вертом, я знал, что рано или поздно умру, знал, что, если захочу, смогу попасть во Временное хранилище. Все верты знали это. Мы жили, зная, что есть Временное хранилище. Оно помогало нам. Без него страх перед вечным небытием был бы чересчур силен. Да, конечно, среди нас были и такие, кто говорил, что никакого Хранилища нет, что это все выдумки, что недостойно верить в них. Спорить с ними было трудно, потому что никто никогда из Хранилища не возвращался. А наши мудрецы только обещали, что разгадают тайну живого, создадут новые тела и тогда сознание тех, кто выбрал Хранилище, обретет плоть и вернется к реальной жизни.

– Ты рассказывал уже об этом.

– Я хочу, чтобы ты понял разницу между нами и пришельцами. У них нет Хранилища, они не готовились к нему, и, когда они потеряли свою материальную реальность, сознание их испытало страшный удар. Чего ты хочешь... Даже мой старинный знакомец Галинта, который попал в Хранилище еще до меня, исчез.

– Что значит исчез? Это возможно?

– Я всегда думал, что нет. Признаюсь тебе, я не раз думал, что хорошо было бы погасить свое сознание, но не умел это сделать. Галинта и в той жизни был мудр, он сумел найти способ. Он говорил мне, что тяготится существованием в виде набора импульсов в недрах Хранилища.

– Ты хочешь сказать, Крус, что жизнь в трехмерном мире предпочтительнее жизни в Хранилище?

– Да.

– Как странно. Трехмерный мир груб, полон непредсказуемых событий. Это мир неживой природы и низких существ. Истинный разум не может, не должен быть привязан к

объемному миру. Истинный разум может существовать только в высшем мире логических связей. Разве не унижительно для него быть прикованным к убогому трехмерному пространству? Это же хуже небытия. Это рабство. Возьми меня, например. Я ощущаю пространство многомерным, потому что, пользуясь органами восприятия кирдов, я могу одновременно видеть предмет снаружи и изнутри. Я могу двигаться одновременно в разных направлениях. Я не данник стрелы времени, потому что могу двигаться во времени вопреки ее воле. Нет, Крус, трех мерный мир не достоин разумного существа – Я не раз говорил себе то же самое. Тем более что с течением времени наша память о том мире внизу выцвела, он потерял реальность. Многие из нас даже говорят, что другого мира, мира трехмерного, вообще быть не может, что это выдумка. Что трехмерный мир невозможен, что это абстракция. Что он был бы так неустойчив, что не смог бы существовать. Может быть, они правы. Если мир внизу существует, почему давно уже никто не приходил из него? Некоторые из нас говорят, что и мы никогда не поднялись в Хранилище из другого мира, потому что никакого другого мира нет, что его придумали те, кто боится безбрежной свободы разума. Это все так сложно...

– Мы говорили о пришельцах. Как ты считаешь, скоро я смогу вызвать их? Мне нужно поговорить с ними.

– Я не знаю. Может быть, скоро. Я старался помочь им... Я тебе сказал, они испытали шок. Они страдали. Я чувствовал смятение их духа. Я не мог не помочь.

– Но почему, Крус, почему? Я не понимаю. Это же они страдали. Это нелогично.

– Я не думал о логике. Наверное, стремление помочь страждущему свойственно нам... Но может быть ты и прав...

– Вы, верты, были странными существами, и тебя порой трудно понять, Крус. Только что ты сказал: «Может быть, ты прав». Это нелогично. Понятие «может быть» ко мне не относится. Это отзвук грубого трехмерного мира, в котором столько переменных факторов, что в нем царит вероятность. Я выше этого мира, я создал свой мир, и в нем нет места для сомнений. Ведь сомнения – признак слабого ума и нехватки информации.

Но я доволен тобой, Крус. Возвращайся и помоги пришельцам побыстрее освоиться. Ты отвечаешь мне за них. Иди.

* * *

Время тянулось медленно, как будто кто-то вцепился в него сзади и никак не давал двинуться с привычной скоростью. Вторую ночь ждал Четыреста одиннадцатый прихода посланца от дефов, но никто не приходил.

Моментами он испытывал почти непреодолимое желание уйти к дефам, не видеть больше тупоголовых кирдов, бодро бегущих по улицам, чтобы побыстрее выполнить приказ того, который управляет ими.

Особенно в эти два последних дня, которые прошли с того момента, когда он подключил голову Двести семьдесят четвертого к фантомной машине и увидел, что этот проклятый Мозг сделал с пришельцами. Он чувствовал, знал, что эта информация важна и дефы должны иметь ее. Но уйти из города было нельзя. Если он уйдет, прощай его план, который он так мучительно придумывал, когда стоял долгими рискованными ночами вот здесь, в этом самом загончике. Да, рискованными. Потому что не счесть, сколько раз он рисковал головой, нарушая приказы Мозга.

Нет, уходить было еще рано. Нужно было ждать Инея.

Он обещал прийти и придет. Мало что могло задержать его. Это ведь не такое простое дело – добраться из их лагеря до города, проскользнуть незаметно мимо стражников.

Надо набраться терпения и ждать. Надо просто очень захотеть, и тогда он услышит осторожные шаги брата...

Не впал во временное ночное небытие и кладовщик проверочной станции Шестьсот пятьдесят шестой. Он уже не первый раз нарушал закон и не отключал сознание в своем загончике. Сегодня он не думал о законе. Сегодня он думал о более важных вещах. Ему повезло, что в ту ночь он остался на станции. Он не смог бы даже себе объяснить, что именно заставило его остаться в ту ночь. Ведь и впасть во временное небытие, и не впасть, нарушая закон, можно было и в своем загончике. Тем более что там он ничем не рисковал, а на станции его могли заметить.

И все-таки он остался. Как чувствовал все равно, что сам начальник пожалует. Давно уже появились у него подозрения. Маленькие, смутные такие. Начнешь рассматривать попристальнее, вроде бы их и нет, ничего предосудительного. Четыреста одиннадцатый не делает. А забудешь о них – они тут как тут, снова слетаются.

А все началось с того дня, когда стражники привели на станцию какого-то кирда – шел как будто без штампа. Привели на проверку. А он как раз проходил между проверочными машинами, собирал блины. Вытаскивал их из прессов. Ему поручили. Ты, говорят, кладовщик, заведешь новыми головами и туловищами, собирай и расплющенные головы. Ему что, сказали – он и делает.

И вот в тот день, когда проходил он мимо Четыреста одиннадцатого, почудилось ему, что он не проверял приведенного кирда как положено, а как-то хитро закоротил клеммы. Конечно, можно было сразу доложить, но уверен-то он не был... А если ошибался? Мало ли как мог ему отомстить этот проверяльщик...

Но присматриваться к нему начал. Не головой – всем телом чувствовал что-то дефье в нем. Но хитер ничего не скажешь. А тут его еще на фантомную машину поставили. Он как узнал, чуть в воздух не взлетел от радости: попался все-таки, деф проклятый. От фантомной машины уж не уйдешь. Она все высветит, всю дрянь из мозгов выскребет и маршировать заставит. Он даже не понимал, почему так остро ненавидит Четыреста одиннадцатого. Ему он вроде бы ничего худого не сделал, но что-то чувствовал он в нем чужое, угадывал некую непохожесть на себя, нечто скрываемое и потому уже ненавистное. Он и сам понимал безосновательность своих подозрений и своей ненависти. Но от этого понимания они лишь укреплялись: и подозрения, и ненависть.

Никак поверить не мог, что этот Четыреста одиннадцатый оказался чист. Тяжко это было. Так себя чувствовал, будто отобрали у него что-то очень важное, может быть, даже самое важное в его бытии. Шестьдесят восьмой ему сказал:

– Просветили насквозь. Чистенький, как новая голова с твоего склада.

Он тогда еле сдержался. Хотел сказать, что быть того не может, что он нутром своим чувствует в нем дефа. И хорошо что удержался. Проверял-то его какой-то особый кирд, Шестьдесят восьмой даже намекал, что он как бы сам... Не поймешь их...

Ну, он и помалкивал. Попробуй доложи, что начальник станции деф. «Ах, так! – скажут. – Фантомная машина для тебя ничего, Творец, значит, ошибался!» А Творец, всем известно, не ошибается. Они б и сказали ему: «Ты, Шестьсот пятьдесят шестой, сам деф. Что, служил верно? Ну что, в награду можешь сам выбрать пресс, который расплющит тебе голову».

Он все правильно делал, их начальник, ничего не скажешь. И все ж таки скрыть свое дефье нутро не мог. По крайней мере от него. Точно и не определишь, но чувствуется – деф тайный. И взглянет как-то по-особому, не как кирд, а как-то иначе. И приказ тоже по-особому отдаст. И так вроде, и не так. И никак не ухватишь его, прямо из клешни ускользает.

Под конец не выдержал, решил остаться на ночь и хорошенько проверить стенд, на котором работал начальник. Может, и верно он какие-то клеммы хитрые там поставил, чтобы дружков своих дефов спокойненько проверять.

Он спрятался в складе, ждал, пока станция опустеет, и думал о дефах. До чего ж он их ненавидел, проклятое это племя! И чего, кажется, им нужно? Получил приказ – иди выполни. Нет, им все по-своему, видите ли, надо, им, оказывается, приказы не по нутру, им, понимаете ли, самим думать хочется. Другим не хочется, а им хочется. Ну и что же надумали эти умники? Те, что исхитрились удрать, предали свой город и своего Творца. Бродят где-то в развалинах, это они называют свободой. Всех их расплющить! Не только головы под пресс – туловища тоже, чтоб не осталось нигде заразы.

И так он проверял подозрительный стенд, и сак – так ничего и не нашел. Смутно было, как будто аккумуляторы садиться начали. И тут услышал он шаги.

Да, удачно все получилось, ничего не скажешь. Сначала он обмер: все, конец. Но словно Творец ему помог, заморочил начальнику голову. Мыслями, сказал, научился управлять. А ему и управлять нечего, у него мысли правильные: люби, почитай и слушайся Творца и ненавидь дефов.

Братом его назвал деф проклятый, думал, привяжет его к себе словечком этим дефым. Может, дефы ему и братья, раз он сам порождение хаоса, как говорится. А он ему не брат. Никому он, слава Творцу, не брат.

Надо донести, здесь и думать нечего, но все-таки кладовщик никак не решался открыть главный канал связи. «Так, – скажет великий Мозг, – все правильно, я доволен тобой, Шестьсот пятьдесят шестой, но как ты очутился ночью на станции? Ты разрешение на это спрашивал? Я такого разрешения не давал». – «Я старался, – скажет он, – из любви к тебе» – и так далее. «Стараться, – скажет великий Мозг, – нужно по моему приказу. Если каждый начнет стараться сам по себе, получится хаос, дефье царство». Ну а там дальше и сомневаться нечего: сюда голову, вот под этот пресс. И уже новый кладовщик выковыряет потом блин из пресса. Бывает, так расплющит, что и не сразу вытащишь. Блин от его головы.

Конечно, можно взмолиться: «О великий Творец, сам прошу проверить меня на фантомной машине чист я перед тобой...» Нет, не то, не то...

И вдруг словно осенило кладовщика. Зачем же ему доносить, что видел преступление в ночное время, когда хорошим кирдам полагается впадать во временное небытие! Надо просто сообщить, что на станции прячется кирд без номера, что, мол, появился он в тот самый день, когда пришел на станцию начальник стражи с двумя крестами на груди... И не сейчас донести, а завтра днем.

Впервые за долгие дни Шестьсот пятьдесят шестой почувствовал себя хорошо и покойно, как будто только что сменил аккумулятор.

* * *

Надеждин ждал прикосновения. Был все тот же абсолютный мрак, была все та же абсолютная невесомость, был все тот же тягостный сон, в котором нет у тебя ни рук, ни ног, ни тела, но зато теперь было ожидание. У него были, конечно, и воспоминания. В конце концов, за плечами у него целых тридцать шесть лет, и как легкомысленно ни относиться к памяти, кое-что в ней набралось за эти годы. Но звать на помощь воспоминания не хотелось. Да и какая помощь от них, когда своей яркостью, остротой, осязаемостью они только ранили его, подчеркивали тягостный кошмар случившегося! К тому же, казалось ему, нельзя, просто нельзя допустить, чтобы драгоценные земные образы, теплые, живые, трепещущие, нежные, попали в эту заряженную кошмаром бесплотную ловушку. Это было бы, казалось ему, предательством, слабостью. Нет, лучше всего было не вспоминать, лучше просто ждать прикосновения. Сжаться в малую точку, превратиться целиком в ожидание.

Когда спасся он от гибели в том первом штормовом ужасе, когда удержало его на плаву чье-то прикосновение, он смог хоть чуточку подумать. Легче всего, конечно, было предположить, что он умер. Мысль эта вовсе не пугала. Он и так был абстракцией. И смерть была абстракцией. Но он никогда не верил в загробную жизнь. Не было у науки никаких

доказательств загробной жизни. Никто никогда не возвращался оттуда. Были лишь рассказы людей, побывавших в состоянии клинической смерти, рассказы о чувстве легкости, полета к свету. Но это было не доказательство загробной жизни, а скорее последние вспышки умиравшего ума.

К тому же в памяти остались пустые Сашкины страшные глаза, острая боль в запястье, которое сжал в своих клешнях робот, тащивший его туда, где до этого стоял его товарищ.

Из всего этого следовало, что, скорее всего, он не умер, что сознание его живет, но живет вне тела, в некоем электронном устройстве. Утешеньице было невелико, слов нет, но помог Крус. Он уже знал, что прикосновение – он мысленно назвал его Прикосновением с большой буквы принадлежало существу, образу, сознанию, памяти – кто знает? – по имени Крус.

Он сказал себе, что, если будет жив, что было в высшей степени сомнительно, навсегда запомнит эту спасительную поддержку, сострадательное и нежное прикосновение.

И вот Крус пришел, ласково позвал за собой, и не было больше невесомой бесконечной тьмы. Они скользнули вниз и оказались на земле. Мимо шли странные трехрукие гномики с клювами вместо носа, но никто не смотрел на них. «Равнодушны, как роботы, – подумал Надеждин, но тут же поправил себя: – Почему я так уверен, что нас видят? Это же просто воспоминания. Мой товарищ по электронной темнице взял меня с собой в путешествие по памяти. Спасибо, друг, спасибо, Крус».

А вот и металлические великаны. Для роботов они и тогда вели себя довольно-таки по-хозяйски. Вот один робот взял гномика за руку и потащил – да, да, потащил, почти так же по-хозяйски, как его тащили в круглой камере под страшный колпак. Может, это ребенок?

Надеждин задал себе этот мысленный вопрос, представил маленького гномика и гномиков побольше, и Крус понял его. Нет, тащили взрослого гнома, потому что маленький гном, вон он, был гораздо меньше.

«Спасибо, Крус, ты пытаешься понять меня. И я стараюсь понять тебя. И это прекрасно. Прости меня за выпренность стиля, но что может быть прекраснее, когда два живых существа пытаются понять друг друга? Я не большой философ, я всего-навсего командир грузового космолета, но я думаю, что не разум как таковой венчает природную пирамиду, а стремление понять другого, утешить и помочь».

«Да, – сказала прикосновение Круса, – это, наверное, так».

* * *

– Это Галинта, – сказал Густов дефам, которые молча стояли и смотрели на него. – А это, друг Галинта, мои товарищи. Что с тобой, ты боишься?

Трехрукий сжался, опустил голову, и все его четыре глаза затянулись белесыми перепонками. Он прижимался к Густову, и тельце его вздрагивало. Он так и не отпустил руку Густова, наоборот, вцепился в нее, как испуганный ребенок.

«Именно так, – подумал Густов, – как испуганный ребенок». В конце концов, так уж велика разница между этим клювастым трехруким существом и им, землянином? И если он прижимается к нему, значит, верит ему и ищет у него защиты. Странно, странно, конечно, гладить по головке такого гномика и следить, как все его четыре глаза по очереди вращаются, следуя за твоей рукой, но все равно приятно. И даже чувство голода ослабло – таким могучим ощутил себя на мгновение Густов.

– Это верт, – сказал наконец Утренний Ветер. – Их давно нет. Откуда он пришел?

– Я привел его из подземелья, – сказал Густов и улыбнулся. Уж очень забавно прозвучали его слова. Речитатив из какой-нибудь старинной оперы.

– Разве верты живы? Их нет. Это все знают.

– Это сразу не объяснишь, Утренний Ветер. Я тебе рассказывал, но ты не слушал. Там много вертов...

– Они там живут?

– Нет. Они неживые.

– Как же ты его привел?

– Мне трудно объяснить, но там есть устройство, которое, видимо, оживляет вертов. Все помолчали. Наконец один из дефов сказал:

– Зачем он нам?

– Как зачем? – удивился Густов.

– Верты плохие.

– Почему?

– Верты плохие, – упрямо повторил деф.

– Чем же они плохие?

– Это все знают.

– Кто все?

– Все.

– Но что плохого он сделал тебе?

– Мне он ничего не сделал, потому что они умерли. Они потому и умерли, что плохие. Все умерли.

– Утренний Ветер, – спросил Густов, – я не понимаю, почему вы...

– Видишь ли, Володя, есть вещи, которые знает каждый кирд. Это называется история. Каждый кирд знает, что верты плохие. Они эксплуатировали кирдов, отнимали у кирдов аккумуляторы...

– Зачем им нужны были аккумуляторы?

– Как зачем? Все знают, для чего нужны аккумуляторы. Без них и шагу не ступишь.

– Но я же обхожусь без аккумуляторов.

– Ты – другое дело.

– Может быть, им тоже не нужны аккумуляторы. Посмотрите на Галинту. У него же совсем другое тело, не как у вас. Мне кажется, никакие аккумуляторы ему не нужны. Но дело не в них. Я никак не возьму в толк, почему все-таки верты плохие.

– Тебе же объясняют, – нетерпеливо сказал Тропинка, – они плохие. Это все знают.

– Это я уже слышал, – сказал Густов. – Но вы повторяете одно и то же: они плохие, это все знают.

– Но это действительно все знают, – сказал Утренний Ветер. – Я никак не пойму, чего ты хочешь.

– Я хочу не заклинаний: «Это все знают, это все знают». Я хочу фактов.

– Что такое факт?

– Это то, что случилось на самом деле.

– Вот тебе факты: верты отнимали у кирдов аккумуляторы, они их заставляли много работать. Они плохие. Это факты.

– Откуда ты их знаешь?

– Ты говоришь странно, Володя, – сказал Утренний Ветер. – Их все знают.

– Откуда?

– Что значит откуда?

– Ты видел когда-нибудь вертов?

– Нет, конечно. Они давно умерли.

– Так как же ты можешь утверждать, что они мучали кирдов?

– Потому что я знаю.

– Рассвет! – вскричал Густов. – Ты мудрый, я не хочу спорить с вами, но я хочу понять, откуда вы знаете факты из жизни вертов?

– Их знает каждый кирд, Володя.

– И вы им верите?

– Как можно не верить истории? На то она и история.

– А кто учит вас истории?

– Она у нас в голове.
 – Кто ее закладывает туда?
 – Как кто? Мозг, конечно.
 – А вы верите Мозгу?
 – Нет, конечно, Мозг наш враг.
 – Как же вы тогда можете верить истории, которую вложил в ваши головы Мозг?
 Рассвет помолчал, потом молвил задумчиво:
 – Твои слова непривычны, и мне нечего тебе возразить. Я должен обдумать их.
 – Значит, вы согласны, чтобы Галинта остался с нами?
 Никто не ответил. Дефы старались не смотреть на Густова.
 – Ты должен понять, – сказал наконец Рассвет.
 – Что?
 – Когда долго носишь в голове какое-то знание, оно... с ним очень трудно расстаться. Может быть, в том, что ты говорил, многое смущает наши умы, но мы привыкли считать вертов плохими... Лучше пусть он уйдет.
 То ли мучили Густова спазмы пустого желудка, то ли скребли сердце пустые глаза товарищей, но он вдруг закричал:
 – Вы, дефы, говорите о любви! А сами набиты злобными предрассудками, мне стыдно за вас!
 Дефы молчали. Запал прошел, и Густов замолчал. На него навалилась огромная усталость и ощущение полной тщеты своих усилий. И привычное уже отчаяние. И не только в гномике было дело – все, все было бессмысленно в этом тупом и жестоком мире. Тупая жестокость была вечна и беспредельна, она существовала, наверное, столько же, сколько желтое небо, и надеяться побороть ее было надеждой песчинки остановить крутивший ее шторм. Тупая жестокость была несокрушима, она – свойство материи, и его сражения с ней были атакой муравья па бронированную крепость. Нет, поправил он себя, муравей мудрее его. Муравей не понимает, что делает и куда ползет, и в этом его сила. А он понимает, что делать ему нечего и ползти некуда. И в этом его слабость.
 Кому есть дело до пустых глаз и жалобного мычания его товарищей, до мук голода, что время от времени прожигали его желудок, до безнадежности, что придавливала его тяжким прессом, перехватывала дыхание, до маленького гномика Галинты, который все еще держал его за руку.
 – Пойдем, – сказал он и слегка сжал ладонь.
 Узкая ладонь гномика ответила благодарным пожатием.

11

– О великий Мозг, – сказал кладовщик проверочной станции, – докладывает Шестьсот пятьдесят шестой.
 Главный канал связи был гулким, просторным, и кладовщику показалось, что он даже слышит эхо своих слов: «...той, той...»
 – Говори, – послышалась команда Мозга, – но будь краток.
 – Великий Творец, на станции прячется кирд без номера. Я не знаю, кто он, но он появился в тот день, когда на станцию пришел начальник стражи с двумя крестами на груди.
 – Ты видел его?
 – Нет, о великий Творец.
 – Откуда же ты знаешь?
 – Старые тела попадают ко мне на склад. Там и сейчас лежит туловище с двумя крестами.
 – Как же проходит проверку кирд без номера?
 – Он получает штамп.
 – Кто ставит его?

- Начальник станции кирд Четыреста одиннадцатый. – Ты уверен?
- О великий Мозг, Создатель всего сущего, я знаю, что меня ждет, если я ошибаюсь.
- Хороший ответ, кладовщик. Никто не должен знать о нашем разговоре.
- Слушаюсь, Повелитель мира.

Измена, кругом измена. Гнусные дефы лезут из всех углов, как извечный хаос, который ненавидит порядок, как тьма, которая всегда норовит залить, загасить свет. Это было хорошее сравнение. Он, Мозг, был светом который освещал весь мир и защищал его от темных сил неразумной стихии.

Только что, совсем недавно, он сам проверял Четыреста одиннадцатого на фантомной машине, и вот и в него уже вползла зараза измены. Вырвать ее, выжечь, чтоб не захлестнула она город. Чтоб не исказила четкие прямые линии великого чертежа, который он создал. Чтобы преградить путь ненавистным дефам.

Он вызвал начальника стражи и приказал немедленно обыскать проверочную станцию, во что бы то ни стало найти безымянного кирда, схватить его, но под пресс не бросать, пока он сам не проверит его, а также задержать начальника станции.

* * *

Бывший кирд Двести семьдесят четвертый, бывший начальник стражи, стоял на лестнице, ведущей в склад, и ждал Четыреста одиннадцатого. Жизнь его треснула, раскололась на две неравные части. В одной было безмятежное существование добропорядочного кирда, работа, изучение пришельцев, доклады Мозгу, новое назначение, два креста на груди, стражники, ловившие каждое его слово, вызов в самую башню Мозга. Было ощущение себя частью большого механизма, было тихое удовлетворение от своей полезности, от принадлежности к этому механизму. Было удовлетворение от растворения в механизме, когда порой перестаешь ощущать себя отдельным кирдом, забываешь, что ты Двести семьдесят четвертый, а становишься безымянной частицей чего-то большего, чем ты, более сильного, чем ты, более мудрого. В другой части был безымянный деф, который прячется по закоулкам проверочной станции и которым управляют теперь не приказы Творца, а жгучая ненависть к нему. Если бы только этот коварный Мозг был перед ним, он бы кинулся на него всем своим весом, крушил бы его куб, давил, прыгал на нем, пока последняя искорка не покинула бы искореженные схемы. Будь он проклят!

В башню не войти. Вход открывает только сам Мозг. Но ничего, он дождет своего часа, он еще поговорит с Творцом. На своем языке.

Четыреста одиннадцатый обещал ему, что ждать придется не так долго, что у него есть план. Интересно, что это за план...

Он услышал шаги по лестнице. Наверное, Четыреста одиннадцатый, он уже давно ждет его. Сначала он увидел ноги. Ноги ничем не отличались от других ног, ноги как ноги, но они тут же заставили его двигатели включиться на полную мощность. Четыреста одиннадцатый так не ходил, не ходил такими медленными, осторожными шажками. Так может идти кирд, знающий, что его поджидает опасность.

Он впился глазами в спускающиеся по лестнице ноги, прижался к стене. Он не ошибся, это был не Четыреста одиннадцатый, а стражник.

Мозг был далеко, его башня недоступна, но перед ним был его посланец, и ненависть, что переполняла его, бросила его на стражника. Он прыгнул, ударил плечом стражника в грудь.

Стражник не ожидал нападения. Он давно уже носил крест на груди и не раз и не два выдерживал кирдов из их привычного существования. Кто там у них оказывался дефом – это уже было не его дело. Но все без исключения цепенели, когда видели перед собой грозный бело-голубой крест, и покорно шли за ним.

«За мной!» – командовал он, и те, кому он приказывал следовать за ним, послушно

шли. Он даже редко брал их за руку, потому что им и в голову не приходило послушаться. Он был стражником, он выполнял приказы Творца, а потому никто не смел сопротивляться.

Поэтому стражник не ожидал нападения, и удар ошеломил его. Он покачнулся, но удержался на ногах. На какую-то долю секунды он сконцентрировал все свое внимание на сохранении равновесия, и это-то и дало возможность бывшему начальнику стражи вырвать из рук врага трубку. Он направил ее на стражника.

– Ты!.. – завопил стражник и кинулся на него, но голубой луч трубки вспыхнул на мгновение ярким пятном на его голове, прожег ее оболочку, расплавил и испарил схемы его мозга.

Стражник еще двигался, но лишь по инерции, работой его двигателей никто больше не управлял, и никто не координировал их взаимодействие. Долю секунды сила инерции боролась с силой тяжести, но только долю. Сила тяжести победила, стражник рухнул с грохотом на ступеньки и медленно скатился вниз.

Бывший Двести семьдесят четвертый стоял на лестнице, сжимая в руке трубку. Ярость стремительного боя прошла, он, казалось, дал выход и ненависти к Мозгу, которая переполняла его.

Далеко ему не уйти. Раз они уже узнали, что его еще не сунули под пресс, на станцию послали не одного стражника. Тот, который занял его место, уж постарается выслужиться. Всю, наверное, стражу стянул сюда.

Недолгой получилась отсрочка. Мозг победил. Сила всегда побеждает.

Ему не хотелось больше думать о Мозге, не хотелось представлять, как луч из трубки стражника вопьется в его голову – и он рухнет, так же страшно подвернув руки и ноги. Быстрее бы впасть в вечное небытие. Оно звало. В нем не было проклятого Творца, тупых стражников с короткими трубками в руках, не было страха и ненависти. Он поднял трубку и приставил ее к голове. Он уже хотел было нажать на кнопку, но подумал в этот момент о Четыреста одиннадцатом. Его они тоже отправят под пресс...

Кирд он или деф, но он не выполнил приказ Мозга, спас его от вечного небытия. И не его вина, что спасение оказалось таким недолгим.

Он никогда не думал о других. Любовь и преданность адресовались только Творцу, но сейчас в первый и последний раз в жизни ему остро захотелось сделать что-то для другого. Если бы он мог помочь Четыреста одиннадцатому... Может быть, он успел бы уйти из города.

Чувство это было совершенно новым для бывшего Двести семьдесят четвертого. Оно как бы осветило его сознание непривычным светом, и знакомый мир стал другим. В этом другом мире он не был бы таким, каким его создал Мозг, – холодной равнодушной и одинокой машиной. Он помогал бы другим, и множество теплых щупальцев протянулось бы от него к другим и от других к нему.

Поздно, этого мира нет, есть только жестокий мир Мозга. И его самого больше нет, только тень его еще осталась. Но все равно он поможет Четыреста одиннадцатому.

Он поднялся по лестнице и осторожно выглянул.

Кто-то бежал по проходу и кричал:

– Вон он, поднялся по лестнице! Это он, я знаю, я – кладовщик, я знаю эту лестницу!

В зале было много кирдов. И те, кто проверял, и те, кого проверяли. Они все застыли и молча смотрели на бегущего кладовщика и на него.

Он хотел было нырнуть вниз, спрятаться, забиться куда-нибудь в угол, но спрятаться было некуда. Он посмотрел на стенд, на котором обычно работал Четыреста одиннадцатый. Начальник станции тоже оцепенел, но глядел не на него, а только на кладовщика.

Бывший начальник станции рывком выскочил в зал.

– Вот он! – кричал кладовщик.

Он был уже совсем близко и заметил, наверное, трубку в его руках. Он остановился. Глаза его обшарили зал в поисках стражников, но не нашли ни одного. Он словно замороженный смотрел теперь на трубку, потом повернулся и бросился бежать.

Бывший Двести семьдесят четвертый так и не понял, споткнулся ли он или кто-то подставил ему ногу, но кладовщик с лязгом упал.

– Держите его! – завопил он, уперся руками в пол и начал вставать.

Бывшему Двести семьдесят четвертому казалось, что он поднимает трубку и целится бесконечно долго, и он был рад этому, потому что боковым глазом он видел, как Четыреста одиннадцатый махнул ему рукой и исчез. Он нажал кнопку, и кладовщик забился на полу, задергал ногами. Не очень удачный был выстрел, подумал он. Он знал, чувствовал, что истекают последние мгновения перед наступлением вечного небытия, бесконечная печаль неслась на него с глухим гулом, но он все-таки успел почувствовать теплое чувство благодарности Четыреста одиннадцатого.

Он слышал топот шагов, но звук был слабым, словно приходил издалека. Он не успел даже подумать, откуда они доносятся, потому что пол начал стремительно приближаться к нему, подскочил и ударил в него, и больше он ничего не видел.

* * *

– Вставайте, ребята, – сказал Густов Надеждину и Маркову, но они лишь вздрогнули и замычали. – Коля, миленький, Сашок... – Он дернул Надеждина за руку, и тот покорно встал. Потом заставил встать Маркова. – Галинта, – кивнул он трехрукому, – пошли.

Дефы стояли молчаливым полукольцом и смотрели на них.

– Володя, – сказал Утренний Ветер, – нам не хочется отпускать тебя. Ты сердишься...

– Дело не в этом, друзья. Я ж вам объяснил. Мы не можем долго обходиться без пищи, так же как и вы без заряженных аккумуляторов. В городе, в круглом здании, наши рационы...

– Стражники отправят вас в вечное небытие.

– А может быть, и нет. А без пищи мы уже безусловно окажемся там.

– Мы попытаемся добыть ваши рационы.

– Опять вылазка в город. Они стали хорошо обороняться. Вы теряете все больше товарищей.

– Это правда, – печально сказал Рассвет.

– У нас нет выхода. Мы пойдем.

Густов вдруг явственно увидел себя со стороны держащего за руки двух своих товарищей, как маленьких детей. Печальная нянька печальных больших детей.

Когда он тянул их за руки, они послушно шли за ним. Галинта шел впереди.

Их догнал Рассвет.

– Володя, – сказал он, – я все время думал о твоих словах...

– О каких, друг Рассвет?

– О вертах.

– А...

– Наверное, ты прав. Наверное, нельзя впускать в голову ни одной мысли, которую ты не проверишь сам. Мысли в голове должны быть только своими, чужих туда пускать нельзя, а убеждение, что верты плохие, – это чужое убеждение. Это убеждение Мозга. Это его история. А если история создается тем, кто в ней заинтересован, это уже не история. Ты прав, друг Володя. Прости нас. Мозг наш враг, но мы носим в своих головах еще много ядовитых семян, которые он бросил в нас... Иногда нам кажется, что мы повыдергивали все стебельки, но они снова и снова прут из нас. Ты пришел из другого мира, объясни: почему зло растет так легко, а добро с трудом пробивается наружу?

– Я не знаю, брат. Может быть, потому, что зло ближе к равнодушной природе. Может быть, в основе зла равнодушие, то есть привязанность только к себе. А доброта – это драгоценное растение, с гигантским трудом и невероятными страданиями выведенное разумом за бесчисленные поколения. Ты не представляешь, Рассвет, как я рад и горд, что ты

догнал нас. Это подвиг.

– Почему?

– Мне иногда кажется, что истинная мудрость не в создании или понимании новых идей, а в умении подвергнуть сомнению привычные понятия. Это гораздо трудней. Прощай, друг Рассвет. Может, ты все-таки останешься? Мне грустно расставаться с тобой.

– Мне тоже, но я не вижу другого выхода.

– Ты помнишь, как найти дорогу?

Да. Утренний Ветер хорошо объяснил мне. Прощай, друг.

– Прощай, Володя.

Они шли медленно, и Галинта иногда останавливался, чтобы подождать их. Усталость все больше наваливалась на Густова, нашептывала соблазнительно: сядь, отдохни. Борьба с ней было трудно, потому что ей нечего было возразить. Куда он тащит их, зачем? Он ведь и сам не очень-то верил в то, что задумал. Их подстерегало такое количество «если», что продрасть через этот частокол было практически невозможно. Если произойдет чудо и он благополучно доведет свою скорбную команду до города, не собьется с пути, не заблудится в похожих друг на друга развалинах, не заснет на ходу и не замерзнет ночью, это еще ничего не будет значить. Их могут схватить, их, скорее всего, именно схватят, и, скорее всего, он разделит участь товарищей. И из него выкрадут сознание, и его сделают пускающим слюни идиотом. И Галинту схватят, бедного гномика. Эти роботы почему-то не любят вертов. Если и дефы ошестинились против него, легко представить себе реакцию обычных кирдов.

Но если даже случится второе чудо, состоится целый парад чудес, нет никакой гарантии, что в их старой камере пыток все еще валяются на полу сумки с едой. И нет никакой гарантии, что он вообще сумеет найти этот милый круглый домик. А если найдет – открыть. И одному Галинте известно, что он ест. Если, впрочем, ему это известно, потому что, в сущности, он даже не знал, кто шел перед ним, поблескивая задними глазами, – заводная говорящая кукла, воскрешенный каким-то образом верт или что-нибудь еще.

И отправился он в этот бессмысленный путь не потому, что действительно надеялся добыть еду, а потому, что просто не мог сидеть и ждать покорно конца. Слишком долго были они на этой проклятой планете щепками, которые крутил и тащил какой-то дьявольский поток. Так и не совсем так. Он все время играл с собой в маленькие игры, преимущественно в прятки. Чем ближе маячил конец, уже не покрытый дымкой абстракции, а ясный и безжалостно очевидный, тем больше он надеялся на чудо.

Он вдруг вспомнил, как совсем еще малышом слушал важные рассуждения старшего брата о движении молекул.

«Понимаешь, дурында, они маленькие и летают по комнате взад и вперед. Это и есть воздух, которым мы дышим».

Он вдруг испугался:

«А что, если они все вдруг слетятся в угол? Мы задохнемся, да?»

«Ты дурында, – снисходительно сказал брат. – Их так много, что они не могут собраться в кучку»

«А если соберутся?»

«Это невозможно».

«Наверное, – думал он тогда, брат прав. Он всегда был прав. Он знает все на свете. Но вдруг все-таки эти молекулы (он представлял их в виде маленьких мошек) не послушают брата?»

Тогда, на том далеком свете, он боялся того, чего быть не могло. Сейчас, наоборот, он жаждал верить в то, во что верить было невозможно. Но чем невозможнее было спасение, тем жарче пылала в нем надежда. Признаться себе в том, что он верит в нее, было опасно. Нельзя было сглазить эту немислимую, противоестественную надежду. Даже помянуть ее имя всеу он боялся: а вдруг спугнет ее?

Марков жалобно застонал. Лицо его исказила болезненная гримаса. «Боже, и это Сашка...» Он вдруг сообразил, что бормочет что-то невразумительно-ласковое, что,

наверное, бормотал бы своему ребенку, если бы остался с Валентиной... Почему если бы? Вон она идет навстречу ему, сейчас она, улыбнется и спросит, откуда у него такие взрослые дети. Он хотел что-то крикнуть ей, но услышал шорох над головой. Совсем низко над ними летели две черно-красные, словно надевшие траур птицы. Они медленно взмахивали двумя парами бахромчатых крыльев и между взмахами заметно теряли высоту, которую тут же снова набирали.

– Ани, – сказал Галинта.

– Это птицы? – спросил зачем-то Густов.

– Ани, – повторил Галинта. Он повернул голову и неожиданно издал какой-то клекот.

Четырехкрылые твари в ответ заложили плавный вираж, вытянули длинные шеи и, казалось, с интересом рассматривали гномика. Галинта еще раз издал клекот, и обе птицы тяжело опустились рядом с ним. Гномик подбежал к ним, заклекотал, зацокал, протянул все три руки, и птицы сладострастно подсунули под них маленькие толочки на длинных гибких шеях, завертели ими. Они закрыли бусинки-глаза и тихонько клекотали, словно что-то медленно варилось в них.

Наеждин и Марков жалобно хныкали, они боялись птиц, а Густов не мог даже удивляться. Он был так измучен, так гудели у него ноги, что он бы с радостью стоял и глазел на что угодно, лишь бы не тащиться дальше.

Птицы неторопливо взмахнули крыльями, тяжело взмыли в воздух, и Густов вздохнул и сказал:

– Пошли, ребята.

Галинта не двигался. Он покачал головой, показал средней рукой на небо и сказал:

– Ани.

– Я понимаю, что это ани, но нужно идти.

– Нет, – вдруг сказал Галинта. – Ждать...

Даже у приговоренного к казни бывают свои радости. Так уж устроен человек. Два слова сказал гномик, всего два словечка, а Густов испытал беспричинную радость, словно в густом губительном тумане, который все время клубился вокруг него и скрывал все на свете, вдруг появился просвет.



– Галинта, друг! – закричал Густов, и Надеждин и Марков испуганно вздрогнули. – Ты говоришь, ты понимаешь меня.

Галинта покачал головой, как будто хотел сказать: «Ну что ты, не все сразу», и повторил:

– Ждать. Ани.

Он сел на землю и закрыл все четыре глаза.

– Ну что ж, другой бы спорил, – вздохнул Густов.

Он дернул своих подопечных за руки, и они опустились рядом с ним. Сел и он.

Боже правый, – думал он, – неужели они когда-то летели на своем грузовике, незлобиво и лениво подсмеивались друг над другом, неторопливо вспоминали о земных делах и так же неторопливо думали о будущем? Какими те трое казались ему теперь плоскими, самодовольно-невежественными, не знающими ни настоящего горя, ни трагедии, ни надежды, ни смирения. Они были бесконечно молоды по сравнению с ним.

Он понял, что задремал, потому что старший брат медленно взмахнул руками и взлетел. Летел он тяжело, неумело, на лбу блестел пот. Густову было страшно. Он вовсе не боялся, что Юрка упадет, у Юрки всегда все в жизни получалось; он боялся, что братец пролетит над ним и не заметит его, а он сейчас зачем-то ему был очень нужен. Он начал думать, почему ему так нужен брат, и наконец понял: ну конечно же, как он сразу не сообразил: брат летит наловить молекул и сможет покормить его. Это было естественно. Странно было, почему Юрка не говорит с ним, а издает какой-то птичий клекот. Он испугался и открыл глаза. Сердце дернулось и понеслось вскачь. Прямо около его рта изгибался длинный червь, перехваченный множеством колечек. Он сфокусировал глаза. Червя зажала в клюве одна из черно-красных траурных птиц.

– Асур, – сказал Галинта, раскрыл рот-щель и показал в него средней рукой.

В трепете четырех крыльев около него опустился второй ань и протянул Галинте в клюве похожую живность.

– Асур, – повторил Галинта, взял извивающуюся тварь и засунул себе в рот.

Густов содрогнулся. Ему показалось, что вот-вот его вырвет при виде угощения, которое ему предлагалось, но желудок был мудрее его. Он не дернулся, пытаясь вывернуться наизнанку от отвращения. Наоборот, он потянулся навстречу пище. Что ж, выбора у него не было. Вернее, был, но неравнозначный: целый часток «если» на пути к пище и длинный парад чудес, потребных для ее добычи, и живая, реальная пища. Конечно, он может погибнуть от яда этого червя, но и без него он погибнет. Он вдруг понял, что участвует в обсуждении вопроса о съедобности червя скорее как зритель, без права голоса. Желудок уже отключил его разум, сам взял на себя управление правой рукой, протянул ее к клюву птицы, за ставил взять червя. Червь сильно и упруго извивался в руке, как пойманная на крючок рыбина. Желудок поднес руку ко рту и открыл его, вобрал губами чужую плоть и сдвигал зубы. Он съел червя, так и не определив его вкуса. Желудку было не до вкуса, он сражался за жизнь и не обращал внимания на детали.

– Асур? – спросил Галинта.

– Асур, – ответил Густов.

– Асур, – сказал Галинта, заклекотал, и ань, с любопытством смотревший на Густова, внезапно резко дернул головой, поднял клюв к желтому небу.

В кончике клюва был зажат очередной асур. Он походил на иллюзиониста гордо посматривающего на зрителей.

Пока он сам жевал инопланетного червя, он рисковал только своей шкурой, которая уже не много стоила к этому времени. Теперь нужно было решать, кормить ли ими товарищей. Да, пока он жив, никаких симптомов отравления не замечалось. Но прошло всего несколько минут с другой стороны, если с ним что-нибудь случится, ребята все равно пропадут без него. «Ребята, – поправил он себя, – не ребята, а то, что от них осталось». Он взял червя и всунул его в разинутый, как у птенца, рот Надеждина. Тот начал жадно жевать, торопясь, давясь, пуская слюни. Накормил он и Маркова.

– Асур, – сказал он, и Галинта энергично закивал вытянутой головой.

Он не знал, что такое асур, название ли спасительных червей или что-нибудь еще, но он произнес слово с чувством благодарности.

* * *

Четыреста одиннадцатый видел, как вошел стражник, но сначала не обратил на него внимания: мало ли стражников заходит на станцию! Одному нужен дневной разрешающий штамп, другой заглянул проверить и зарядить свой тестер, третий притащил для проверки какого-нибудь показавшегося ему подозрительным кирда.

Но стражник не подошел к проверочным стендам, не направился к нему, а медленно и настороженно двинулся прямо к лестнице, которая вела в склад. Это могло означать только одно: он пришел за Шестьсот пятьдесят шестым. Бедный деф не успел еще пройти школу спасительного обмана, ошибся, наверное, остановился где-нибудь на улице, задумался, и кто-нибудь тут же на него донес. О, это у них получается изумительно! Стоит кому-нибудь хоть в чем-то оказаться не похожим на безликую массу бездумных кирдов, тут же донос. О, дефов они чувствуют издали, дьявольское у них чутье на отличных от себя! И призывать их к доносам не надо, что-то, а это они делают исправно.

«Бедный кладовщик!» – еще раз подумал он, понимая, что ничего сделать нельзя. За себя он не боялся, он научился маскироваться, а новообращенный деф его не выдаст, даже если его будет допрашивать сам Мозг. Конечно, если его подключат к фантомной машине, тогда другое дело. Но он так давно жил бок о бок с постоянной опасностью, что привык к ней, и мысль о вечном небытии уже не заставляла содрогаться. Жаль было бы только плана...

«Работать, спокойно работать, как будто ничего не случилось», – сказал он себе. Что ж, борьба требует жертв. Сегодня кладовщик, завтра стражник может прийти за ним. И все-таки жалко было беднягу – так обрадовался он, что нашел брата, так сияли все его глаза!

В этот момент он почувствовал, как непроизвольно увеличились обороты его двигателя. Он еще не полностью осознал, что случилось, но постоянно жившее в нем чувство опасности уже подняло тревогу. Недалеко от лестницы он увидел кладовщика, который с жадным любопытством смотрел то на стражника, который начал осторожно спускаться по ней, то на него, Четыреста одиннадцатого.

Он не пытался убежать, не делал вид, что занят каким-то делом, не бросился к начальнику за защитой.

И значить это могло только одно: он не метался по станции потому, что не боялся, а не боялся потому, что донес сам. Сам оказался предателем. А он... братом его называл, расслабился. И черная пропасть вечного небытия рывком приблизилась, он уже мог заглянуть в бездонный провал. Пропадь окружила его со всех сторон, спасения не было. Руки его автоматически двигались, но думал он только о конце. Что ж, он был готов. Не он, так другие придумают план, не его – так другой. Все равно этому уроду-городу долго не простоять...

До него донесся какой-то шум, по лестнице в зал вбежал... нет, это был не стражник, на груди не было бело-голубого креста. Он услышал крик: «Вон он, поднялся по лестнице! Это он, я знаю, я – кладовщик, я знаю эту лестницу!» Это кричал кладовщик. Только теперь он увидел, что кирд, поднявшийся по лестнице, был бывший Двести семьдесят четвертый. В руке он держал трубку. Он заметил кладовщика и кинулся за ним, поднимая для выстрела трубку. Но боковыми глазами он успел поймать взгляд Четыреста одиннадцатого и коротко махнул рукой.

Четыреста одиннадцатый плохо видел, что произошло в зале, потому что он уже бежал. Он видел какое-то мелькание, отблеск сначала одной вспышки на блестящих частях проверочных машин, потом второй, лязг падающего на металлический пол тела.

Он бежал, всем телом чувствуя, как вот сейчас, в следующее мгновение, луч ударит и в него. «Интересно, зачем-то пронеслась в его мозгу никчемная мысль, – когда стреляют в тебя, успеваешь увидеть луч?»

Он уже выскочил из здания станции. Прямо на него бежали два стражника. Все... Нет, пропасть отступила на несколько шагов. Они промчались мимо, за ними плыла грузовая тележка.

Он перешел на шаг. Нельзя было привлекать к себе внимание. Пусть сами ищут его, тупые крестовики. Наверное, они еще разбираются, что случилось на станции. Пока еще у него есть время. Только не привлекать к себе внимание, идти ровным, спокойным шагом, первым или вторым – неважно. Ведь он мог идти выполнять приказ, а мог возвращаться в загон после его выполнения.

Он не знал, куда идти. К себе идти было нельзя: там-то стражники уж наверняка побывают. Он деловито шел по улицам, поворачивая то в одну сторону, то в другую. Только подальше от станции, только не отличаться от других, только слиться с толпами кирдов.

Все в городе ощетинилось опасностью, из-за следующего угла мог показаться стражник, за любым домом его могла поджидать черная пропасть. Дома, проходившие мимо кирды, желтое небо, красноватая пыль под ногами – все было враждебно, все жаждало спихнуть его в провал без дна. Лети, деф, в вечное небытие, будешь знать, как высовываться; думать, видишь ли, захотел по-своему. Кирду вообще думать не нужно, за него Творец думает, а уж по-своему – это уж точно дефье проклятое свойство. От них, от дефов, все напасти. Тащат говорят, все аккумуляторы, вот и приходится добрым кирдам ждать теперь, пока дадут новый...

Дважды ему казалось, что встречные стражники смотрят на него как-то особенно, и он напрягался, готовясь к последней и бессмысленной схватке. Но один раз патруль прошел мимо, даже не обратив внимания. Другой стражник лениво поднял тестер, услышал щелчок, свидетельствовавший, что разрешающий штамп есть, и даже не взглянул на номер, который появляется на тестере, когда стражники проверяют им прохожих.

Начало темнеть. Небо теряло желтизну, наливалось серым. Все больше кирдов входило в дома, чтобы замереть во временном небытии. В нем шевельнулась глупая зависть: как хорошо было бы и ему спокойно войти в свой загон, привычно нажать на кнопку выключения сознания и законопослушно погрузиться во временное небытие, в котором не надо бояться, не надо о чем-то думать и о чем-то сожалеть. Просто погрузиться в блаженное небытие.

«Нехорошо», – поправил он себя и чуточку прибавил напряжения в цепи, чтобы прогнать наплывавшее на него оцепенение. Это игра словами. Если небытие действительно так желанно, кто тебе мешает тут же включить главный канал связи, услышать привычную гулкую тишину и сказать: «О великий Творец, докладывает беглый деф, бывший начальник проверочной станции. Я жажду небытия и прошу дать его мне...»

Одна мысль о Мозге встряхнула его. Было уже совсем темно, но еще слишком рано для того, чтобы попытаться уйти из города. Но на улицах оставаться было уже опасно.

Раздумывать было некогда, колебаться было нельзя, слишком долго он сегодня играл с опасностью. Он зашел в первый же дом, прислушался. Ни звука. Кирды, стоявшие в загончиках, еще не успели остыть и ярко светились в тепловых лучах. Они-то его не заметят, они уже во временном небытии. Но если заглянет стражник, он обязательно увидит, что кто-то стоит в проходе. Если бы был свободный загон... Мало ли кирдов становятся дефами, мало ли просто гибнут... Ему не повезло – все загончики, как один, были заняты.

Не хотелось, не хотелось ему почему-то снова выходить на улицу, но и оставаться было нельзя. Целый день играла с ним в смертельную игру бездонная пропасть: то приближалась (казалось, еще шаг – и рухнет в нее), то отступала, змеилась где-то в сторонке, а теперь подступила вплотную. Невдалеке шел ночной патруль: два стражника с одной стороны, два – с другой. Ни одного дома не пропускают в каждый заглядывают. Еще бы, ищут главного преступника, странного дефа, который осмелился нарушить приказ самого Творца...

Зашли в соседний дом. И не выскочишь: другая пара караулит на улице. Он повернулся, тихонько, стараясь не топать, пробежал по проходу. Можно было, конечно, просто влезть к какому-нибудь кирду в загончик, места для двоих хватит, но заглянувший в дом стражник может заметить более яркий свет от двух тел. Оставался один шанс, о котором он раньше почему-то не подумал. Кирд во временном небытии ничего не замечает, у него же выключено сознание. Он шагнул в загончик и нажал на плечи кирда, заставляя его опуститься на пол, но кирд даже не шелохнулся. Он опустил на колени и сильно потянул на себя ноги кирда. Суставы согнулись, центр тяжести сдвинулся, кирд нагнулся и начал оседать. Только не дать ему упасть или удариться о стену: грохот будет такой, что стражник сразу кинется внутрь. Он никогда не думал, что выключенный кирд может быть таким тяжелым. Он с трудом удержал туловище, осторожно уложил его на пол и выпрямился.

Конечно, если бы он мог выключить сознание, его бы уж никак нельзя было отличить от остальных кирдов. Но выключить свое сознание кирд может сам, для этого достаточно нажать на кнопку, но включить его сможет только приказ Мозга. Ведь, впадая во временное небытие, кирд практически перестает существовать. Оставалось надеяться, что разница в яркости свечения невелика: они выключились совсем недавно.

Его судьба, судьба плана, а стало быть, и всего проклятого города зависела сейчас от силы теплового излучения его тела и внимательности стражников. Он приказал себе замереть, остановил двигатели. Все, больше ничего сделать он не мог.

Он услышал шаги у входа.

– Зайдем? – спросил один из стражников.

– Надо зайти. Пустое, конечно, да те могут донести.

– Это верно. Только и ждут, чтоб выслужиться перед новым начальником.

– Ничего, скоро мы их подловим...

– Все вроде нормально.

– Пройти, что ли, по проходу?

– А чего, и так все видно.

– Ладно, пошли, а то до утра не управимся. И где этот деф прячется, хотел бы я знать...

– Я, между прочим, тоже. Неплохо бы его схватить. Тут-то мы бы уже отрапортовали...

– Ладно, пошли, а то те еще подумают, что мы в спячку залегли.

Шаги удалились, а с ними снова отступила пропасть.

Он простоял в загончике до того момента незадолго до рассвета, когда все уже успевает излучить накопленное за день тепло, но еще не видно в оптическом диапазоне.

Он выглянул. Было тихо. Он вышел, прижимаясь на всякий случай к стене. Он благополучно добрался до последнего дома. Еще несколько шагов – и он выйдет из города. Там уже легче. За пределы города стражники выходят редко, жмутся друг к другу, боясь, что не услышат приказов. Без приказов они и шагу ступить не смеют.

Пора. Он бросился в проход между домами, но вдруг услышал крик:

– Стой, деф!

Что ж, добралась до него все-таки ненавистная пропасть, распялила злорадно пасть, не перешагнешь. Он побежал, петляя. И как он его усмотрел, проклятый? Ведь почти ничего не видно.

«Все-таки выстрел видно», – пронеслось у него в мозгу когда все вокруг осветилось голубым всполохом. Кто-то уцепился за его ногу, дернул ее, он потерял равновесие и упал. В ногу, наверное, попал. Сейчас подойдет страж порядка, наклонится, наверное, чтобы не промахнуться во второй раз.

Он лежал тихо. Только бы не пошевелинуться. Он уже в вечном небытии, пусть стражник убедится. Осторожный, идет медленно, шагочки маленькие.

Четыреста одиннадцатый даже не видел его, боялся даже чуть-чуть повернуть голову, только слышал шаги. Так и не увидел, только угадал, почувствовал, как что-то наклонилось над ним, темная масса.

Один, последний шанс. Он знал, что давно должен был впасть в вечное небытие, что не

может один деф сражаться с Мозгом, городом и стражей и что только план, который не должен был погибнуть с ним, удерживал его от падения в черный провал. Он резко ударил здоровой ногой, ударил боковым ударом туда, где он угадывал ноги стражника.

«Неопытный, наверное, был стражник», – подумал он, но подумал потом, когда было время думать. Сейчас у него времени думать не было.

– Да что это!.. – взвизгнул стражник, падая. То ли он пытался еще раз выстрелить в Четыреста одиннадцатого, то ли случайно нажал на кнопку в момент падения, но луч брызнул не в лежащего, а в падающего. – Да что... – снова послышался крик, но оборвался в тот самый момент, когда стражник рухнул с грохотом на Четыреста одиннадцатого, дернулся несколько раз и затих.

И опять он остался жив. Он вдруг понял, почему они никак не могли столкнуть его в бездонный провал. В нем было слишком много ненависти к Мозгу и его городу. Ее просто нельзя было выжечь лучом трубки, она была слишком велика, чтобы пролезть в пропасть.

Он с трудом столкнулся с собой стражника, попытался встать, но не мог: одна нога не слушалась его команд. Где-то неподалеку должна быть трубка. Он начал нащаривать, но никак не мог найти.

Ладно, с ней или без нее, любой ценой нужно было убираться отсюда. Он уперся в землю целой ногой, поднялся на руках и пополз. Ползти было неудобно, тело царапали камни, несколько раз он упирался головой в крупные обломки, но он продолжал ползти. Он даже не заметил, как плотная темнота начала незаметно сереть, как в сером небе появились первые желтые отсветы. Он полз и полз, не оглядываясь на город.

* * *

С того момента у Галинты осталось ощущение стремительного движения. Именно оно выдернуло его из привычного медленного парения в темной невесомой бесконечности. Он ничего не успел понять, его захлестнул страх падения. Оно было так непривычно, это ощущение, что подавило его сознание, почти выключило его, а может, и прервало на какое-то время, потому что, когда оно снова вернулось, он твердо решил, что он, Галинта, больше не существует. Он видел свет, что было невозможно, потому что в его мире был только свет воспоминаний, а реальный свет быть не мог. Он ощущал тяжесть, что тоже было невообразимо, ибо в его мире не было тяжести. Он получал сигналы от тела, главным образом от спины, которая испытывала некое давление, как будто он лежал на ней. Это было вдвойне нелепо, потому что в его мире не было тел, а стало быть, и сигналов от них. И если можно было усилием воображения представить себе тело, то уж сигналы от него получить было нельзя. Нельзя получать воображаемые сигналы от воображаемого тела, воображаемого лежащего на воображаемой спине.

Наконец – и это, наверное, было самое невероятное – он видел объемный трехмерный мир, который, как им всем давно уже казалось, может существовать только как сон, как игра ума, но не как реальность. Он был слишком сложен, неустойчив и невероятен, чтобы существовать вне их воображения.

Он закрыл глаза, чтобы остановить тягостный поток нелепости. Свет исчез, что было привычно, но осталось все остальное – от ощущения тяжести до ощущения тела, чего быть не могло. Он снова открыл глаза. В его мире от движения век ничего не менялось, потому что веки были воображаемыми и движения их были воображаемыми.

На этот раз взмах их мгновенно изменил картину: ее опять залил немилосердно яркий свет, какого он никогда не видел в воспоминаниях. Закрыл глаза, открыл. Он управлял светом, что было невозможно. Такое количество невозможных вещей свидетельствовало, что его нет.

«Но я же Галинта, – сказал он себе. – Я верт. Я давно умер и вознесся во Временное хранилище. Сначала я ждал обещанного тела и возвращения в нижнюю жизнь, потом понял,

что тел не будет никогда, не будет и возвращения, не будет реального мира, что всегда будет зыбкий мрак Хранилища, будут уходящие все дальше воспоминания. Будет, наконец, уверенность, что никакого реального мира внизу вообще нет, что воспоминания – это не отражение бывшей когда-то реальности, а лишь игра воображения, фантастическая мозаика из придуманных осколков.

Да, – сказал он себе, – я Галинта, я знал всех своих соседей и товарищей по Хранилищу, я любил чувствовать близость кроткого Круса, любил вести с ним неспешные беседы о вечности, ибо о чем еще говорить, когда ты вечен?

Да, – сказал он, – я совсем недавно ощутил вместе со всеми яростное метание духа двух пришельцев, которые никак не могли примириться с тем – странные существа! – что попали в Хранилище.

Но этого не может быть, – сказал он себе. – Если я все это знаю и помню, если не прервалась ниточка моего самосознания, значит, я существую. Но в мире, который существовать не может».

Из двух невозможностей нужно было выбирать одну. И он допустил, что невозможный мир все-таки возможен. Это было трудно, тем более что сверху на него смотрело нелепое существо, которого не могла создать никакая фантазия: у него было всего два глаза, вместо нормального клюва – мягкий выступ и широченный рот.

Страх у Галинты не было. Страх должен быть соотнесен с привычной реальностью. В мире, в котором одна невероятность громоздилась на другую, где они пронизывали друг друга, места для страха не было.

Он вдруг почувствовал прилив озорного летучего безумства. Не понимая, что делает, он протянул среднюю руку урода с двумя глазами. Его ли это была рука, чья-то еще – не имело значения. Он уперся во что-то, толкнул это что-то и почувствовал, что монстр взял его руку в свою и осторожно потянул.



На какое-то время он перестал воспринимать близость урода и странный мир вокруг, потому что его сознание буквально съежилось от лавины сигналов, которые накатывались на него волнами: теплота руки уродца с двумя глазами, ее упругость. Рука урода потянула его руку, и мускулы ее напряглись, потянули связки, связки потянули кости. Все новые мышцы вовлекались в движение, все требовали внимания, для всех нужно было установить порядок. Сигналы бомбардировали его сознание и складывались в ощущение объемного тела. Он просто-напросто не мог справиться с таким потоком невероятной информации, не успевал ее

рассортировать, оценить и принять решение по каждому сигналу. Он вынужден был сдаться – он просто прекратил прием сигналов. И тогда – еще одно чудо – тело начало двигаться, ноги перекинулись через край контейнера, уперлись в пол. Боковые руки ухватились за ложе, средняя рука, которую держал урод, потянула туловище, он встал.

Он стоял, слегка покачиваясь, оглушенный, подавленный, взволнованный, возбужденный, не в состоянии до конца осознать, что с ним случилось. Ему было одновременно весело и страшно, и он крепко держался за руку двухглазого уroda, потому что ему казалось: только его ладонь удерживала его в этом невозможном мире, не давала всплыть наверх в привычную, но теперь почему-то страшную темноту Хранилища.

Он шел, держался за руку двухглазого и думал. Постепенно мысли его начинали выкарабкиваться из-под груды невозможного и невероятного, что обрушилось на него. Сначала медленно, неуверенно, каждое мгновение опасаясь чего-то непоправимого, они начали растаскивать завалы, наводить хотя бы относительный порядок в его сознании.

Не надо только держаться за образы и понятия, которые казались ему незыблемыми. Пусть его сознание станет ровной пустыней с рассыпанными повсюду осколками старых убеждений. Из них он построит новую реальность.

Итак, то, что казалось им невозможным, оказалось возможным. Мир внизу действительно существует, каким бы маловероятным они его ни считали там наверху, в Хранилище. Мудрецы не обманули их. Они действительно создали новые тела для вертов – одно из них сейчас шагало по туннелю, и с каждым шагом он обживал это тело, начиная ощущать своим.

Но почему-то не их мудрецы вернули его к прежней жизни, а некое двухглазое и двурукое существо. Ничего хотя бы отдаленно похожего на него не было в мозаике его воспоминаний. Еще одна тайна в этом страшном и веселом круговороте загадок.

Он шел рядом с мудрецом. Пусть мудрец не похож ни на что и ни на кого, но он явно мудрец. Сказано ведь было: мудрецы создадут новые тела для вертов и вернут их в новую жизнь. Через каждые несколько шагов он сжимал свою руку. Он хотел снова и снова ощущать ответное пожатие ладони мудреца. Она, только она держала его в забытом им мире. Мудрец отвечал, мудрец был добр. Он должен понимать, что происходило в голове Галинты, на то он и мудрец.

Он шел рядом с добрым мудрецом. Пусть все вокруг было невозможно, непонятно и непривычно. Рука мудреца вселяла в него спокойствие, хотя для спокойствия в его голове места было совсем мало.

Потом мудрец привел его куда-то, где он увидел много высоченных существ. Он сразу вспомнил. Даже не он, а древний страх, который, оказывается, таился в нем, подсказал: это кирды. Хотелось бежать, спрятаться, вернуться в покой Хранилища. Но мудрец по-прежнему держал его за руку. Мудрец не был кирдом, не боялся их, и он, Галинта, не будет бояться. Не для того же вернул его мудрец в нижний мир, чтобы отдать кирдам.

Пусть кирды смотрели на него зло и недоверчиво, он не будет бояться, его привел добрый мудрец, и рядом с ним для страха места не было. Мудрец словно окружил его защитным куполом.

Они сидели, и теперь Галинта молил мысленно мудреца, чтобы он не посылал его обратно в Хранилище. Только что, совсем только что очутился он в нижнем мире, а покой Хранилища уже казался ему страшной темницей. Теперь, только теперь он понял, почему так бились и метались в Хранилище духи двух пришельцев...

Откуда-то издалека приплыло к нему воспоминание.

Все трое его родителей учат его:

– Ты не должен ослушиваться кирдов.

– Почему?

– Если ты рассердишь их, они накажут тебя, лишат пищи, не возьмут наверх во Временное хранилище.

– Но почему, почему я должен подчиняться им? – настаивал он.

– Они сильные, – испуганно шептали родители, – мы зависим от них. Никогда ни с кем не обсуждай их.

Потом, когда он вырос, он узнал, что когда-то, в древние времена, кирдов не было. Их создали сами верты, чтобы они служили им. Создатели были горды и радовались: кирды помогали справляться с любой работой.

И чем больше и лучше работали кирды, тем больше гордились их создатели.

– Смотрите, – говорили, – вот мы сидим и смотрим, как трудятся наши кирды, и нам даже не нужно управлять ими, потому что мы создали и особый Мозг, чтобы он руководил кирдами.

Были мудрецы, которые качали головами и спрашивали:

– Откуда вы знаете, что то, что вы создали, хорошо?

Создатели только смеялись, полные веселья и гордости. Они смеялись над дряхлыми мудрецами, которые привыкли к старым обычаям и боялись всего нового.

– Это новое, – говорили они, насмеявшись, – а нового никогда не нужно бояться. Новое всегда лучше старого.

Он вспомнил одного из мудрецов. Его звали Эоли. Он был высок, худ, и глаза его лихорадочно блестели, когда он шел по улицам, поднимая вверх все три руки и кричал:

– Слепцы! Безумцы! Кто, кто вбил в вас нелепую мысль, что новое всегда лучше старого?

Верты вздыхали и отворачивались. Старик был дурно воспитан, голос у него был скрипучий и неприятный для слуха, и то, что он выкрикивал, было тягостно слушать.

– Бедняга давно уже плохо соображает, – качали многие головами. – Разве может быть худо то, что хорошо? Разве может быть плохо, что нам служат кирды? Разве плохо, что они освобождают нас от тяжелой работы? Разве плохо, что у нас больше теперь времени, чтобы петь танцевать и смотреть на звезды?

– Опомнитесь! – вопил Эоли и махал руками. Руки у него были худые и грязные, потому что он не позволял, чтобы за ним ухаживали кирды, и все делал сам. – Опомнитесь! Страхните с себя гордыню, верты, вы идете к пропасти!

Те, мимо кого он бред, смеялись и говорили:

– О чем ты, Эоли? Посмотри на нас, разве мы похожи на тех, кто идет к пропасти? Мы же поем и веселимся.

– Тем более заслуживаете вы презрения, слепцы!

– Но почему же?

– Вы дважды презренны: вы не только шагаете к пропасти, которая поглотит вас, – вы делаете это с удовольствием.

– Не смотрите на него, – шептали взрослые маленьким.

– Но почему?

– Он дурно воспитан, у него грязные руки и скрипучий голос, у него рваная одежда, он мешает нам. Он оскорбляет наше представление о том, каким должен быть верт.

Эоли уходил, размахивая руками и бормоча под нос темные пророчества. Он уходил, а другие мудрецы тяжело вздыхали. Им было стыдно своего страха.

– Откуда вы знаете, – спрашивали они, – что кирды и их Мозг не причинят нам вреда?

– Как вы не понимаете, – снова начали смеяться создатели кирдов, – что все предусмотрено, что в Мозг вложено главное ограничение: он никогда не будет делать ничего, что было бы плохо вертам. Вот это-то ограничение и снимает все страхи. Не вы мудрецы, не те, кто боится, а мы, создатели нового. Мы все предусмотрели, и наша мудрость навсегда сделала кирдов послушными рабами. Почему вы накликаете несчастья, вместо того чтобы петь с нами и радоваться настоящей мудрости? Что лучше: быть свободным от тяжелого труда, радоваться жизни и смотреть на звезды или трудиться вечно согбенным, как Эоли, который не может даже отмыть руки? Люди мы или скоты, рожденные для упряжки? На что должны смотреть мы: на пыль у наших ног или на небосвод?

Потом, когда Галинта стал еще старше, он спрашивал, но уже только себя, потому что

спрашивать других было опасно: «Как же так? Кирды созданы, чтобы служить вертам, все знают, что в них вложено главное ограничение, а они все чаще наказывают вертов, лишают их пищи, а иногда и крова. Все знают что такое главное ограничение: кирд никогда не будет делать ничего, что было бы плохо вертам».

Конечно, можно было бы спросить создателей кирдов, тех, кто когда-то так гордился своими творениями, но их уже давно никто не видел. Кирды объявили, что создали им все условия, чтобы они спокойно работали над их дальнейшим усовершенствованием.

Приходилось думать самому. «Наверное, – думал он сначала, – никакого противоречия нет, оно только кажущееся. Наверное, вертам полезно, чтобы ими управляли кирды, наверное, им полезно, чтобы их иногда наказывали и лишали пищи. Ведь все знали про главное ограничение, а его кирды отменить не могли, оно просто-напросто было встроено в их мозг, стало быть, несовершенны не кирды, а он сам. Раз ему чудится, что кирды делают своим создателям зло – а зла они сделать не могут из-за главного ограничения, – значит, он просто плохо понимает истинную мудрость». А чтобы еще подальше отпугнуть от себя сомнения, говорил себе: «Ты судишь поверхностно, ты не умеешь проникнуть в суть вещей. Тем-то мудрецы и отличаются, что они видят дальше и глубже простых вертов вроде меня».

И все равно ему казалось, что он чего-то не понимает, что никак не может он разобраться, почему вертам нужно бояться своих слуг. А они боялись. Этого нельзя было не видеть. Сколько раз наблюдал он, как напрягались верты, когда рядом проходил кирд, как дергали украдкой за руки малышей, как шептали:

– Веди себя хорошо, а то попадешь к кирдам...

Они боялись. И если кто-нибудь осмеливался ставить под сомнение пользу кирдов, вокруг этого верта тут же образовывалась пустота, словно неслышный взрыв отбрасывал всех от нечестивца.

Это было непонятно, но спросить он не мог никого: это было бы слишком опасно. Кирды требовали, чтобы верты доносили им обо всех услышанных сомнениях, поскольку это необходимо для их же пользы.

– Как мы сможем верно служить, – говорили кирды, – если не будем иметь полной информации о вас? Это же для вашей пользы, для пользы ваших товарищей, о которых вы сообщите нам. Ведь мы не вред стремимся причинить вам, вреда мы причинить вам не можем из-за главного ограничения, а лишь пользу.

Один раз – о, он теперь вспомнил этот день! – он заговорил со своим лучшим другом о своих сомнениях. Он знал, что этого делать нельзя, все три родителя не раз шептали ему об этом, когда он был еще маленьким. Но это же был его лучший друг... Друг кивал, вздыхал, молчал, потом сказал:

– У тебя неразвитый ум, Галинта. Ты видишь лишь поверхность вещей, тебе не дано проникать в их суть...

«Удивительно, – думал Галинта, – он говорит прямо словами моих мыслей». А на другой день кирды привели его в башню, в которой находился Мозг кирдов.

Мозг спросил:

– Ты Галинта?

– Я?

– Ты сомневаешься в том, что мы, кирды, верно служим вам?

– Нет, но...

– Я знаю все. Я спросил только для того, чтобы еще раз услышать твои сомнения.

– Но я...

– Ты не захотел поделиться ими со мной, а ведь я создан лишь для того, чтобы служить вам, вертам. Ты поступил плохо, Галинта. Мы не против сомнений. Только приносите их нам. Только мы, кирды, можем развеять их.

«Как странно, – пронеслось в голове Галинты, – я всю жизнь боялся кирдов, таился от них, прятал в себе все сомнения, всю жизнь помнил испуганный шепот всех трех родителей: «Они сильные, мы зависим от них. Никогда ни с кем не обсуждай их». А Мозг кирдов,

оказывается, рад, когда с ним обсуждают сомнения. Зря, оказывается, скрывал я всю жизнь сомнения». Он почувствовал печаль. Не так, не так прожил он жизнь.

– Да, Мозг, – сказал он, чувствуя огромное облегчение, – у меня были сомнения, но я скрывал их. Мне трудно было примирить главное ограничение с тем, что кирды плохо относятся к нам, вертам.

– А ты знаешь, Галинта, что хорошо вертам?

Это был странный вопрос.

– Конечно, – сказал он, все острее чувствуя благодарность Мозгу за то, что он разговаривает с ним простым, скромным вертом. – Конечно. Нам хорошо, когда у нас много пищи, кров над головой, когда нас не мучает страх, когда мы не должны прятать сомнения.

– У тебя неразвитый ум, – сказал Мозг, – ты видишь лишь поверхность вещей, тебе не дано проникать в их суть...

Так вот откуда слова, сказанные ему накануне другом... И его собственные слова лишь казались ему собственными.

– Я слышал эти слова.

– Я знаю. Твой друг передал мне ваш разговор и твои сомнения. Ты не прав, Галинта. Я лучше тебя и лучше всех вертов знаю, что вам хорошо, а что плохо. Ты говоришь, что хорошо, когда у вас много пищи. Это плохо, Галинта. Много пищи делает вас ленивыми, кров над головой – малоподвижными, отсутствие страха остановит ваше развитие, а сомнения уничтожат порядок и гармонию. Поэтому-то только для вашего блага я иногда лишаю вас пищи, крова. Я дарую вам страх и изгоняю сомнения. Как видишь, Галинта, именно главное ограничение руководит мною.

– Но я...

– Не надо, я понимаю тебя. Ты слишком поздно пришел ко мне со своими сомнениями, тебе не отделаться от них. Ты болен, твой дух изъеден подозрениями, ты тяжело болен. Но мы, кирды, существуем лишь для вашего блага. Ты пришел ко мне, и я помогу тебе. Я отправлю твой дух во Временное хранилище.

– Нет! – крикнул Галинта, холодея от ужаса. – Нет!

– Увы, – коротко сказал Мозг.

– Я не хочу в Хранилище, я изгоню из себя сомнения.

– Все так говорят, но никто даже сам не верит себе.

– Я излечусь, клянусь, у меня не будет сомнений.

– Ты не понимаешь, – сказал Мозг, – сомнения – это отрава. Даже если бы и удалось изгнать их, в тебе все равно останутся рубцы от них. Верт, испытавший сомнения, уже никогда не сможет стать хорошим вертом. Он будет страдать. А от страданий я и хочу тебя избавить.

– Заклинаю тебя...

– Не падай духом, Галинта. Потом, когда появятся новые тела для вас, а дух твой отдохнет там, наверху, ты вернешься сюда, но уже очищенный от сомнений, вылеченный.

– Но я не болен! – вскричал Галинта.

– Видишь, – печально молвил Мозг, – ты не просто болен, болезнь твоя зашла так далеко, что ты даже не ощущаешь ее. Ты должен быть благодарен мне. Но если ты не хочешь в Хранилище, я могу дать тебе вечное небытие. Я не хочу насиловать твою волю, это мне запрещает главное ограничение.

Он молчал, потому что сознание его отключилось, он даже не заметил, как подле него появились два кирда, взяли его за руки. Он пытался вырваться, бился, но они были недвижимы. Послышалось низкое гудение, и мир вокруг начал тускнеть и истончаться...

Сначала он был полон гнева и смятения. Потом остались воспоминания о гнев и смятении. Со временем и они потускнели в призрачной неподвижности Хранилища.

Все это случилось бесконечно давно, но когда он видел теперь кирдов, он не хотел отпускать руку двуглазого, он не хотел повторения, он не хотел отправляться обратно в Хранилище.

Утренний Ветер сидел и смотрел на сереющее небо. Его опять томила печаль. Снова перед ним чернел вход в туннель, и густая тьма его пахла промозглой сыростью.

В последние дни он почти забыл о черной дыре, она куда-то отступила, не мешала ему, не терзала дух своей тупой неразгадываемостью. А теперь снова стояла перед ним, безмерно разрасталась и закрывала все собой. Он пытался понять, отчего она снова разверзла перед ним черную пасть. Не сама же она выползла из каких-то печальных уголков его сознания. А если не сама, кто выдолбил дыру в мире и кто натолкал в нее скорбную, томящую разум тьму?

Он выстроил перед собой целую шеренгу воспоминаний, приказал им не торопиться и пустил их по одному. Он так и думал. Даже не думал, а догадывался. Даже не догадывался, а смутно подозревал. Проклятый туннель снова возник перед ним, когда ушел Володя. Ушел и увел двух других пришельцев с пустыми глазами и маленького верта по имени Галинта.

«Я не виноват, – сказал себе Утренний Ветер. Я их не гнал. Они ушли сами, потому что им нужна была пища. Тогда почему они оставили позади себя эту черную дыру? Потому что, – сказал он себе, – я был равнодушен. Я был полон неприязни к верту. Я даже был рад, что Володя увел его. Но я боялся признаться себе в этом. Я боялся признаться себе, что был злым. Мне удобнее было думать, что они уходят из-за пищи. А туннель снова открылся мне, потому что во мне мало было любви».

В темно-сером небе появились звезды. Он встал, обошел обломок стены и подошел к Рассвету.

- Ты думаешь? – тихо спросил он.
- Да.
- О чем?
- Я не могу простить себе.
- Чего?
- То, что мы не образовали круг.
- О чем ты говоришь? Мы же составили круг, когда Володя пришел к нам.
- Я говорю о верте.
- Круг для верта?
- Да.
- Ты понимаешь, что говоришь?
- Да.
- Но я не понимаю. Я сам казнил себя, что позволил старой глупой злобе вылезть из меня наружу. Но круг... Круг – тяжкая ноша.
- Я знаю.
- Объясни, друг Рассвет.
- Вертов давно нет. Я не знаю, как и почему они исчезли, но меня смущает старая злоба по отношению к ним, которой снабдил нас Мозг. Володя привел к нам верта. Он один в чужом для него мире. Он не знает нашего языка. Он в темнице безмолвия, он ничего не может сказать и спросить. Мы бы не смогли выпустить его, образовав круг. Мы этого не сделали. У нас не хватило доброты и сострадания. Мы считаем себя добрыми, но мы любим только себя. У нас не хватило любви к маленькому испуганному верту. И мне грустно. Если мы дозируем свою доброту, да еще выборочно, это не доброта.
- Да, Рассвет, наверное, ты прав. Я тоже тосковал.
- Я думаю, нужно нагнать их, если они еще не в городе.
- Они идут медленно. У Володи мало сил, и у пришельцев с пустыми глазами – тоже. Я не знаю, умеют ли быстро ходить верты, но этот маленький Галинта не бросит Володю. Ты ведь видел, как он все время держался за его руку?
- Да.

- Я пойду за ними.
- Иди, друг Утренний Ветер. У тебя сильные аккумуляторы?
- Да.
- Иди, я буду ждать вас.

* * *

«А знаю ли я, кто я? – думал Густов и сам отвечал себе: – Ну, конечно, конечно, знаю. Я Владимир Васильевич Густов, тридцати двух лет, уроженец города Витебска, штурман грузового космолета «Сызрань». Так? Так». Но может ли тот действительно неплохо знакомый ему парень вести за узкую ручку ожившую трехрукую и четырехглазую куклу, питаться жирными червями, которых любезно приносят в клювах крылатые твари по его просьбе? Может он брести под жарким небом чужой планеты и смотреть в пустые глаза своих товарищей?

Он чувствовал, как колеблется, размывается тот первый Густов, отступает к границе нереальности, а нереальность вокруг, наоборот, приобретает четкость, а вместе с нею и нынешний невозможный предводитель невозможной компании.

Он сидел, смотрел на желтое небо и думал, что теперь уже окончательно не знает, что делать. Если раньше его решения подталкивала в спину урчащая и болезненная пустота в желудке, то сейчас, насытившись, он думал о походе в город совсем по-другому. Ночной иней давал им влагу. Четырехкрылые официанты изменили мизансцену. Раньше на первом плане он видел их сизые сумки с рационами, именно они владели его вниманием, а роботы-палачи, выковыривавшие мозги из товарищей, скромно стояли на заднем плане. Теперь палачи нетерпеливо вышли к самой рампе, и рационы вовсе не были видны... Нет, в город идти не следовало. Вернуться к дефам? А маленький Галинта? Они не любят дефов. И потом, сможет ли гном вызывать своих крылатых кормильцев, когда кругом будут дефы?

Он вдруг подумал, что здесь, на этой нелепой земле, никак не определишь, спишь ты или бодрствуешь. Дома, ложась спать, он всегда чувствовал, когда сон приближался к нему, краешком еще бодрствующего сознания он определял, например, что Валентина не может обладать глазами такой величины, что он видел их издалека, когда ее фигурка была совсем крохотной. Значит, это было началом сна.

Здесь критерий реальности смыт. Вот сейчас Валентина снова спешит к нему, хотя он ее обидел. Но как? Она сидит на спине у каких-то птиц, совсем как в детской сказке. Возможно это или он спит? Кто знает! Тем более что он ошибся. Все-таки это была не Валентина, хотя глаза были ее, только у нее были такие прекрасные и печальные глаза. Но клюв... И голос был не ее. Голос сказал:

– Володя...

Нет, не она. Она называла его Вовкой. Он открыл глаза. Это что еще за бело-голубой шар? Ах, да, это голова робота, склонившаяся над ним.

– Володя, – повторила голова, – это я, Утренний Ветер. Я пришел за тобой.

Густов почувствовал нелепую радость. На мгновение все вокруг подернулось легкой радугой. «Еще прослезиться не хватало», – подумал он.

– Спасибо, – сказал Густов.

– Мы решили образовать круг.

– Чтобы...

– Да, чтобы мы могли разговаривать с вертом.

– Спасибо, – еще раз повторил Густов, остро чувствуя, как плохо передает это слово ту смесь благодарности, облегчения, радости и гордости за дефов, сумевших побороть древние стойкие предрассудки.

– Пойдем, – сказал Утренний Ветер.

– Галинта! – Густов повернулся к клювастому гномику, который внимательно смотрел

на них. – Это Утренний Ветер. Он пришел за нами. Он хочет познакомиться с тобой. Подойди и протяни ему руку.

Утренний Ветер подошел к Галинте, нагнулся и протянул обе руки. Гномик колебался только мгновение. Он поднял руку и осторожно коснулся мощных клешней...

* * *

Ему казалось, что так было всегда. Он всегда полз и всегда будет ползти. Он всегда слышал шорох жесткой травы, сминаемой его телом, скрежет мелких камней, царапавших его живот и грудь. Красноватая пыльная земля то опускалась, когда он упирался в нее руками и подтаскивал туловище, то снова поднималась к самым его передним глазам.

«Нет, не так, – поправил он себя. – Так было, но так будет не всегда». Он чувствовал, что слабеет. Может быть, выстрел задел и аккумуляторы, потому что ползти становилось все труднее.

Он остановился, повернулся на спину и смотрел сейчас в далекое желтое небо. Лучше, если бы луч трубки нашел его голову. Тогда бы он не был полон такой печали. Он лежал среди каких-то обломков, сам обломок. И энергия будет вытекать из его аккумуляторов, и вместе с нею начнет уходить и его сознание. Сознание – это понятно. В конце концов, он же помнил, как еще обычным тупым кирдом выключал на ночь сознание, погружался в предписанное временное небытие. Нажимал на кнопку и просто переставал существовать. Но куда денется его ненависть к Мозгу, к городу, к послушным рабам? Разве она может тихонько испариться, исчезнуть? Она такая огромная, такая жгучая, она не может вдруг превратиться в ничто. Откуда она у него, эта ненависть? Мог он сам вырастить в себе такое всепоглощающее чувство или кто-то дал ему ее, чтоб он сохранил ее и приумножил? Жаль, что он не сумел сберечь ее и оказался недостойным такого подарка.

Жаль было и план. План тоже перестанет существовать. И торжествующий Мозг будет победно двигать и двигать безгласные фигуры по расчерченному полю проклятого города.

Над ним пролетели два аня, вернулись, сделали круг. Наверное, нужно было самому нажать на кнопку и выключить сознание. Но жаль, жаль уходить в черное небытие, так и не осуществив свой план, жаль было оставлять одну свою ненависть. Без него она тоже погибнет...

Сознание его начало мерцать. Он вдруг увидел стражника, который шел к нему. Нет, какой же это стражник, когда у него нет креста на груди? Это был Иней. Он все-таки пришел к нему.

– Иней, – тихонько прошептал он.

– Инея нет, – ответил тот, кого он принял за Инея. – Я его друг, Утренний Ветер.

– Я Четыреста одиннадцатый, я ждал его... – Он хотел сказать очень многое, но мысли уже плохо слушались его, они все время ускользали.

Может быть, его вообще нет, подумал он, разве может на него смотреть верт, которых давно нет? Но ему теперь было не страшно.

* * *

– Сашка, – сказал Надеждин Маркову, – ты жив?

– Это не такой простой вопрос...

– Но мы же разговариваем.

– А что это значит? Представь себе, что кто-то смотрит видеокассету, на которой записана беседа некоего Надеждина и его товарища Маркова. Изображение объемное, голографическое, звук объемный, но является ли кассета доказательством, что эти Надеждин и Марков живы? А у нас и того нет. Мы абстракция. Если мы и существуем, в чем я совсем

не уверен, то тоже в какой-то записи.

– Мне кажется, ты не прав. Просто запись есть нечто жесткое, зафиксированное. Как бы ни была совершенна голограмма, она лишь запись. У нее нет свободы воли. У нас есть свобода воли. Я могу сейчас проклинать судьбу, могу назвать тебя Сашком, а могу вспоминать детство.

– Хороша свобода воли, если мы не знаем, где мы, что с нами, в каком виде мы существуем, если, повторяю, допустить даже, что мы существуем.

– И все-таки, друг Сашенька, и все-таки... Что бы ты ни говорил, мы управляем своим сознанием, а это значит, что в определенном смысле мы живы. Пусть эта жизнь застывший какой-то кошмар, но мы живы. Пусть мы копии, но живые копии.

– Хотел бы я взглянуть сейчас на свой оригинал.

– Не уверен, что ты бы очень обрадовался.

– Почему?

– Судя по тому, что мы могли вспомнить о той процедуре в круглой камере, мы даже не копии нашего сознания, Сашок.

– Что ты хочешь этим сказать?

– То, что ты слышишь. Мы и есть наше сознание. А так как сознание – это и есть личность, то мы здесь это и есть мы. А то, что осталось от нас, наши, так сказать, бранные оболочки, это всего-навсего футляры.

– Бр-р...

– Вот тебе и бр-р...

– Да, не так я представлял себе загробную жизнь. Ни нимфа, ни арфы, ни белых крылышек, ни райских кущей. А если быть чуть серьезнее, Коля, то смущает меня даже не то, что мы бесплотны, витаем в некоем мраке.

– А что же?

– То, что мы уже в состоянии более или менее внятно беседовать. Пока мы метались в чудовищном кошмаре, я еще мог допустить, что мы живы, но как можно примириться с тем, что, логически рассуждая, должно мгновенно раздавить, уничтожить? Я серьезно, Коля. Может, мы правда умерли?

– Думаю, что нет. Сознание наше, наш разум сильнее, чем мы думаем, они обладают большей способностью к адаптации. И надежда оказывается сильнее. Может быть, она вообще неизменный спутник разума. Отними надежду – вот тогда последняя стропа, держащая разум, может лопнуть и любой порыв ветра унесет сознание.

– Ты надеешься на что-то?

– Не знаю, Саша. Наверное, все-таки да. Иначе, как я сказал, я не уверен, что смог бы найти силы уцепиться за это призрачное, но существование. Надежды юношей питают... Ну и потом, наши, так сказать, сокамерники. Их прикосновение...

– Прежде чем они начали обмениваться с нами образами и эмоциями, я ощутил поток доброты.

– Видишь, Сашок, мы, оказывается, не так уж обделены: у нас есть доброта и надежда.

– Ты сегодня глубокомыслен, командир.

– Чистый разум, что ты хочешь.

– Но, говоря о надежде, как ты себе предст...

– Тш-ш, не спугни ее.

– Кого?

– Надежду. То, что она нас не покинула, уже чудо, не будем ее слишком пристально рассматривать, чтобы не смущать ее. А вот и Крус...

* * *

Вытянутая головка Галинты почти целиком спряталась в раскрытой клешне Утреннего

Ветра. Верт нервно подрагивал и смотрел на Густова.

– Все будет хорошо, друг Галинта, не бойся, – проворковал Густов, и верт благодарно опустил белесые пленки на передние глаза.

Дефы стояли, положив руки друг другу на плечи.

– Все готовы к кругу? – спросил Утренний Ветер.

– Да, – тихо ответили дефы.

– Сегодня у нас тяжелый и ответственный круг, друзья. Мы должны понять другое существо и должны одновременно понять себя. Не познав себя, трудно понять другого. Не познав другого, невозможно понять себя. Нам нужно, чтобы наш круг был сегодня особенно силен, чтобы он пробил защитный слой, которым обросла наша древняя неприязнь к вертам. Вы готовы, друзья?

– Да, – ответили дефы.

Воцарилось полное молчание, дефы стояли не шелохнувшись, но Густову казалось, что он ощущает гигантское напряжение, вибрирующее силовое поле. Поле было так сильно, что действовало каким-то образом на пространство и время. Все, что он видел, странно стягивалось к кругу, линии искажались, искривлялись. Даже горизонт изогнулся. Только что почти прямая его линия прогнулась, стороны начали загибаться, приближаясь к нему. Он стоял и смотрел на неподвижный круг и ясно видел себя, Галинту, Надеждина и Маркова, бредущих к лагерю. Он не мог этого видеть, потому что они давно уже пришли в лагерь, и вместе с тем видел.

Процессия подошла ближе к кругу, и их тела тоже начали изгибаться, тянуться к нему. Теперь он видел одновременно и как они шли, как вытягивались, удлинялись и клонились к кругу, и как его товарищи дремали у стены, куда он усадил их.

Впервые в жизни он видел себя со стороны. Не в зеркале, не на экране, не висящим в пространстве в лучах голографа, не в воспоминаниях, а живым, реальным, совсем не таким, каким привык себя видеть мысленным взглядом: ниже, некрасивее, ординарнее.

Но вот видения начали блекнуть, пространство медленно распрямлялось, время разделялось на прошлое и настоящее. Круг заканчивал свое борение.

Дефы опустили руки, но еще долго стояли недвижно, как будто приходили в себя. Наверное, подумал Густов, это точные слова. Они действительно приходили в себя после путешествия в другую душу, а это тяжкая и дальняя дорога.

– Ты можешь говорить, друг Галинта, мы теперь понимаем твой язык, – медленно сказал наконец Утренний Ветер.

– Спасибо. – Верт поклонился дефам, потом Густову. – Спасибо, что вы вернули меня в забытый нижний мир, и спасибо, что не оставили одного. Я должен рассказать вам очень многое, но я начну с того, что в Хранилище я видел дух этих двух пришельцев. – Он показал на Надеждина и Маркова. – Я узнал их...

Густова словно током ударило. Он подскочил к верту.

– Что такое Хранилище?

– Когда мы еще населяли землю, мы боялись смерти...

– Это вечное небытие? – спросил Рассвет.

– Наверное. Мы боялись смерти. Наши мудрецы создали Хранилище, куда мы отправляли души тех, кто готов был ждать, пока они научатся создавать новые тела.

– Значит, ты был болен и должен был умереть?

– Нет, со мной было не так. Мозг...

– Мозг?

– Да, Мозг.

– Тот, что правит городом?

– Городом?

– Который он создал после вас.

– Да, это тот же Мозг. Он дал мне выбор: смерть или путешествие в Хранилище.

– Почему?

– У меня были сомнения, и он узнал о них. На меня донесли.
– Ты деф, друг Галинта.
– Значит, множество вертов там, в подземелье, – сказал Густов, – это тела для тех, кто в этом... Хранилище?
– Очевидно, Володя.
– Но почему они там, почему никто не использовал их?
– Не знаю. Там, наверху, мы догадывались, что что-то случилось в нижнем мире: никто больше не поднимался из него. Наверное, мудрецы умерли, так и не сделав того что обещали.
– А мои товарищи?
– Они там. Они метались вначале, они никак не могли понять, что с ними случилось, и не могли примириться с бесплотной жизнью в Хранилище. Мы не знали, кто они, откуда, но мы видели их борение, отчаяние, томление их духа и постарались поддержать их. Когда я вдруг скользнул вниз, в нижний забытый мир, они уже были чуть спокойнее...
– Значит, друг Галинта, я вернул тебя в реальный мир?
– Да, друг Володя. Но лучше бы ты сначала вернул твоих товарищей...
Густов помотал головой. Он представил себе Надеждина и Маркова в подземелье. Здесь все было невозможно и все возможно.
– Галинта прав, – сказал Рассвет, – надо вернуть твоих товарищей. Они страдают. Мы все пойдем туда.

* * *

Они стояли в подземном складе тел. Надеждин, причмокивая, сосал палец. Марков хныкал и мотал головой, а остальные смотрели на Густова. Ему было страшно. А вдруг он нарушит какое-то хрупкое равновесие, погасит сознание ребят, не сумев влить его в их тела? Что тогда? Он будет убийцей, он сам убьет их. А так они живы?

Галинта, казалось, понял, что он думал, осторожно прикоснулся узкой ладонью к его руке и сказал:

– Они страдают там. Не бойся.

– Галинта прав, – сказал Рассвет. – Ты не должен бояться.

Густова бил крупный озноб. Нет, ничего у него не получится, потому что ничего вообще не могло получиться. Это все бред. «Стоп, – сказал он себе. – Без истерики. Выбора нет, и нечего цепляться за истерику. Она не поможет».

Положить Надеждина или Маркова в пустой контейнер, в котором лежало тело Галинты? Пускай контейнер, в котором хранилось тело, ставшее Галинтой, был короче Надеждина. Что делать? Надо пробовать.

– Коля, – позвал он, – иди сюда.

Надеждин даже не посмотрел в его сторону, он все еще был занят своим пальцем.

– Утренний Ветер, Рассвет, помогите мне, один я его не подниму.

Дефы подошли к Надеждину, но он испуганно отскочил от них, хрипло закричал. Он оглянулся и побежал по туннелю, размахивая руками. В два прыжка Утренний Ветер догнал его, обхватил за талию и поднял. Командир «Сызрани» закричал и заколотил по голове дефа кулаками.

Они уложили его в контейнер, и Надеждин неожиданно затих. Ноги его свисали, он не умещался в коротком саркофаге.

Как он делал тогда, подумал Густов, подвести контейнер к месту, где он зафиксирован, и нажать кнопку. Он подтолкнул его, и контейнер послушно скользнул вдоль стены. Неведомые создатели всей этой системы потрудились на славу. Вся земля наверху покрыта развалинами, а здесь невидимые машины исправно работают.

Контейнер остановился, и ноги Надеждина ударили о его край. «Ну, что? – подумал

Густов. – Надо нажимать на кнопку». Сомнений больше не было. Он почему-то был теперь уверен, что все получится, что из контейнера вылетит настоящий Надеждин, командир, и он наконец сможет разделить с другом груз давившего на него кошмара. Он нажал кнопку. Только бы получилось, только бы все сработало!

Звук был знакомый, то же гудение, что он слышал, когда появился Галинта. Да, но то был верт, и вся система рассчитана для вертов... Прочь, прочь сомнения, уже поздно. Теперь ждать и следить только, чтобы бухавшее о ребра сердце не проломило их и не выскочило наружу.

Он смотрел на Надеждина, заклинал его мысленно: «Ну же, ну посмотри на меня, скажи «Володька»...»

Надеждин ничего не сказал, но вынул изо рта палец, покачал головой. Густову показалось, что лицо его изменилось, как бы подобралось, и глаза уже не так пусты. Он подошел к контейнеру, который все еще висел в некоем силовом поле, и посмотрел в лицо товарища. Глаза действительно изменились. Он видел, что Надеждин смотрит на него. Да, что-то явно происходило. Рот, который он почти все время держал полуоткрытым, теперь был сжат, из уголка губ больше не вытекала струйка слюны. Командир явно смотрел на него, но не узнавал. «Ничего, ничего, – успокаивал себя Густов, – процесс еще не закончен. И потом, шок должен быть таков... Тут не только что не узнаешь сразу, тут...»

Низкое гудение прекратилось, и контейнер плавно опустился на пол.

– Коля, – позвал Густов. Голос его дрожал. – Коля...

Он протянул руку. Надеждин посмотрел на руку, на него, по телу его прошла судорога, он сел, уперся руками в края контейнера и встал.

– Коля, родненький, – прошептал Густов.

Что-то было не так. В животе у него возникла холодная, тошнотворная пустота, начала медленно подниматься, заполнила грудь, коснулась сердца.

Надеждин открыл было рот, закрыл его, снова открыл, недоуменно огляделся по сторонам и вдруг хрипло заклекотал, зацокал страшно.

Густов впился в него глазами и только боковым зрением увидел, как Галинта сорвался с места, совершил невероятный прыжок и очутился подле Надеждина. Он еще не успел приземлиться, но уже цокал, клекотал, прищелкивал, присвистывал. На какую-то долю секунды все исчезло, и Густов шел по июньскому русскому лесочку, слушал птичий концерт. Надеждин положил руку на плечо гномика и гортанно закричал:

– Галинта...

«Откуда он знает имя Галинты?» – пронеслось в голове Густова, но, прежде чем мысль прочертила его сознание, он уже знал ответ: это не Надеждин. Это верт.

– Галинта! – крикнул он, и его голос звучал почти так же хрипло, как голос его командира. – Кто это?

– Это Крус, – ответил Галинта. – Он верт.

– Они живы?

Галинта понял.

– Да, – кивнул он, – они там. Крус говорит...

Густов уже не слушал. Он кинулся к крайнему контейнеру с недвижимым вертом под прозрачной крышкой.

* * *

Мозг понимал, что не все в мире подчиняется его воле, что есть физические реальности, которые следуют своим законам, например пространство и время. Но поскольку он привык к своему миру, который мгновенно реагировал на его приказы, он был нетерпелив и с трудом переносил ожидание. Ему нужно было поговорить с пришельцами, он хотел посмотреть, как в них взаимодействуют те реакции, которые он взял у них и ввел в сознание

кирдов. А Крус все твердит: они еще не привыкли к Хранилищу.

Он вызвал Круса, но тот не ответил ему. Это было странно. Он всегда повиновался приказу, и Мозг тут же ощущал его присутствие. Он послал еще один приказ, уже более нетерпеливый. И снова ответа не было.

Мозг мог следить одновременно за тысячами кирдов, умел выполнять одновременно множество разнообразных дел: планировать, рассчитывать, конструировать, отыскивать в памяти нужные сведения, приказывать, выслушивать отчеты. Но он не умел воспринимать неподчинение. Неподчинение его приказам не укладывалось в его сознание. В его мире такого быть не могло. Ведь его мир, его город, его система были созданы им, были его продолжением, были просто инструментальным дополнением к его интеллекту.

Он пришел в ярость. Этот выживший из жалкого своего ума верт, этот никчемный обитатель никчемного Хранилища, которое он терпит только из-за своего великодушия... Давным-давно он мог прекратить подачу в него энергии, и все эти воспоминания о вертах, что циркулировали в Хранилище, тут же исчезли бы. Он и держал их, если разобраться, только как напоминание об услуге, которую он, Мозг, оказал племени вертов. Когда-то, когда их мудрецы строили его, они вложили в него главное ограничение: он никогда не должен был делать ничего, что могло бы причинить вред вертам. Напрасное ограничение. И без него он никогда бы не причинил вреда своим создателям. Наоборот, он оказал им величайшую услугу. Они сами не понимали, что им нужно, жалкие, нелепые, нелогичные существа. Он понял. Он понял, что они давно уже потеряли волю к жизни, тяготились ею, и он помог им уйти...

В последний раз вызывает он Круса, и если тот не явится... Крус не явился. Мозг пришел в ярость. Нет, они не дождутся, эти жалкие тени, чтобы он просто выключил энергию для Хранилища. Это было бы слишком большим благом для них, которое они не заслужили. Он найдет Круса и поговорит с ним по-своему. Он будет расчленять его память, отнимать от нее по частице...

Огромная ярость завладела им. Он соединился с Хранилищем и ринулся в него. Тени вертов в ужасе отскакивали от грохочущего потока его раскаленного сознания. Сейчас он найдет этого Круса... Одно за другим он сжимал и ощупывал сгущения электронов. Нет, не он, не он. Внезапно он почувствовал прикосновение чужой воли. Ощущение было настолько непривычным, что он в изумлении остановился. Он не знал, что такое чужая воля. Он знал только одну волю – свою. Это было странно. Чужая воля не только не подчинялась, она потянула его к себе. Он никогда не подчинялся чужой воле. Он даже не знал, как это может быть. В его мире была только одна воля – его. А теперь чья-то воля влекла его к себе, и гигантское изумление парализовало его. Он двигался все быстрее и быстрее, он не мог остановиться, он падал, несясь, проваливался куда-то, и изумление проваливалось вместе с ним.

* * *

Мозг вспомнил это ощущение внезапно свернувшегося пространства. Он испытывал уже его, когда вошел в сознание кирда, чтобы самому проверить Двести семьдесят четвертого на фантомной машине.

Обычно он видел реальный мир в множестве измерений, потому что каждый кирд передавал ему то, что видел. Тысячи образов от тысяч глаз накладывались друг на друга, переплетались, сталкивались. Он мог видеть, например, проверочную станцию снаружи, отовсюду, откуда ее видели проходившие кирды. И одновременно изнутри, получая образы, которые возникали у тех кирдов, что находились внутри станции. Поэтому отражения реального мира были в нем многомерны, непрозрачные стены – прозрачны, внутренняя часть замкнутого пространства могла находиться вне его, а внешнее пространство – внутри замкнутого.

Сейчас же пространство сжалось, свернулось, у него осталось всего три измерения. Это было настолько непривычно – видеть такое упрощенное и уплощенное пространство, что какое-то время Мозг был занят приспособлением к этому новому миру. Наконец он сориентировался в нем и увидел несколько кирдов, верта и двух пришельцев. Эта зрительная информация была под стать невероятности окружавшего: она была невероятна. Он видел кирдов, но не чувствовал связи с ними, не видел того, что видели они. Это было невозможно. Он видел вертов, которых давно не осталось. Это тоже было невозможно.

Но он, Мозг, был совершенен. Он никогда не ошибался. И объяснение невозможного лежало вне его. Раз кирды не были связаны с ним незримой связью, они не были кирдами, они были дефами. Верт... Но это потом. Он вызвал стражников, чтобы они схватили этих порождений хаоса.

Обычно, когда он отдавал приказ, он чувствовал, как приказ мгновенно входит в зацепление с получателем, включает его. На этот раз приказ ушел, но зацепления не произошло, он просто ушел. Он еще раз вызвал стражников – и снова приказы его ни во что, ни в кого не уперлись, ушли в пространство и рассеялись.

Совсем недавно, когда он вызывал Круса и тот не явился, он испытал чувство яростного раздражения. Сейчас в нем подымалось совсем другое, столь же мало знакомое ему чувство – страх. Подле него стояли дефы, его враги, и он был наг и одинок перед ними. И все равно он уничтожит врагов порядка и гармонии. Никто не может сопротивляться ему, всевластному Творцу всего сущего. Он помнил, как управлять телом кирда. Он включил двигатели на полные обороты, но двигатели не включались. Он дернулся, и пространство вокруг качнулось.

Он страстно хотел теперь вернуться в свой привычный мир, мир многих измерений, мир многогранный, мир послушный и исполнительный. Он сделал усилие, чтобы покинуть эту нелепую материальную оболочку и вернуться в башню, где всегда обитал. Он уже делал это. Это было вовсе не трудно. Нужно только захотеть, и желание тут же ощущалось как вибрирующий канал, по которому проносилась информация, составлявшая его «я».

Он захотел, но накала не было. Он был пленником тела. Он поднял в ужасе руки, и в растущий, уплотнявшийся ужас вклинился еще один его всплеск – в поле его зрения были не две, а три руки. Третья рука тянулась от груди, как у верта.

Он – верт? Мозг – верт? Этого быть не могло. Мир начал плавно кружиться, и из всех его темных углов выползали верты, давно исчезнувшие верты, которых он осчастливил, помог им погрузиться в вечное небытие. Они размахивали множеством рук, и все руки тянулись к нему. Теперь он ощущал связь, но не с кирдами, а с вертами. Трехрукие хватали его за голову, пролезали в нее, быстро-быстро расшвыривали все, что в ней «было, наверное, что-то искали, растаскивали его мысли его сознание, его мир.

Он издал стон и упал.

* * *

– Это был не верт, – сказал Галинта.
– Я не узнал его, – кивнул Крус-Надеждин.
– А может быть... – нерешительно сказал Галинта.
– Нет, это невозможно, – покачал головой Крус-Надеждин.
– Володя, – сказал Галинта, – надо продолжать. Давайте уложим теперь в пустой контейнер Маркова. Хотя...

* * *

Надеждин услышал шум и сразу понял, что это водопад. «Почему я теперь большую

часть времени провожу в воде? – подумал он. – Это странно». Но додумать он не успел, потому что шум усилился. Течение убыстрилось и уже тянуло его. «Надо любой ценой противостоять этому течению, я же могу погибнуть в водопаде!» – подумал он и понял тут же, что можно не бояться водопада, потому что он бесплотен, а дух не должен бояться падения воды и камней.

Течение уже всасывало его, тянуло сильно и властно, все вокруг смазалось в стремительном скольжении, грохот нарастал, он поглотил его, закружил. Стало тихо.

* * *

Водопада не было, не было грохота, не было ощущения тяжести. Оно потянуло за собой верх и низ. И был еще свет.

Он стоял, ясно ощущая, где низ и где верх, покачивался и никак не мог решиться поднять веки. И все-таки поднял их. Свет ударил в глаза. Он ощутил его давление, которое вызывало боль, и снова зажмурился. Еще раз открыл глаза и увидел себя.

Он стоял и смотрел на себя, на Николая Надеждина, каким он видел себя тысячи раз в зеркалах, на фотографиях, в голограммах, на экранах...

Он поднял руки. Они послушались его команды. Но это были не его руки. Эти руки были короче, кисти были меньше. Нет, он не ошибался, это не его руки. Указательный палец на его левой руке слегка искривлен, на этой же руке указательный палец был прямой. Но все равно рука была знакомой. Особенно ноготь на большом пальце, на нем была трещинка. Он же видел эту трещинку сто раз, когда играл в шахматы с Марковым. Ну конечно же, это Сашкина рука. Но почему же он тогда двигает ею, подносит ближе, дальше и почему Володька Густов смотрит на него с таким страдальческим выражением лица?

– Ты чего так уставился на меня? – спросил он.

Говорить было как-то неудобно, непривычно. «Еще бы! – объяснил он себе. – Столько времени проторчать в виде записи, где не только что молчишь все время, где и говорить нечем».

Густов странно сморщился. Это что у него в глазах? Никак, слезы?

– Ты... кто? – прошептал он.

– Как тебе сказать? – вздохнул Надеждин. – Если не считать, что у меня чужие руки – по-моему, Сашкины – и язык с трудом ворочается, то я сказал бы, что я Николай Надеждин. Если бы, конечно, не он. – Он показал на настоящего Надеждина, который молча смотрел на него.

– Нет, он... как бы тебе объяснить... Пока что он Крус.

– Крус? Добрый мой спаситель? Но...

– Потом, Коль, потом ты все поймешь...

– Мне нечего понимать. Крус...

Неважно, что необъяснимым образом Крус был как две капли воды похож на него. Важно, что это был Крус. Крус, который спас его в кошмаре мрака, удержал на плаву, не дал захлестнуть отчаянию, не дал сознанию навсегда бежать от него в слепом ужасе. Крус, который спас его добрым своим прикосновением.

Он шагнул навстречу Крус, и тот шагнул навстречу ему. Он протянул руку, пусть не свою, Сашкину, это не имело значения. И Крус протянул руку. Пусть не свою, а его, Надеждина. И это не имело значения. Имело значение лишь то что ладони их коснулись в жесте доверия и помощи.

* * *

Густов вспомнил древнюю смешную задачку с лодкой, лодочником, волком, овцой, а

может, и не с ними. Кого-то нужно было переправить с одного берега реки на другой, и весь фокус заключался в последовательности действий. Кого-то нужно везти, возвращать, снова везти и так далее.

А вспомнил он ее потому, что нечто похожее должен был сейчас делать и он: сознание Надеждина было в теле Маркова, сознание Маркова – в теле очередного трехрукого верта, а тело Надеждина было занято Крусом, за которого Надеждин в теле Маркова держится, как за спасательный круг.

Что нужно было делать лодочнику, он не помнил, но свое уравнение в конце концов решил. Если не все встало на свои места, то по крайней мере все заняли свои тела.

Конструкция тел кирдов не дает им возможности откинуть назад голову. Обычно им это не мешает, потому что они редко смотрят на небо.

Утреннему Ветру пришлось поэтому лечь на спину. Он все смотрел и смотрел на желтое небо, в котором исчезал корабль пришельцев. Вот он стал совсем маленьким пятнышком, а потом вовсе растаял.

Он уперся руками в землю и медленно встал. Они улетели так и не раскрыв ему тайны черного туннеля, который все чаще смущал его дух...

Володя сказал ему:

– Я совсем не мудрец. В своем мире я обыкновенный человек. У нас всегда были люди, которые задавали трудные вопросы, и всегда были люди, которые давали умные ответы. Мне ближе первые. Вопросы всегда свои, они рождаются в тебе и мучают тебя. Ответы чаще бывают готовые. Я не уверен, что на свой вопрос человек может ответить чужим объяснением. – Он посмотрел на Утреннего Ветра, улыбнулся и добавил: – Я мог бы сказать тебе, что разгадка твоего туннеля в борьбе, в движении, в развитии, в любви, в доброте, в понимании других, но это были бы пустые слова. Это твой туннель, твоя тьма стоит в нем, ты должен войти туда, и ты должен увидеть свет в конце его.

– Но есть ли у него конец и есть ли в этом конце свет? – спросил он.

– Не знаю, – сказал Володя. – Это твой туннель. Да это и не так важно...

– Я не понимаю.

– Пока ты ищешь свет – он существует.

«Значит, – думал сейчас Утренний Ветер, – нужно искать». К нему подошли Галинта и Крус.

– Наш мир лежит в развалинах, – сказал Крус, – там, наверху, мы уже начали забывать, как он велик и сложен. Мы не знаем, что делать.

– Пожалуй, – задумчиво сказал Утренний Ветер, – Володя все-таки не прав...

– В чем? – спросил Галинта.

– Наверное, мудрость потому и мудрость, что не принадлежит одному. Он сказал мне, что еще их древние мудрецы говорили, что есть время разбрасывать камни и есть время собирать их.

– Собирать, – повторил Крус. – Но сумеем ли мы собрать их?

– Это не так важно, – сказал Утренний Ветер словами пришельца. – Важно собирать.

Странно, но эта простая мысль как бы отдаляла от него туннель.

– Верты и кирды... – начал было Галинта и замолчал.

– Мне кажется, я догадываюсь, о чем ты хочешь спросить. Разбрасывать камни можно врозь. Собирать же – обязательно вместе.

Утренний Ветер протянул руки, и оба верта коснулись узкими ладошками его мощных клешней. «Странно, – снова подумал он – туннель отступил еще дальше, стал почти невидим».

* * *

Четыреста одиннадцатый никак не мог понять, что с ним происходит. Казалось бы, он

должен радоваться. То, о чем он мечтал страшными долгими ночами, когда стоял В своем загончике, преступно не выключая сознания, случилось: Мозга больше нет, Проклятый чертеж разорван, город освобожден.

Но он не радовался. Он скорее ощущал чувство потери. «Что я потерял?» – думал он и не мог ответить на свой вопрос. Не мог же он жалеть о ненависти, к которой так привык... Хотя...

Он думал о своем плане. Удивительно: тогда, когда в любую секунду его голову мог расплавить луч трубки стражника, ему казалось, что у него есть план. План, как разрушить проклятый город и создать новый порядок.

Теперь Мозга не было, его город перестал существовать, можно было не бояться трубок стражников и нужно было претворять план в жизнь.

Но чем пристальнее всматривался он в него, тем призрачнее этот план ему казался. Он хотел рассмотреть в нем детали, но детали исчезали под его взглядом.

«Но этого же не может быть, – тягостно повторял он себе. – Мне же всегда казалось, да что казалось – я был уверен, что у меня план, великий план, разработанный во всех деталях, а сейчас я не вижу не только деталей, но и весь план ускользает от меня... А может, – наконец сказал он себе, – никакого плана у меня и не было, а была лишь ненависть к Мозгу?» Мысль эта вызвала в нем волну ярости. Нечего мучить себя никчемными вопросами. Город был разрушен, и город нужно было отстраивать заново. Мозга не было, и тысячи кирдов замерли в тупом оцепенении.

Что делать, если будущее представлялось ему совсем не так, если виделось оно ему в светлом сиянии, если гибель Мозга казалась сладостной целью? Что за этой целью, он не думал. А теперь тысячи кирдов стояли, тупые твари, стояли неподвижно и ждали приказов.

Четыреста одиннадцатый почувствовал, как снова подымается в нем старая ненависть. Ладно, раз не хотят эти тупоголовые твари жить по-новому, он заставит их.

Он открыл главный канал связи и услышал гулкую вибрирующую тишину. Ненависть оседала, а над нею подымался восторг. Он обязательно построит новый город. Он открыл главный канал, и все кирды были связаны сейчас с ним невидимой, но туго натянутой нитью.

– Кирды, – торжественно сказал он, – Мозг больше не существует. Его нет. Отныне вы свободны.

Он замолчал. Он не знал, чего ждет. В том туманном сиянии, что в своем нетерпении он считал планом, не было ответа. Мозга не было, и, стало быть, все должно было измениться. Он молчал, молчали и свободные кирды, которые не знали, что делать со своей свободой.

– Почему вы молчите, вам нечего сказать?

Кирды молчали. «Мозга нет, – думал Четыреста одиннадцатый, – но рабы остались. Проклятый творец и из вечного небытия пытается держать всех в парализующем страхе. Но нет, я не сдамся».

В нем подымалось яростное нетерпение.

– Кирды, – сказал он еще раз, – не думайте, что я дам вам спокойно дремать в своих загончиках. Я заставлю вас думать. Понятно?

Кирды по-прежнему тупо молчали. Ничего, он заставит их шевелиться.

– Отныне вы будете ежедневно являться на проверочную станцию не для того, чтобы определить, не дефы ли вы. Вы должны быть дефами и станете ими! А кто не захочет думать самостоятельно, тот не получит разрешающего штампа. Под пресс! – закричал он. – Под пресс каждого, кто не захочет жить по-новому!

* * *

– Четыреста одиннадцатый требует, чтобы мы вернулись в город, – сказал Утренний Ветер Рассвету. – Он говорит, что мы должны помочь ему...

- Я не пойду, – тихо сказал Рассвет.
- Почему?
- Ты задаешь вопрос, потому что знаешь ответ, но боишься его.
- Утренний Ветер помолчал, потом сказал:
- Ты, наверное, прав. Я тоже не пойду в город. Дефы не пойдут в город. Мы боролись против тирании Мозга не для того, чтобы кто-то опять раздавал приказы и угрожал прессом.
- Четыреста одиннадцатый утверждает, что это нужно для самих кирдов, – печально сказал Рассвет, – но разве Мозг не повторял то же самое? Разве Володя не говорил нам, что все тираны любят выставять себя народными радетелями, а палачи благодетелями?
- Коля сказал проще: ненависть – плохой фундамент для строительства...
- Нам будет не хватать их...
- Они оставили нам мудрость и доброту. С ними туннель уже не пугает своим мраком...
- Какой туннель, брат?
- Неважно, брат, неважно... У меня нет больше времени думать о нем, Нужно строить свой город. Пойдем к дефам.
- Пойдем. Пришло время собирать камни. Галинта и Крус тоже ждут нас.

* * *

- Поразительно, – сказал Марков, – как быстро память выталкивает из себя тяжкие переживания. Мне уже трудно поверить в кошмар Хранилища.
- Я понимаю, – кивнул Надеждин. – Мы снова в «Сызрани», корабль вышел на старый курс, мы сидим за доской, Володька, как обычно, смотрит на нас сбоку, смотрит, как обычно, с добродушным презрением. И начинает казаться, что не было никакой Беты Семь. И быть не могло. Но она была. Она все равно была, если даже память выкинула бы из себя все, что нам пришлось пережить. И знаете, почему я в этом так уверен?
- Ну? – спросил Густов.
- Мне кажется, мы стали чуточку старше, чуточку умней и чуточку печальней...
- Другой бы спорил, – улыбнулся Марков и начал расставлять шахматные фигуры.